

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (448)

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Шапко. Грузок, what is it горка and липка? *Повесть*.....3
Алексей Колчев. «гребёнка» *и др. стихи*.....73
Александр Петрушкин. «Бессонница» *и др. стихи*.....77
Каринэ Арутюнова. Снег и все остальное. *Рассказы*.....82
Анатолий Бузулукский. Десятилетний Генка. Встреча с президентом. *Рассказы*.....92
Михаил Нилин. В офисе висит (фото). *Стихи*.....103
Феликс Чечик. «освобождение суля...» *и др. стихи*.....112
Даниил Бендицкий. Энциклопедия криков. *Повесть*..... 114
Михаил Окунь. Дикое поле. *Рассказ*.....127
Сергей Соловьев. «Конец сезона. Снег на перевале....» *и др. стихи*.....137
Наталия Санникова. «Можно ли так любить ...» *и др. стихи*.....140

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Марина Палей. «в омуте самое жуткое то, что он круглый...» *и др.* 145
Маргарита Голубева. «Сефардская колыбельная» *и др.* 146
Александр Бараш. «Очень много неба...» *и др.* 147
Виктор Лисин. «коснулся одуванчика...» *и др.* 148

ДЕБЮТ

Кирилл Фролов. Пыль. *Рассказ*.....150

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Денис Безносов. Сергей Бирюков – ироничный и серьезный.....153
Андрей Пермяков. Лучшие виды сквозь этот город.....155
Олег Рогов. Метафизическая оптика.....158
Виктор Іванів. Остановка Апокалипсиса.....159
Евгения Риц. Не счастия он ищет и не от счастия бежит.....160

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Наслаждение условностью.....162

© «Волга», 2014

Владимир ШАПКО

ГРУЗОК, WHAT IS IT ГОРКА AND ЛИПКА?

Повесть

1. Туголуков

На всех фотографиях выражение лица его было *деятельным*. Он, как киноартист, *не замечал камеры*. Потому что вот прямо сейчас он кого-то поучает. (Кого он поучает, мы не видим: тот за кадром.) Может быть, отца. Или мать. Может быть, подругу. Может быть, товарища. Или нетерпеливо выслушивает их же, строго сдвинув брови. Чтобы тут же, едва они закончат оправдываться – вновь командовать, наставлять.

Даже снятый с коллективами – в 5-м ли «Б» классе школы им. Макаренко, в Артеке ли среди многорядных пионеров с красными галстуками, как будто с бумажными дутыми мельницами на груди... в студенческой ли высвеченной компании среди полупьяных доверчивых однокурсников и неустанно хомутающих их однокурсниц, которые вот только на секунду прервались хомутать, чтобы обернуться к фотоаппарату, – даже тут он умудрялся не смотреть в объектив, непонятно кого поучал.

Этого не происходило, когда он снимался на документы. Волей-неволей тут приходилось смотреть в объектив. Смотреть несколько небрежно. Слегка надменно. Свысока. По-государственному устало. Словно прервав совещание в министерстве. Или в горкоме партии. Как будто откинувшись рукой на спинку кресла. В своем громадном кабинете.

Правда, снимки для Доски почета получались не очень хорошо – его будто усаживали очень близко к фотоаппарату. Вплотную. И – как хочешь! И некуда было деться лицу, некуда отступить. Будто задавленному своему дыханию... В остальных случаях – только неутомимое наставничество на фотографиях. Или нетерпеливое вслушивание, чтобы тут же перекинуться на поучение: а-ата-та!

В 91-м в парткоме он бросил билет на стол, пришел домой и разъехался в кресле во всеочистительном инсульте.

Очнулся в больнице лежащим навзничь с кляпиковым чужим язычком, наставляющим уже с краю рта: «Бля-бля-бля-бля!»

Его понимали: давали воды или подсовывали судно.

«Бля-бля-бля-бля-бля!» – всё беспокоился увечный язычок, всё выдавал словесную окрошку. Времени теперь, чтобы вспомнить всю свою жизнь, у Георгия Ивановича Туголукова было много. Крокодильи глаза его кипели в слезах...

...По команде гордящейся матери маленький Горка выкрикивал с крыльца гостям, уходящим аллеей казенной дачи: «Два-один-семь-три-шесть-девять! Звоните!» Это походило на виртуозно исполняемую считалку. Хорошо им вызубренную, детскую, веселую. Но оборачивающимся гостям она почему-то не давалась. Просили повторить. («Как, как ты

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга» (предыдущая публикация – повесть «Кошка, пущенная через порог», №6–7, 2013). Живет и работает в Усть-Каменогорске.

сказал?») Некоторые из вежливости даже возводили карандаши над записными книжками. «Два-один-семь-три-шесть-девять! – барабанил маленький виртуоз. – Звоните!» Однако все равно эту радостную чечетку мальчишки почему-то было трудно запомнить. Поэтому записывали, как правило, с ошибками в одной или в двух цифрах. Никто не звонил. Дачный телефон молчал. На тяжелых темных коврах нарастала, спрессовывалась тишина...

– Два-один-семь-три-шесть-девять! Звоните! – провожал маленький Туголуков очередную группку гостей. Как всегда телефонная считалка звучала у него пронзительно и гордо. Гордостью фамильного герба.

Отец, стоящий рядом, клал ему руку на плечо как соратнику:

– Молодец, Горка! – В сумраке вечера голова отца была мутной. Как придонный камень.

Потом мать, отец и маленький Горка смотрели на стрельнувший в небо пихтовничек, который золотился от закатного солнца, напоминая собой старинные вертикальные клавикорды. А сиреневые осенние кусты словно кто-то побросал вдоль аллеи большими пустыми корзинами. И забыл про них... Отец подхватывал сына, кружил по воздуху как плашку, затем нес в дом. Мать, отряхивая, уносила за ними поднятую с пола испанку Горки...

К Туголукову в больницу вскоре пришла Олимпиада Дворцова. Бывшая его подруга. Сидя на стуле возле кровати, она забыто держала в руках три апельсина. В одной руке два, в другой – один. Точно перед тем, как войти в палату, жонглировала ими в коридоре: любит – не любит, любит – не любит.

– Что же ты, Георгий? – спрашивала наконец. – Полгода осталось всего до пенсии... – забыв почему-то, что комбинат стоял, а Георгий уже девять месяцев был в бессрочном отпуске.

Чтобы не пугать ее своей увечной речью, Туголуков молчал. Туголуков смотрел на женщину. Красные больные глаза его – вспоминали...

...Иногда ему приходили фантазии – овладеть ею в кустах. У забора. Воровато озираясь по участку, он тянул ее туда как упирающуюся козу. («Ну Горка! Ну чего ты опять надумал!»)

На потные пористые мужские ягодицы без боязни опускались комары. Как геликоптеры для дозаправки. На колыхающиеся аэродромы. Разгул стихии. Сейсмическая зона. Землетрясение. Воткнув хоботки, напитывались. Густым, горячим, красным. Срывались и улетали. Тут же нетерпеливо опускались другие. И тоже уносились. На местах «заправок» вздувались пухлые подушки. Цвета белее белого.

Когда шли к садовому домику, Туголуков сквозь штаны чесал заднее место: «Нашкалили-таки, черти!» Олимпиада, вся пунцовая, склонялась и секатором срезала цветы для букета. Под сарафаном высоко заголяющиеся ноги ее были тоже покрыты белыми шишками. Георгий Туголуков смеялся...

Олимпиада вздрогнула на стуле – Горка недвусмысленно схватил ее за бедро. Здоровой рукой. Сосед Георгия смотрел на капельницу свою не отрываясь, как на инопланетянку, но всё же пояснил: «Это у него от пирацетама. Целый флакон только что влили. Побочные явления».

Женщина сидела у кровати с бывшим любовником вся красная. Как переходящее красное знамя. Вытиралась платком.

2. Олимпиада Дворцова

Каждый вечер она шла через пустой двор к соседней девятиэтажке, на которую уже была накинута всеобщая синюшная повинность, где только внизу, в беседке, как уголь-

ки большого когда-то костра, все еще теплились личики старушек, где тихо умирало их последнее человеческое общение. Она полгода всего как вышла на пенсию. У нее все еще было красивое лицо. Правда, несколько крупной выделки. Какая бывает у тяжеловесной скульптуры. Но ни единого седого волоса в черных кудрявых волосах, ни одной, явно заметной на лице морщины. Красивые ноги ее казались свеженамелованными: такой были белизны... Однако она заходила в беседку, подсаживалась к старушкам и внимательно слушала их рассказы о болезнях, склоках, обидах. Слушала старушечий веселенький, с придурью, юморок. Она уже готовила себя к старости. Серьезно, вдумчиво. Прикидывала всё на себя, примеряла. Она готова была уже вступить в это беззубое сообщество. Она хотела подражать этим старухам во всем. Только бы они приняли ее в свою игру. А уж она постарается, она не подведет, она не ударит в грязь лицом!

Временно оставленная на прежней работе, она вдруг выдумала себе очки. Для *изучения и переноса документа* на ватман. (В большом отделе на комбинате она работала чертежницей.) Она маялась с очками, курочила зрение. Однако быстро научилась сбрасывать их с переносицы. Этак устало, небрежно. И вновь накидывать на нос. Она была способной ученицей...

Сбивал всё учение во дворе – Фантызин. Он появлялся всегда внезапно и на отдалении начинал нарезать круги.

Как глухонькой, старухи дружно кричали Олимпиаде: «Жде-от! Что же ты? Липа? *Молодой человек!*»

Дворцова недовольно, но быстро шла. Деликатно, как глист, Фантызин проскальзывал вперед, открывал перед ней дверь в подъезд. А старушки отмечали не без юморка: «О, как побежала. Невтерпеж бабенке. Ср...ть да родить не дают погодить! Хи-их-хих-хих!»

В спальне Фантызин всё проделал быстро. Будто в очередной раз обманул кого-то. Кинул. В данном случае женщину.

Одеваясь, посмеиваясь, спрашивал про Туголукова. Олимпиада зло запахивала-завязывала халат. «Не тебе о нём спрашивать. Если бы не ты, он бы не был сейчас в больнице».

– Ну уж нет, уважаемая! Я тут ни при чем! Хлеб-соль вместе, а табачок врозь!

– Это я, что ли, «хлеб-соль», мерзавец?

– Ну-ну! Пошутил, пошутил, Липа! Не заводись!

На кухне он быстро смел все, что было у Олимпиады в холодильнике. Полкастрюльки вчерашнего борща, две сардельки с гречневой кашей.

– Не много ли на ночь?.. – спрашивала Олимпиада со скрещенными на груди руками.

– В самый раз, – отвечал Казанова.

Пил чай с вишневым вареньем. Погрыз яблоко с дачи Олимпиады.

Потом вольно развалился на стуле, свесив со спинки руку. Пожизненно хитрожо..., сейчас он даже подустал от своего прохиндейства. От дневных своих хитростей и уловок. Как устают от дневной одежды. Разнагишаться хотелось ему. Чего-нибудь вольного. Какую-нибудь дурость сотворить... Он начинал подначивать Олимпиаду. Прохаживаться по прежним отношениям Липки и Горки. Понес что-то непотребное о нем, о мужской его силе коня...

– Заткнись! – оборвала его Олимпиада. – Не тебе бормотать об этом. Расселся тут: кум королю, сват министру! Давай на выход!

Фантызин хохотал. Очень довольный, выкатывался за дверь.

– Звони, когда снова понадоблюсь!

Обидеть его было невозможно.

Ночью Олимпиаде приснился дикий совершенно сон. Как будто Горка Туголуков с игогоканьем гнался за ней. По горелой черной степи. «Да что же это ты, Георгий! – убе-

гала и кричала она ему. – Ведь полгода тебе до пенсии!» Однако Горка не отставал, бежал, подпрыгивал, голый: «И-иго-го-го-го-го!» И вот уже догоняет, и вот уже настиг!..

Олимпиада подкинулась на тахте с разинутым ртом. Тяжело дышала, раскачивалась.

В резком свете полнолунья белая газовая занавесь в раскрытой двери на балкон спокойно поколыхивалась. Походила на лунную фею в красивейших длинных одеждах... Дворцова падала обратно на подушку.

А следующим вечером идущий по двору старик Ворохов из 48-й с удивлением смотрел на властную крупную женщину в беседке, которая опять сидела со скрещенными на груди руками среди кхекающих, трепетливеньких старушонок.

3. Фантызин

У него не было возраста. Ему можно было дать и 35, и 55. Белая вытянутая лысина его была побежима. То есть все время меняла очертания. Как пленка у только что вскипевшего молока. Он все время двигался, куда-то ехал, спешил. Везде обманывал, химичил, кидал. То видят его на оптовке – скупает за бесценок подпортившиеся апельсины, потом в двадцати метрах от ангара сгружает ящики на тротуар и ставит к ним чурека в белом фартуке. То он уже на автомобильном рынке за городом – водит за собой человек пять южных людей в кепонах, показывает им автомобили, *презентует*, будто он единственный хозяин всего этого железного старья вокруг.

На улицах он обирал разом тупеющих пенсионеров и пенсионерок, втюхивая им всевозможные «гербалаи».

Он выдавал старухам по одной бутылке талонной водки для продажи возле гастрономов. И на холоде, на ветру каждая из них терпеливо удерживала эту *доверенную талонную бутылочку,* как удерживают младенцев – под попку и затылочек. Потому что Фантызин иногда платил *процент.*

По его наводке хорошо нагрели, кинули Туголукова, продав ему киоск для газет («В самый раз для вас, Георгий Иванович. На комбинат вам теперь вообще можно плюнуть!»). Который оказался *палёным.* К которому через неделю прибежал еще одни «хозяин». Такой же обманутый, как и Туголуков.

Непонятно каким образом он проникал на презентации, юбилеи, всевозможные фуршеты. Однако и наевшись, и напившись там, начинал вдобавок подъедать на столах. Во время всеобщего веселья и танцев. Он ничего не мог с собой поделать. Он ходил по столам и подъедал. «Вы не будете? Можно я доем?» Он всё время хватал чужие бокалы. «Разве? Это – ваш? Извините». Он словно не мог наесться и напиться за все свое детство, за голодную юность, когда учился в индустриальном техникуме.

Снюхиваясь с официантами, он всегда тащил с юбилеев полные сумки еды. Объедков. Худенький, с небольшим пузцом, бегущий с сумками в руках к своему дому – получил от старух при лавочках четкое прозвище: Грузок.

(Помимо Олимпиады, он путался еще с двумя женщинами. Однако всё пёр домой. Ничего после халявных банкетов любовницам не заносил. Холодильник его был забит салатами, просроченными тортами, всё это быстро пропадало, Грузок вытаскивал на помойку опять же пакеты, сумки протухшей еды – но любовницы не получали ничего. Достаточно было им того, что он ел у них.)

У него была твердая уверенность, что люди быстро забывают всё, и можно *работать с ними снова.* Он вдруг появился у Туголукова в больнице. (Вскоре после первого прихода Дворцовой.) Безбоязненно прошел к нему и сел на край кровати. «Ну как ты тут, друже? Молодцом?» Похлопал больного по плечу. «Я к тебе по делу. Насчет другого киоска. На Космической. Он тебе будет нужен для реабилитации». Увидев, что язычок у «молодца» затрепетал, а левый глаз полез на лоб – поспешно успокоил: «Хорошо, хо-

рошо! Ты еще не готов для работы. Зайду через неделю. Поправляйся!» И он пошел на выход, маскируясь накинутым белым халатом как разведчик.

Обманутые им люди, встречая его через какое-то время на улице, всегда вытаращивали глаза. Это все равно как вчера похороненного человека сегодня встретить на улице. Ведь был суд, ведь вроде посадили его! Тут оставалось только одно – взмыть на дерево. Как насмерть перепуганному коту! А он идет и еще подмигивает тебе, ошеломленному.

На крохотной площадке возле Дворца спорта, где проходил митинг протеста, разрешенный властями, он очень серьезно сказал: «Освободили не цены, товарищи. Нет. Освободили совесть. И ее сразу не стало...» И скорбно пошел с трибуны.

Пенсионеры поотшибли ладони, провожая его.

4. Таракан, бегающий по потолку

Медленно, настырно выползало пасмурное, придавленное утро. Больные уже сменили агрессивный ночной храп на утреннее умиротворенное посапывание. Туголуков лежал и смотрел на потолок. Смотрел на *своего* ежедневного утреннего таракана. Который вдруг опять самоубийцей полетел вниз. Наверное, крепко зажмурившись. Но и на этот раз ничего у него не вышло. Еле видимый в полутьме на полу, скороходом побежал вдоль кроватей.

После завтрака потащили в палату капельницы. Сосед Туголукова как всегда неотрывно следил за своей «инопланетянкой». Всегда впуская в себя всё до последней капли, – готовый мгновенно перекрыть всю систему.

Туголуков лежал безразличный ко всему. Ему было всё равно: закончилось в змейке лекарство, не закончилось, идет ли уже в вену воздух – плевать! Однако вездесущий сосед панически кричал: «Сестра, у Туголукова в системе заканчивается! Скорей!» И прибегал белый халат. И Туголуков опять, как тот таракан с потолка, оставался живым.

«Руку лень протянуть!» – ворчала сестра, как-то выпуская из виду, что выключить лекарство той рукой, в которую воткнута игла, невозможно, а другая у бедняги парализована. Выдергивала иглу, шлепала ватку со спиртом и резко делала из руки больного «голосование».

Туголуков молчал, не балаболил. Говорил сосед, ругая медсестер как класс. У него было шершавое, как старый баллон, лицо. Потом он садился и начинал жадно есть. Туголуков старался не смотреть на его шершавые, двигающиеся вверх-вниз щеки.

В палате лежало восемь человек. Все с разными неврологическими болезнями. Все жаловались и охали *при виде утреннего врача*. Но стоило только поварихе прокричать в коридоре «на зав-тра-ак!» или «обе-да-ать!», как с мисками и кружками больные чуть ли не бегом спешили из палаты. Всем приносили из дому родные, порой еду было некуда девать, она даже пропадала, и приходилось выкидывать ее в бак в умывальной комнате, но как только раздавалось это сакраментальное «обедать!» – все разом забывали про свои болезни и, чуть ли не сбивая друг друга в дверях, торопливо топали в столовую. К раздаточной.

Получив свою пайку (супец ли жидкий там какой или какую-нибудь кашку-размазню), трепетно несли ее в палату и начинали жадно поедать, нагорбливаясь на своих кроватях. Халява. Святое дело. Облизывали ложки, качали головами. Казалось, что дома, на воле ничего слаще морковки они не ели...

Туголуков лежал в больнице уже месяц, понемногу начал даже вставать с постели, но по-прежнему, как и в первые дни, почти ничего не ел.

Каждый день приходила Олимпиада. Туголуков понимал, что женщина ходит к нему не только из одного сострадания. Видимо, она рассчитывает сойтись с ним после его болезни опять. Приносила уже не только апельсины, но и домашнюю вкусную

еду. А он отказывался есть, мычал и мотал головой. И только чтобы не расстраивать ее, давал влить в себя несколько ложек супа. Он сильно исхудал, живот его стал как пустая чашка, однако ничего с собой поделать не мог, желание есть пропало. Зато вокруг постоянно стучали жадные ложки... Солнце в палату заглядывало только утром, днем палату с окнами как будто опускали в яму, сдвинутые шторы превращались в скрученные кривые алебарды, жгуты – однако ложки кругом стучали весело.

Георгий Иванович закрывал глаза. Старался не слышать ничего. Вспоминал...

...Голубь с грудью цвета окалины сердито бежал по аллее за невинной пестрой голубкой, склевывающей то справа, то слева. Бежал неотвязчиво, зигзагами. Куда она, туда и он. Успевал сильно долбить ее клювом.

– А чего это он, папа?.. – спрашивал у отца юный Горка.

Туголуков-отец улыбался:

– На гнездо гонит... Яйца чтоб скорей снесла... – и смеялся: – А она такая-сякая бегает попусту по аллеям!

Однако Горка не смеялся. Горка серьезно смотрел на убегающих зигзагами голубя и голубку. До тех пор, пока они не растаяли в пыльном солнце в конце аллеи...

...Всё на той же казенной обкомовской даче, только осенью, Горка Туголуков крадется вдоль аллеи с пустыми уже сиреневыми кустами. Он одет в осеннее короткое пальтишко, на голове кепка. Вчера он видел здесь ежа. Ёжик выбежал на аллею, чуть помедлил и покатился серебристым колючим солнышком к кусту. Горка побежал, но ежик исчез, как провалился под кустом. Мама крикнула с крыльца, что у него, наверное, там норка. А вот где? – с мамой вчера не нашли.

Сейчас Горка раздвигал сухую траву и заглядывая под все кусты. Тянучей тенью вдруг скользнула через аллею Мурка. Их кошка Мурка! Мальчишка подумал, что она учуяла ёжика, побежал: «Мурка, назад! Не пугай его!» Но кошка метнулась к забору, через тесную дырку пролезла на соседний участок и запрыгала там в сухой малине.

Горка взметнулся на забор, чтобы посмотреть. Тут под перекладиной, на которой он стоял, замолотился в той же дырке здоровенный котяра. Продрался на участок и стал гоняться за Муркой. Затрещала, начала ломаться малина. Остановившись, они раздувались как мячи, злобно орали друг на дружку:

– М-мяор-р-р! Увв-вяу-у-у!

От дома уже бежала мама:

– Мурка, опять ты, мерзавка, опять!..

Залезла тоже на забор. А кошки как будто только и ждали ее – завозились опять, заметались, зашипели в малине.

– Ув-вяу-у! М-мяо-ор-р-р!

Мать сняла сына с забора, быстро повела к дому.

– Мама, а чего они? Дерутся да, дерутся?

– Дерутся, дерутся, Гора. Не слушай!..

А потом у Мурки появились котята. Она лежала в доме, в плетеной большой корчажке, ленивая как тигрица, и четыре котенка ползали по ней, играли... Горка смотрел во все глаза. «А они вырастут – тоже будут орать в малине?» Отец хохотал: «Будут, Горка, будут!» А мама почему-то покраснела. Увела Горку от корчажки и посадила за пианино учить гаммы. Горка старательно задирал пальцы и даже высовывал язык. Гаммы выползали из-под пальцев медленно, как колбасы. «Не поднимай пальцев! Не поднимай!» – стукала по пальцам мама...

По здоровой щеке Георгия Ивановича покатилась слеза.

А потом опять раздалось в коридоре:

– На у-жи-ин!

И как всегда началось столпотворение в палате. И Туголукову с закрытыми глазами казалось, что загремевшие ложки и чашки самостоятельно выбегают в коридор. Даже без своих владельцев.

Туголуков лежал пластом. За окном, где-то далеко внизу, носились машины. Зудели надоедливо, как мухи.

5. Один день Олимпиады Дворцовой

За спиной прозвучало «осторожно, двери закрываются», трамвай пошел, и Дворцова заторопилась через пустую дорогу к высокому параллелограмму Дома печати. Сейчас на фоне восхода льющемуся черным стеклом.

В душном бетонном подвале уже стояла очередь с пустыми сумками и пакетами. Некоторым женщинам (знакомым) Олимпиада кивала.

С газетами быстро работала Надежда Приленская. В застиранном халате цвета дыма. Ей не было и сорока. Но лицо уже походило на заварной крем. Командовала сыну: «Коля, десять аргументов, десять караванов, двадцать рудного!» Одиннадцатилетний мальчишка метался вдоль стеллажа, отсчитывал экземпляры от пачек газет, кидал матери на стол. Приленская принимала деньги, давала сдачу, сквозь жиденькие очки вычитывала в подаваемой бумажке заказ. Иногда ругалась, не разобрав в нем ничего. Тогда какая-нибудь старушонка смущенно объясняла всё на словах.

«Коля, не спи!» – покрикивала Приленская, отсчитывая сдачу. Шепнула Олимпиаде: «Липа, возьми “Рудного” побольше, там новый закон». И снова подгоняла то сына, то бестолковых старух.

Олимпиада выбралась из подвала в 5.30. Под горящей лампочкой в проволочной мошонке над входом всё так же не затухала, бессонно билась мошкара.

Подхватив сумку и пакет, Дворцова побежала к идущему вдали трамваю.

– Осторожно, двери закрываются!

Олимпиада поехала, откинувшись на сиденье, с сумкой и пакетом на коленях. Стеклянный льющийся параллелограмм побежал назад, уже пылая во всходящем солнце. Думалось о неприятном. О Фантызине. Опять приходил. Опять добился своего. Потом как всегда смел всё из холодильника. Постоянно смеется над Горкой, мерзавец. «Как там наш неутомимый конь? Привет ему от однопалчанина!» Гад. Как избавиться от него? С лестницы что ли спустить?

– Осторожно, двери закрываются!

Поехал назад магазин «Охотник» с мордами козлов и рогами оленьими. Эх, Горка, Горка! Какой ты был мужик, и что теперь от тебя осталось. Логопед Профотилов постоянно жалуется. С красным носиком на большом лице, как сердитый каплун: «Не работает на занятиях. Не хочет учиться говорить. Вы должны повлиять на него. Как жена!» А какая я Горке жена? Да и занятия эти, надо сказать, – картина. Сидят друг напротив друга все инсультники отделения и под дирижирование Профотилова хором, высматривая языки друг у друга, пытаются говорить одно только слово «вода»: «Вооо-ода! Вооо-д-да!» Но уморительное дикое зрелище это каждый раз вызывало только слезы. Хотелось плакать навзрыд. Да и Горка, когда уводила в палату, от злости потрясывался.

– Осторожно, двери закрываются!

Чем его кормить? Ничего не ест. Уже капризничать начал. Отталкивает еду здоровой рукой. Сегодня надо бы сделать ему окрошку. День опять будет жарким... На разрешенной площадке перед Дворцом спорта уже стояли два пенсионера. Удерживали один плакат с двух сторон. Как неустойчивого друга своего. Подругу: «Отдайте наши пенсии!»

– Осторожно, двери закрываются! Следующая «Новошкольная!»

Дворцова поднялась, пошла по пустому вагону к двери.

Фанерный столик в восемь часов расставила на ножки на всегдашнем своем месте, возле гастронома «Колос». Прошла, поздоровавшись, шлепающей походкой плоскостопная Чарышева. У нее столика не было. Встала с газетами далеко на углу просто как с букетами. Зато конкурентка Кунакова расположилась как всегда – прямо под носом, через тротуар. Хмурая, уже накрашенная как клоун. Однако газеты сегодня брали хорошо. Особенно «Рудный», где был напечатан закон о гербе и гимне. «Всё, ребята, теперь уж точно, в России нам не бывать!» – уходил и дурашливо выплясывал какой-то парень, будто ухватил большущий куш. «А что? что случилось?» – окружали столик новые люди, превращаясь в стекле гастронома в длинноногих испуганных птиц.

Через полчаса Олимпиада сдала всю мелочь знакомой кассирше, выстояла очередь за порошковой сметаной и вышла, наконец, из гастронома на улицу.

Тяжело пошла к перекрестку. Со сложенным столиком похожая на художницу, несущую на боку громоздкий мольберт.

Как всегда напугав, победителем промчался Фантызин на «хонде». Длинно сигналил. По улице словно улепётывала старая поповская ряса... Гад! – перевела дух Олимпиада, поддернула «мольберт» и пошла дальше. Уже через дорогу.

«У него массажист», – сказал в коридоре сосед Туголукова по палате. Олимпиада не удержалась, приоткрыла чуть-чуть дверь.

Крепкий парень в халате с засученными рукавами трепал бедного Горку как безвольную какую-то марионетку. Перекидывал на кровати, мял, барабанил ребрами ладоней, щипал, растирал. Исхудалые кривые ножонки больного в широких трусах – жалко дергались... Господи, ничего не осталось от человека, одна голова на подушке мотается. Большая, в пятнах вся, как жестоко избитая голова идола... У Олимпиады сжало горло. Олимпиада отошла от двери.

Сидела возле ординаторской, ждала Кузьмина, лечащего врача Георгия Ивановича. В раскрытой почему-то процедурной старуха раздевалась возле лежака. Медсестра ждала. С равнодушной отстраненностью в глазах. С отстраненностью молодости от старости. «Побыстрее, мамаша!» Не выдержала, начала сама сдергивать одежду с больной. Груди у бедной старухи болтались как наволочки. «Да стойте же, стойте на месте, мамаша!..»

Еще одна старуха остановила себя возле раскрытой двери. (Видимо, было «время старух».) Стояла, тяжело опершись на палку. Олимпиада тут же подсунула под старуху целый диван. «Спасибо, милая, спасибо», – тяжело усаживалась старая больная. В выцветшем халате, как усохшая сдоба.

В коридор откуда-то вышел Кузьмин. Олимпиада сразу забыла старух, кинулась: «Вениамин Сергеевич! Вениамин Сергеевич! Здравствуйте! Извините, пожалуйста, я хотела узнать о состоянии Туголукова. Из шестой палаты».

Лицом Кузьмин походил на унылый щекастый флакон, торчащий из халата. Он увел взгляд в сторону. «Ну что вам сказать? Динамика чуть-чуть сдвинулась к лучшему. Будем всё продолжать дальше: капельницы, массаж, физиотерапию. Логопед Профотилов. Водите его к нему два раза в неделю, – он поднял на Олимпиаду глаза. Глаза были тоже унылы: – Ну и внимание, забота родных. Вы как жена должны это понимать...»

Он пошел дальше. Сутулый, в великом халате, точно тоже больной. Остановился, полуобернувшись: «Искупайте его сегодня с Грибановой. У вас это хорошо получается». – «Спасибо, Вениамин Сергеевич», – прошептала Олимпиада.

Потом она сидела в палате и смотрела на своего Георгия Ивановича. Лицо инсультника было как битва. Как покинутая всеми битва. С упавшей щекой и вылезшим чужим глазом. В первые дни она не могла смотреть на это лицо. Сейчас уже привыкла. Старательно, закусывая нижнюю губу, вливала этому лицу в рот окрошку. Георгий Ива-

нович ел сегодня на удивление хорошо. Рот раскрывал как кривое дупло. Но все равно и с таким ртом был... красивым. Олимпиада незаметно смахивала слезы.

С санитаркой Грибановой повезла больного на каталке в умывальную комнату. «Да тебе у нас надо давно работать!» – смеялась, гремела ведрами в углу пожилая Грибанова. Олимпиада размашистым раком быстро подтирала кафельный пол. Приседающие, возящиеся крепкие ноги ее в бахилах были будто от динозавра. Отжимая тряпку в ведро, тоже смеялась.

Георгий Иванович, уже помытый, удивленно хлопал воду здоровой рукой. Как кинутый в ванну гусь. Не узнавал воды.

В скверике возле больницы она доела из банки окрошку, оставшуюся от Горки, сложила всё в сумку.

Вышла к трамвайным путям. Мимо проплыл коптильный цех на колесах с коптящимися гусями. Но Олимпиаде нужно было на автобус до аэропортовских дач – перешла через трамвайные пути.

В автобусе сидела у окна. Нестерпимо хотелось спать. По всей Коммунистической валились девятиэтажки.

Однако на даче споро поливала зелень, и стелющуюся, и торчащую, таская за собой тяжелый шланг. Лила из него в лейку, сеяла воду над морковью и огурцами.

Неподалеку от дома ее, за гастрономом «Колос», на пустыре раскинулся небольшой зеленый базарчик. Перед прокопченными дачницами лежали на столах тяжелые бурые голыши помидоров, веселенькая кокетливая редиска, смирившийся перьевой лук. Олимпиада тоже могла бы продавать там со своего огорода. Но почему-то стеснялась. Почему-то считала, что с газетами стоять на улице приличней. Культурней, что ли. А когда накапливались излишки с дачи, раздавала все тем же старушкам во дворе.

Олимпиада тащила шланг к лункам с капустой. Уж тут нужно лить от души. Капуста любит воду.

У соседей Заковряжиных опять шла гулянка. Ревели и пищали под тентом песню как бычьи и сучьи дети. Работающая Дворцова не нравилась – иногда грозили ей кулаками.

В пять часов она помылась в летнем душе, оделась для города. Поела возле избушки хлеба с помидором, прощально поглядывая на сосну над крышей, хвоя которой тяжело и черно намокла сейчас вечерним солнцем.

Олимпиада закрыла на ключ входную дверь, на горб закинула полный рюкзак с овощами, взяла в руку сумку, цветы и отправилась, наконец, к автобусной остановке.

Шла по узкой петляющей тропинке через весь массив садового общества «Авиатор». Раскинувшегося, но тесного, как кладбище.

В переполненном автобусе удерживала три срезанных гладиолуса высоко над головами, будто флейты, боясь, что их поломают. Но всё обошлось – довезла.

Старушки в беседке оживились, увидев ее во дворе. Замахали ручками. Как на собаку-драку, она вывалила им на столик огурцы, помидоры из сумки. Но сказала, что сегодня посидеть с ними не сможет – дома много дел. До свидания, милые!

Старушки тут же забыли благодетельницу, начали хватать всё со стола. Каждой досталось по два-три овоща. Смотрели на них в своих кулачках, как будто впервые видели. «В нужде и кулик соловьем свистнет! А, бабоньки? Хи-их-хих-хих!»

А Олимпиада дома варила Горке щи назавтра, стирала в тазу его грязную рубашку, майку и трусы, снятые с него сегодня.

Перед сном сидела под торшером, пыталась читать. На страницах ведущих журналов почти схлынуло диссидентское чтиво, неуклюже, занудно ворочалось только последнее колесо, да кое-где отлетали еще всякие мелкие щепки, но Олимпиаду эта литература, казавшаяся сначала очень интересной, как-то уже не захватывала. Голова ее валилась, журнал выпадал из рук.

Она встала, разделась, легла, наконец, в постель. Выключила торшер.

Казалось, сразу позвонили. «Вот еще, гад!» Зная, что не отстанет, поднялась, пошла.

Улыбающийся победитель стоял на площадке. Поигрывал ключами от «хонды». Кошелек его ниже живота был весом. Будто пупочная грыжа...

Олимпиада зло захлопнула дверь.

– Ха-ха-ха-ха! – долго удалялось по лестнице вниз.

Потом там же, внизу, лаял пёс. В подъезде шарахалось утробное эхо. Пса втолкнули куда-то, и всё оборвалось.

6. Звездный час Фантызина

Раскрытая кухня ресторана напоминала баню, банный обширный кафельный зал с грохотом тазов и паром. Вдоль длинных чугунных плит сновали повара и поварихи. Четыре посудомойщицы в туго завязанных мокрых полотенцах как проклятые кланялись и кланялись над узким и глубоким оцинкованным корытом.

Наблюдая, Фантызин прогуливался в коридоре возле кухни.

Появился Зяблов. Ключом открыл дверь *своего кабинета*. «Принес?» Фантызин отдал ампулу. Зяблов сбросил пиджак, ринулся в соседнюю комнатушку типа чулана.

Фантызин ждал, развалившись в старом скрипучем кресле, поматывал с колена ногой. Матовая лысина его была родной сестрой плафона на потолке.

«Деньги после банкета». Зяблов скатывал рукав наглаженной белейшей рубашки. Потом стал тушью подкрашивать ресницы перед зеркалом. После морфия и обработки ресниц бабьей кисточкой метрдотель ресторана «Таха́ми» Зяблов вновь обрел свое привычное надменное лицо. Блеском мертвых брошей заблестели глаза его.

С интересом Фантызин наблюдал. Метрдотель ладонью провел по зализанным, как воронье крыло, волосам, поправил черную бабочку, стал надевать черный, как уголь, пиджак. Одновременно давал инструктаж:

– Ее зовут Алевтина Егоровна. Фамилия Пенкина. Она заместитель Тетерятникова. Сегодня ей пятьдесят. И все за столом тоже из торговли...

Они вышли из закутка. Зяблов закрывал на ключ дверь:

– Но учти, Грузок, если опять будешь подъедать по столам...

– Да ты что, Гена! Да никогда! – захохотал Фантызин.

Перед самым входом в ресторан Зяблов дал Фантызину почти свежий букет цветов, набранных вчера со столов в зале. «Особо не махай ими, могут осыпаться».

В ресторане «Таха́ми» всё было на японский манер. Официантки в тесных кимоно, таская тяжелые подносы, куце перебирали ножками. Волосяные башни их были проткнуты длинными черными иглами. По-японски вяньгал непонятный оркестрик, состоящий почему-то из индийских ситаров и лежачих барабанов.

По наводке Зяблова Фантызин подлетел к банкетному столу. К упитанной спине юбилярши. Сам в блёстком костюме – весь скользкий, гальянистый:

– Алевтина Егоровна! Дорогая! От коллектива базы номер четыре позвольте поздравить вас с юбилеем!

Будто удивленной дойной корове, подсунул женщине букет. Прямо к ее большим коровьим губам.

– Желаем вам крепкого здоровья, Алевтина Егоровна, дальнейших успехов в работе! – выкрикивал радостный Фантызин над столом.

Крупная женщина с букетом пришла, наконец, в себя:

– Ну что же... Спасибо. Тронута.

И не успела глазом моргнуть, как лихой этот молодец уже продвигался вдоль стола. И вроде здоровался со многими. Приклонился даже и некоторое время делал вид, что

слушает говорящую Мылину, интимно разглядывая ее шею цвета бледного окорока. Но шею вроде бы – только погладил. И скромно сел почти в самом конце стола. Однако тут же вскочил. С чужим бокалом в руке: «За здоровье Алевтины Егоровны!» И под восторженный рев и мгновенно взлетевшие руки с вином и водкой выпил этот чужой бокал до дна.

– Лихой парень, – пригубив вина, тихо сказала мужу юбилярша. – Узнай, кто он такой.

– Узнаю, – жуя, посмотрел на Фантызина муж с бровями как мечи.

После небольшой эмоциональной встряски, вызванной появлением и фейерверками Фантызина, работники и работницы торговли вновь загалдели за столом. Все уже были хорошо поддаты. Все размахивали руками. Вновь пошла похвальба. Стесняться и скрывать что-то нечего, ресторан откуплен, все свои, в зале посторонних нет. Не забывали и про юбиляршу. По примеру Фантызина вскакивали с бокалами и славословили *благодетельницу*. И сразу возникал вверху во всю длину стола стеклянный радужный благовест в честь Алевтины Егоровны. Словом, всё шло как у обычных, простых, правда, уже не советских людей.

Через час-полтора юбилейный длинный стол стал напоминать средневековую разгромленную галеру, где все гребцы давно уже перестали грести, побросав весла. Вяньганье со сцены всем надоело. По-простому, по-несоветски начали кричать: «Хватит тянуть кота за я...! Танцы хотим, танцы!»

Как кроватный цех, оркестр забренчал по-новому. Ударил что-то явно знакомое, удалое. Из-за стола сразу начали вылезать, выталкиваться, выскакивать. И вот уже перед сценой запрыгало, замахало вверху руками тесное содружество тел: «Бухгалтер, милый мой бухгалтер!» Рядом с Алевтиной Егоровной высоко прыгал, точно в баскетбол играл, ее муж. А перед полным задом юбилярши, украшенным к тому же ожемчуженным бантом, страстно танцевал еще какой-то мужичонка. Головастенький, извивающийся.

За покинутым столом остались только те, кто не умел танцевать, и те, кто уже был ни тяти ни мамы. Час Фантызина настал. Фантызин метался вдоль разгромленного стола. Фантызин подъедал.

С глазами неземными, безумными Зяблов играл роль записного негодяя из немого фильма двадцатых годов. Все время стрелял длинным указательным пальцем, давая разные направления своим семенящим гейшам. Иногда черным демоном нависал над давящимся объедками Грузком, но отвлекали опять бестолковые официантки, приходилось отходить от стола.

Грузок, посмеиваясь, хватал и хватал с тарелок. Как тот кот из известной басни.

Перестав плясать, на него издали смотрели Алевтина Егоровна, ее муж и головастый человечек. На фоне прыгающей гулянки – все трое с раскрытыми немыми ртами...

– Ну и козел ты, Грузок! – сказал Фантызину Зяблов, отдавая деньги и сумку с продуктами возле темного ресторана. – Козел, честное слово!

Фантызин хохотал. Почему-то абсолютно трезвый, с веселыми, поблескивающими глазами.

– Звони, Гена, когда понадоблюсь! Пока! Ха-ха-ха-ха!..

Утром Фантызин подкрадывался на «хонде» к Дворцовой, стоящей со своим столиком возле гастронома «Колос». Подкрадывался как кот к беспечно чирикающей птичке. Когда любимая вздрогнула – с места рванул. Уносился с дичайшим сигналом. Будто хохоча на весь проспект. («Да чтоб ты провалился, гад!» – вытирала платком пот с лица Олимпиада.)

В обед, оставив машину на улице, он прохаживался у Олимпиады во дворе. Старушонок в беседке еще не было, мимо надоедливо бегал только какой-то ребенчишка. Ко-

торого хотелось поддеть ботинком. Однако Фантызин щурился на играющее в облаке солнце, вдумчиво ходил. Вытянутая лысина его ныряла. Вроде шлема ихтиандра под водой.

Увидав его, Олимпиада сразу хотела повернуть назад, на улицу. Но переборола себя. Пошла с сумкой к подъезду.

Фантызин подлетел:

– Ну как там наш жеребец?

Олимпиада остановилась. Смотрела на приплясывающие ножонки в модно мятых светлых брючках. Перевела взгляд на черную стильную рубашку с коротким рукавом.

– Вот что, Фантызин. Больше не приходи. Больше ты в мою квартиру не войдешь.

– Это почему еще? – перестал кривляться Фантызин.

– А потому, что когда Горка поправится, мы будем жить вместе. Вот почему!

Глаза Фантызина разом потемнели. (Так темнеет кипяток, когда в него вбросят кофе.)

– Ты пожалеешь, сука, что сказала эти слова.

Он повернулся, пошел. Солнце тут же выглянуло из-за облака, бросило много лучей вниз – и стало казаться, что по двору уходила, злобно полоскалась одна только стильная черная рубашка с коротким рукавом: и руки, и ноги, и голова из нее – исчезли!

– Давай, давай, Грузок, шагай! – не очень уверенно выкрикивала женщина, почему-то обмирая сердцем.

Уже на другой день мимо «Колоса» пролетела лихая бандочка пацанёнков, смела, переломала газетный столик Олимпиады. Досталось и сбитой с ног владелице. Получила два пинка. Правда, по мягкому месту.

Конкурентка Кунакова суетилась, поднимала плачущую Олимпиаду, у которой голые ноги из-под задравшейся юбки елозились, будто сводимые судорогой.

– Милицию надо, Липа, милицию! – восклицала Кунакова. С белым накрашенным лицом своим. Как перепуганный клоун.

Вечером прозвонил телефон:

– Ну как, дорогая, понравилось?..

– Я в милицию заявлю, негодяй! Слышишь?! – закричала было Олимпиада. – Я...

– Ха-ха-ха-ха! – словно покатилось вниз по лестнице. И затукали короткие гудки.

7. Ванна с печальной водой

Когда начинался утренний обход и возникал Кузьмин с медсестрой Зудиной – все сразу ложились на свои кровати.

Все смотрели в потолок. Каждый ждал своей очереди, каждый думал, как получше рассказать врачу о сегодняшнем своем самочувствии, о новом *пугающем симптоме*.

Кузьмин всегда начинал осмотр с левого ряда, от первой кровати у окна, где лежал почему-то все время спящий старик. Очень длинная Зудина склонялась и будила старика. Тот сразу садился и столбиком застывал на кровати. Глаза его словно и не спали только что – были той девственной стариковской голубизны, в которой не проскальзывала ни единая мысль. Кузьмин черкал его иголкой по животу, по рукам, по икрам ног, и старик снова ложился и засыпал.

Врач переходил к следующей кровати, уныло слушал о *новых симптомах,* о которых вчера ему забыл сказать больной, затем проверял у него, высказавшегося и сразу опустошенного, все те же надоевшие всем рефлексы. И так – по всему левому и правому ряду. Длинная Зудина записывала его тихие указания в тетрадку и вновь торопливо и мелко, как будто пароходные белые багры, переставляла за ним свои тощие ноги.

Сосед Туголукова, Крепостнов, так рассказывал о своей болезни Кузьмину: «Идешь по улице. По Коммунистической. Вместе со всеми. Всё нормально. И вдруг уронишь сознание. А потом и вовсе – потеряешь совсем. А сам идешь. Понимаете?! Не падаешь! И врубаешься весь в поту. И ноги-руки свои передвигаешь дальше будто железные – рывками! Понимаете?! А иногда – так просто склинит. Глаза! К переносице! И идешь опять как марсианин сломавшийся. По-ни-маете?!»

Кузьмин понимал. Успокаивал, похлопывал возбудившегося больного по плечу.

После осмотра Туголукова всегда сидел и думал, примяв кулаком щекастое свое лицо. Георгий Иванович раскинуто лежал на кровати, словно в ванной с очень печальной водой.

Точно не поверив себе, Кузьмин вновь начинал мять руку больного, сжимать, дергать, выворачивать. Привстав и глядя Туголукову в глаза как инквизитор, резко проводил иглой от плеча до запястья. Не дрогнув, глаза Георгия Ивановича смотрели на потолок, на бегающего таракана... Как после сражения, Кузьмин шел из палаты. Семенящая Зудина за ним еле поспевала.

Все сразу принимались есть. Доставали из своих запасов. До крика «обедать» было еще далеко, так что нужно подкрепиться. Всё так же, как мухи, жужжали за окном внизу машины. Все так же Туголуков смотрел на потолок. Но таракана там не видел. Видимо, тот свершил задуманное.

Старик в углу по-прежнему не просыпался. Вставал только за тем, чтобы тоже поесть да сходить в туалет. Трусы его были как сачок для ловли бабочек. Или как подсачик для вытаскивания крупной рыбы на берег. «Почему вы так разгуливаете по отделению? – доносился из коридора голос Зудиной. – Как вам не стыдно!» Однако старик, походило, на Зудину не обращал никакого внимания. В туалете шумно смыл вроде бы чьего-то кота с длинным хвостом. Возвращался и снова ложился. С закинувшимся подбородком – храпел. Какая у него болезнь – Туголуков так и не понял: через неделю старика выписали.

На его место пришел другой старик. Если первый все время спал – этот все время сидел. На кровати. Весь в морщинах уже. Как растрескавшийся пень при дороге.

Почему-то называл Кузьмина не доктором, а *товарищем Кузьминым*. На вопрос врача о самочувствии, всегда отвечал одинаково: «Ноги холодеют, товарищ Кузьмин. Наверное, скоро крякну, товарищ Кузьмин». Поэтому, видимо, и сидел все время, думая, что в таком положении кровь вернется к ногами, и они снова станут теплыми.

Впрочем, сидел он так всего неделю – с холодными ногами и ушел домой. «Прощайте, товарищ Кузьмин», – сказал врачу.

Все время ходил по палате больной по фамилии Пильщик. Подсаживался ко всем. С назойливой предупредительностью пьяного в автобусе. «Вы меня простите, пожалуйста, но Гайдар уже не тянет. Он выдохся. Вы со мной согласны, простите, пожалуйста?» Тощенький, с головкой поседевшего вдруг петушка, он всем надоел, полосатые штаны на нем были как из Освенцима, все «пассажиры» словно ждали только одного, когда он «сойдет», наконец. На какой-нибудь остановке. Но он «не сходил». Он снова подсаживался на кровати: «Вы меня простите, но как вы думаете, Чубайс потянет вместо него? Вы меня только простите».

Его грубо обрывали: «Замолчишь ты, наконец?» Он бил себя по губам ладошкой: «Молчу, молчу, молчу!» Шел и ложился на свою кровать. Плоско лежащий – как умирал на ней. Но чуть погодя седая остроклювая головка вновь ходила по палате и деликатно спрашивала, подсаживаясь: «Вы меня только простите, но как вы думаете, он потянет?..»

Чем он болен, Георгий Иванович тоже сначала не мог понять. Но однажды ночью Пильщик упал. Упал между кроватями, в припадке, громко ударяясь головой о тумбочку, как о барабан. Крепостнов, сосед Туголукова, сразу закричал: «Сестра-а!»

При включенном свете тараканы начали разбегаться по стенам, как трещины. Цаплей проскакала к колотящемуся больному Зудина. За ней прибежал Кузьмин, дежурящий как раз в ту ночь. Еще кто-то в белом. Втроем кое-как утихомирили беднягу. Сняли обмоченные полосатые штаны, завалили беспамятного больного на кровать.

Уходя, Кузьмин равнодушно смотрел на стены, на бегающих тараканов. Но в коридоре вдруг начал кричать на Зудину. Как совсем другой человек: «Ты когда, наконец, вызовешь санэпидемстанцию? Мамаш с их насосами? У тебя дома так же тараканы бегают?» Зудина растерянно ответила, что это дело сестры-хозяйки, а не ее, Зудиной. «Я тебя покажу сестру-хозяйку! – удаляясь, гремел неузнаваемый Кузьмин. – Черт знает что такое! Больница называется!..»

Иногда сосед Туголукова Крепостнов лежа ни с того ни с сего вдруг громко говорил в потолок: «Ничто так не старит женщину, как взгляд ее поверх очков. Ничто!» Или: «Человеческая жизнь колеблется между скукой и тревогой. Шопенгауэр». Или после долгой паузы – вообще ни к селу ни к городу: «Небо – как баба на сносях». Вдруг поворачивал к Туголукову большое свое, как дряблый баллон, лицо: «Да она не знает с утра, куда правой ногой ступить, куда левой! Сама толстая, а муж худой как велосипед!» Строго ждал ответа. Парализованному становилось не по себе. Соседу явно требовалась психиатрическая помощь. Лучше бы уж ел, наверное. Или следил за капельницей. «Да куда он денется! – вдруг кричал Крепостнов. – С ним всё ясно! Как с гвоздем! Как со шляпкой гвоздя! Бей – да только следи, чтоб не загнулся!» И снова поворачивался и требовательно ждал ответа. Георгий Иванович переставал дышать. Но Крепостнов резко перекидывался на другой бок и со слезами на глазах гладил мощную, как артиллеристский склад, больничную батарею. Георгий Иванович переводил дух, вытирал тылом руки разом вспотевший лоб.

Впрочем, иногда к Крепостнову действительно приходила психиатр Турсунова. Статная восточная женщина с размазавшимися женскими бакенбардами возле ушей. Замаскированная в отделении под *невролога Турсунову*. Задавала в общем-то безобидные вопросы: какой на дворе год, какой месяц, число. Выслушивала точные ответы Крепостнова.

Поворачивалась к Туголукову. Ну, а как у *нас* дела? Туголуков изображал растение с головной болью. Турсунова смотрела. Черный пушок над ее верхней губой влажно блестел. Так. *Мы* еще не дозрели до моих вопросов. Турсунова вставала, шла к двери.

Срывался Пильщик: «Альмира Оралбековна! Альмира Оралбековна, а как вы думаете, Шахрай потянет, вы извините меня, пожалуйста?»

Турсунова вела его из палаты как друга. Как верного старого друга: «Шахрай потянет, Сергей Аронович, еще как потянет». – «Но ведь Шахрай – это в переводе означает *мошенник*, Альмира Оралбековна!» – «Тем более потянет, тем более, Сергей Аронович», – подмигивала палате Турсунова и уводила седого петушка за дверь.

Пролежав в неврологическом отделении два месяца, навидавшись и наслушавшись всего, Георгий Иванович стал понимать, что неврология, в общем-то, ходит рядом с психиатрией. Пограничны они. А порой и просто идут в одной упряжке. Георгий Иванович чувствовал, что и сам порой становился не очень вменяемым.

Однажды он смотрел с другими больными телевизор в холле. (Это, когда уже стал выходить из палаты.) На экране всероссийский кабан со сдвинутыми бровями опять брезгливо указывал кому-то трехпалой рукой. Совал ею как пистолетом. Следом за ним говорил его постоянный *озвучник*. По фамилии Ястржембский. Разъяснял *дорогим россиянам* на пальцах, что же всё-таки хотел сказать их Главный Дуролом. Георгий Иванович поднялся, чтобы уйти, но начали кружить по экрану птицы и обезьяны и появился Ведущий с улыбчивыми широкими губами... Всю передачу Георгий Иванович просидел

спокойно. Но в конце почему-то показали двух зимних снегирей, сидящих на вечерней голой ветке черемухи. Снегириха, как испанка платье, вдруг развернула-свернула хвост. Как будто плясанула фламенко. Снегирь даже глазом не повел. Он походил на серьезного Брежнева, красно подсвеченного орденами... Георгий Иванович начал смеяться. Один среди недоумевающих соседей. Хохотал. Его бульканье из разинутого рта не походило на хохот. Но он-то знал, что хохочет. Зудина еле его успокоила. Повела, мельтеша длиннющими своими ногами, в палату. В общем, Турсунова ему тоже, наверное, не помешала бы.

Часто плакал. Сквозь давящие слезы всегда видел одну и ту же картину...

...В сумраке комнаты казалось, что от лица матери остался только черненький крохотный экслибрис на подушке, жуткое факсимиле его. Да что же это такое! Как же такое может быть! – подходил, поворачивался и словно спрашивал у отца Туголуков.

Она прерывисто дышала. К приехавшему сыну, к своему Горке она протянула руку. Рука была как овсяный переломленный стебель. Он гладил ее, полнился слезами. И всё поворачивался к отцу. А тот, словно винясь перед сыном за то, что мать его так исхудала, сидел с опущенной головой. Лучи солнца падали из окна прямо ему на голову, высвечивая ее будто тиной покрытый придонный камень.

Потом двадцатилетний студент плакал и гладил у себя на груди мертвую руку матери...

Георгий Иванович незаметно, словно пот с лица, вытер слезы платком.

Возле Крепостнова уже сидела жена, и пока тот жадно черпал из кастрюльки, действительно смотрела на мужа поверх очков. По-старушечьи. Глазами словно бы раздетыми, неприбранными. «Не *клинило?*» – тихо спрашивала у мужа, имея в виду, должно быть, голову его. «Нет», – коротко отвечал супруг, продолжая есть. Тогда поворачивалась к Георгию Ивановичу и спрашивала, как у него дела. Получше ли ему стало. Георгий Иванович смыкал веки: да. «Он немтырь, – пренебрежительно, как про бревно, говорил про парализованного Крепостнов, продолжая черпать. – Чего спрашиваешь? Он долго теперь будет молчать».

Тем не менее, этот Крепостнов еще раньше, когда Туголуков с трудом вставал, единственный из всех в палате водил его в туалет. (Когда не бывало рядом Олимпиады.) Вернее, таскал, волочил на себе. Вроде прилипшего к боку осьминога. Или болтающегося кальмара. Таким же макаром притаскивал обратно. Укладывал осторожно на кровать. Георгий Иванович сжимал его руку потной своей, дрожащей левой рукой. «Ну-ну, бедолага. Успокойся», – гладил его руку Крепостнов. Баллонное шершавое лицо его даже разглаживалось в улыбке...

...После обеда, когда все лежали и похрапывали, Зудина тронула Туголукова за плечо: «К вам пришли, Георгий Иванович. Ждут в холле». Видя, что Туголуков суетливо начал подниматься, заскрипел пружинами кровати, мягко придержала: «Потише только. Все спят».

Посетителем оказался усатый Курочицкий из инструменталки. С забытого уже Туголуковым комбината. Он сидел с тремя пресловутыми апельсинами в сеточке. Почему-то без больничного халата. Он вскочил, увидев везущего ногу Георгия Ивановича. Крепко обнял. Довел и помог больному сесть в кресло.

Потом не знал что говорить. Сидел с хорошо заточенными и загнутыми своими усами. Как с кошкой рыбацкой. Которой в глубоких колодцах цепляют и вытаскивают оборвавшиеся, затонувшие ведра.

Заговорил наконец. Один. Поняв, что Туголуков стал немым. Советовал ему идти *на инвалидную*, а не *по возрасту*. Надежней будет, Георгий Иванович. А комбинату – конец. Раздербанивают окончательно. Сырье вывозят по ночам машинами. Никакого комби-

ната фактически нет. И вряд ли будет. Даже иностранцы не хотят с пола поднять. Работяги всё чего-то духарятся, с плакатами бегают, пикетируют цеха, галдят. Но – поздно. Поздно, Вася, пить боржоми, когда желудка уже нет.

Перед уходом он опять крепко обнял больного. Нос его зашмыгал, а усы загнуло еще выше. Поправляйся, Георгий Иванович, поправляйся, дорогой. Пошел к лифту.

Однако когда Туголуков лег, он появился в палате. Без слов, тоже как глухонемой, помотал апельсинами в сетке. Положив всё на тумбочку, сжал еще раз левую руку Георгию Ивановичу и исчез.

Как он узнал о болезни Туголукова и как проник в больницу без халата – было непонятно.

8. Аргументы и факты 1992-го года

После того, как с газетами вышла последняя старушка, Надежда Приленская повернулась к Олимпиаде. И та сразу заплакала.

«Ну-ну, Липа!» – как могла, успокаивала Приленская.

Потом молча слушала. Рано состарившееся, заварное лицо ее было серьезно.

– Ну что тут сказать, Липа, – заговорила наконец, – В центре тебе уже не работать. Эта сволочь не оставит тебя в покое. Попробуй продавать на Защите, прямо рядом с вокзалом. А остатки газет будешь оставлять у Пилипенко из «Союзпечати». В ее киоске. Я ей сегодня же позвоню. Из-за столика тоже не переживай. Закажем. Коля вон тебе и принесет. Дня через два. Слышишь, Коля?..

Маленький тщедушный Коля Приленский сновал, быстро прибирал всё на стеллажах. Он казался женщинам муравьёнком, у которого отняли детство. На которого вдруг накинули взрослый большой халат, а он путается сейчас в нем будто в силках.

– Слышишь, Коля?..

– Слышу, мама, обязательно принесу.

Он тащил к остановке две тяжелые связки газет тети Липы. Но в вагоне сразу приложился щекой к стеклу. И под сонный перестук колес первого пустого трамвая, под плывущими одиночными огоньками не проснувшихся еще домов тоже быстро уснул. И уже не слышал, о чем говорили мама и тетя Липа.

На железнодорожную станцию Олимпиада смогла поехать только в одиннадцать утра, уже в ощутимую жару.

Пожилая Пилипенко была на месте. Сидела в киоске «Союзпечати» вроде зобастой совы в гнезде. После объяснений Олимпиады сказала коротко: «Заноси».

Для сквозняка дверь киоска была распахнута настежь. В поддуваемом пестром платье Пилипенко сидела будто в гондоле – вместе с табуреткой. «Жарко», – коротко пояснила, даже не обернувшись.

Олимпиада торопливо развязывала свои пачки газет, старалась не смотреть на полные голые ноги, пораженные варикозом.

С газетами на руках встала метрах в тридцати от киоска, рядом со зданием вокзала. Солнце жгло, било в глаза, но Дворцова терпела – от билетных касс на улице люди шли не в здание вокзала, а сразу на перрон, к электричкам, и проходили, чуть ли не задевая Олимпиаду, ее газеты. Однако за час она продала только четыре экземпляра. Одни «Аргументы и факты» и три «Каравана».

С электричек сходили озабоченные дачницы с наспех подкрашенными губами. Навьючивались тяжеленными своими рюкзаками, подхватывали ведра, укрытые белым, спешили мимо Олимпиады к переходному мосту. Им было явно не до газет.

Олимпиада все стояла на том же месте, все еще надеялась на что-то.

Подходила другая электричка. И уже другие вроде бы дачницы бежали. Со спекшимися студенистыми щечками, подрезанными острыми морщинками. Но бежали почему-то настороженно, суетливо. Как бегут всегда спецназовцы. Расторопными тараканами. Здесь чисто! И здесь чисто! Так мимо Олимпиады и пробежали, даже не поняв, что ее надо «глушить». Чисто! И здесь чисто!..

– К поездам выходи, к поездам! – наставляла Пилипенко. – С электричек не берут – одна беднота.

Но первым прошел скорый, стоял всего три минуты, и у бегающей Олимпиады какой-то полупьяный пассажир в майке и тапочках купил неизвестно для чего один «Караван». Поехал, повиснув на поручнях, со смятой газетой в руке, с повисшей тапкой, которую все же втянул в вагон.

Пришел, наконец, алма-атинский. От Пилипенко Олимпиада вновь кинулась на перрон.

Массово начали выгружаться челноки. Суетились возле вагонов. Все с обязательными своими пупочными грыжами. И мужчины, и женщины. И вот уже всё стадо движется по перрону. С носильщиками, с тележками. На тележках сумки, матерчатые баулы – до неба. Челноки и челночницы спотыкаются, оглядываются на поклажу. Словно боятся, что та и в самом деле может умахнуть от них в небо.

У Олимпиады купили аж целых две газеты. Она опять вернулась на привокзальную площадь. Не знала: куда теперь?

Неподалеку от касс, прямо на тротуаре, стояли толпы бутылок с окрошечным квасом. Как советские состарившиеся гулливеры, нависли над ними старухи. Такой же старик, но с метлой под мышкой, остановил гремящий оцинкованный ящик на колесиках. Как на параде, дурашливо прокричал: «Здравствуйте, товарищи бизнесменки!» И сразу поинтересовался картавым Лениным: – «Как бизнес на сегодня, товарищи?» – «Давай, давай, греми дальше, старый пер...», – беззлобно ответили ему.

Старик посмеялся. Невысокий росточком, повез ящик дальше.

Взгляд Олимпиады почему-то возвращался и возвращался к этим старухам, квас у которых никто не покупал. Которые так и продолжали обреченно стоять над несчастными своими бутылками... Не выдержав, Олимпиада подошла. У самой старой купила одну бутылку. Старуха суетилась, обтирала бутылку тряпкой, подавая Олимпиаде. Касающиеся рук Олимпиады длинные пальцы ее были ледяными. Как у черной лягухи, только что вытащенной из молока.

Бутылка эта Олимпиаде, в общем-то, была и не нужна. Дома свои такие же в холодильнике стояли. Пилипенко, может, ее отдать?

Однако Пилипенко за раскаленным киоском пришлось отпаивать не этим теплым квасом, а холодным зеленым тархуном, за которым Олимпиада сбегала на вокзал. По радио на сегодня объявили 40 в тени. Красная, сидящая на табуретке Пилипенко глотала тархун и трясла на груди платье. Она была на окладе. Она готова была умереть за оклад в раскаленном киоске!

Попрощавшись и оставив ей вместе с газетами и квас, Олимпиада тяжело стала взбираться по крутой лестнице на переходный мост. Дышать было нечем. Даже голуби словно плавились в воздухе над элеватором за станцией.

В скрежещущем по кругу трамвае было что-то от плоского неустойчивого ящика со стеклом. Двери уехали в стороны, и несколько человек полезли в железную баню на колесах, в ад. Олимпиада обмахивалась платком, искала место, где не было бы солнца.

Трамвай долго не двигался, накалялся. Тугой неподвижный затылок вагоновожатой походил на замороженный окорок в белой слезе.

В вагон заглянул мужичок. Глаза его были чумными:

– Я до психушки доеду?

– Доедешь, доедешь, – пообещали ему.

Мужичок быстро полез в вагон.

Еще стояли. Наконец, поехали.

После остановки «Электротовары», когда трамвай был уже полнехонек, по вагону пошел голос: «Га-азеты! Свежие га-азеты! «Аргументы и факты», двадцать копеек, «Караван» – три-идцать! Свежие га-азеты!»

Из длинного кожаного кошеля на груди конкурентка Кунакова выдергивала требуемую газету, отдавала в руки, брала мелочь, ссыпала в гаманок. «Га-азеты! Свежие газеты!»

– Что же ты, Люда, не на своем месте сегодня?

Олимпиада с улыбкой смотрела на конкурентку. По размалеванному лицу клоунессы тек пот. Она закачалась в газетах как в каком-то мучительном (бумажном) иконостасе: «Боюсь, Липа. Боюсь. И меня побьют. Я ведь твоя подруга». Олимпиада, тоже вся мокрая, вытерла пот с лица. Хотела возразить, что подругами они вроде бы никогда не были. Но Кунакова уже продвигалась дальше. Летнее платье пролезало вместе с ней модным порезанным отрепьем, оголяя ноги. «Га-азеты! Свежие га-азеты! “Аргументы и факты”!..»

Бандочка пацаненков шла, приплясывая, пуляя пальцами, вдоль стекла гастронома «Колос». В распущенных длинных майках – вроде болтающегося белья.

Прямо с земли продавала разложенные грибочки Бобышева. Алкашка с лицом как печеное яблоко. Поглядывала на гастроном. В нетерпении переступала на месте облупившимися, будто луженными, ножонками.

Бандочка, вихляясь, подвалила к ней: «Бабка! Мы эти... как их?.. *рыкитёры*... Рыкитёры мы... Ага... Давай, делись!»

Как в припадке, Бобышева сразу начала испуганно захлебываться собственными матерками. Бандочка с хохотом двинулась дальше, толмача руками: «Рыкитёры мы! Ага! Давай, бабка, делись!»

Резко сбросив скорость, Фантызин покрался за пацанами. С улыбкой наблюдал. Потарзаньи прогорланил. Сигналом.

К машине направился самый длинный. У него майка болталась ниже колен. Приблатненный уже. Офиксаченный. Вихлялся, слушал голос из кабины.

– Всё в порядке, дядя Фантызин. Нигде нет, и больше с газетами не появится. Гарантируем. Поучили.

Небрежно протянутую из окна купюру взял с почтением, как визитку. Вернулся к своим, победно помахивая ею. Самый маленький в майке начал подпрыгивать, пытаясь сдернуть красную десятку. «Ты, орбит без сахара!» – замастрячил ему хороший шелобан зафиксаченный.

И бандочка пошла дальше, пуляя во все стороны руками: «Рыкитёры мы! Ага! Давай, бабка, делись!» Маленький путался в майке, догонял.

«Хонда» рванула с места. От победного, пропарывающего улицу автомобильного вопля – Олимпиада вздрогнула, перестав заворачивать вареник. Кинулась, захлопнула форточку. Сволочь!

После обеда на месте Олимпиады уже тяжелая Долбнева сгибалась над газетами, выкладывая их на свой столик. Ни дать ни взять толстоногий Карабас-Барабас в штанах в крупную клетку. Не смотрела на идущую к автобусу Олимпиаду.

Возле кровати сидел Кузьмин. Все такой же щекастый и унылый. А над Горкой гнулась со шприцом длинная Зудина. И у Олимпиады упало сердце. Однако Кузьмин, встав, тронул ее за руку: «Всё в порядке, не волнуйтесь, немного подскочило давление, сделали укол. Жарко».

Олимпиада с сумкой села на стул, где только что сидел врач, во все глаза разглядывала косорото улыбающегося больного. Немного, правда, раскрасневшегося и потного. Потянулась, хотела вытереть ему лицо полотенцем...

– Коллективы – это раскиданные по всему городу племена завистников! – вдруг закричал Крепостнов в потолок. – Племена неизлечимых завистников!

Олимпиада вздрогнула. Глазами показала Горке на соседа: слыхал? Может быть, мне выйти? Туголуков удержал ее за колено: не торопись!

– Да он же маразмат! Выбьет из носа – и идет с ожерельем на груди! – не унимался Крепостнов.

Зло повернулся к Туголукову, в упор не видя Олимпиады:

– Он хорошо про нее заботился, а она бре́нговала!

– Что с вами, Геннадий Иванович? – решилась спросить Олимпиада. Крепостнов ее не слышал. Снова лег на спину. Вроде бы успокоился.

– Беременная в комбинезоне! Наш мастер деторождения!

Олимпиада встала, пошла из палаты. Сгибаясь, будто с приступом живота.

– Вместо бедер – бедрышки! – закричал Субботин. – Жалкое зрелище!

Когда в холл приковылял Георгий Иванович, Дворцова ходила, пытаясь удержать истерический смех: «А он не опасен, Гора? Хах-хах-хах!» Туголуков, косо улыбаясь, успокоил ее, сказал, жуя языком, что нн-ет, не-э опасен! И тоже начал смеяться. По-своему. Точно воркотню голубя из горла выпускал.

Потом он с аппетитом ел принесенные вареники с капустой, заправленные постным маслом. Мычал, мотал головой, хвалил Олимпиаду. Дворцова видела, что он поправляется. Сразу начинали наворачиваться слезы. Но о неприятном, о случившемся с ней вчера, не рассказывала. Не могла. Не имела права.

Проводила Горку обратно в палату. Крепостнов первый поздоровался с ней. Улыбался. Ему тоже сделали укол. По приказу Турсуновой. От шизы. Жарко, Олимпиада Петровна!

У самой Дворцовой о ее самочувствие справились поздно вечером. По телефону.

Черненьким прахом на груди Фантызина лежала крашеная головенка Голяшиной. Его новой теперь подруги. Которая растягивала губы сейчас как слюни: «Ну Ви-итя, не говори с ней. Я не хочу-у». Фантызин, смеясь, подносил трубку к *слюням*: «Ну Дворцова. Как тебе не сты-ыдно. Зачем ты слушаешь Ви-итю?»

Фантызин, услыхав, наконец, ответное слово «говнюк», с удовлетворением клал трубку на аппарат. Затем в страстном поцелуе собирал все губы Голяшиной.

Олимпиада сидела-плакала у залуненного окна. Жалела и себя, и бедного Горку, которого скоро должны выписать...

Из динамика в темном углу комнаты дикторша-казашка осторожно говорила по-русски. О погоде на завтра. По области. О том же самом уверенно заговорила по-казахски. Прощаясь со слушателями, опять с опаской выговорила несколько русских слов. Мол, передача окончена. Всего вам... доброго... Поперхнулась последним словом. Повисла долгая испуганная пауза. И с каким-то шумом – словно что-то упало у нее в студии – судорожно вырубилась из эфира.

Олимпиада вытерла глаза. Посмотрела вверх. Месяц вдруг превратился в лыбящегося тореадора. Подло подманивающего быка-дурака с земли. Сизой тучкой. Будто плащом!.. Дворцова потрясла головой. Плащ исчез. Месяц улыбался!

Перевела дух. Тоже пора в палату Горки. Лечь рядом с выкрикивающим Крепостновым. Не иначе.

9. Грузок, what is it горка and липка?

...К новому проповеднику со свежими, но недалекими глазами, к его придурковатым речам в 85-м году Олимпиада Дворцова отнеслась без особого пиетета. Зато член парткома комбината Георгий Иванович Туголуков превозносил его на всех собраниях, митингах и даже в приватных беседах. В течение двух дней под непосредственным руководством Георгия Ивановича по всему комбинату повесили портреты этого человека. Человека с симпатичненькой как бы Курильской грядой на лбу. («Это его боженька отметил», – радостно говорил Георгий Иванович работникам, разглядывающим повешенный портрет. Хотя по должности и партийности не должен бы так говорить. Однако многим уже тогда казалось, что боженька на человека просто дриснул в неурочный час.)

В отделе, где Олимпиада работала старшей чертежницей, все как с ума посходили, никто не работал. «Перестройка! Перестройка!» Все бежали или на собрание, или на митинг. Или в крайнем случае набивались в курилке, там галдели. Покинутый большой зал с рядами чертежных досок и с рейсшинами частенько напоминал теперь аэродром с брошенными аэропланами.

(Олимпиада сначала тоже бегала со всеми (куда люди, туда и Марья крива). На митингах, не узнавая себя, пищала голоском робкой неполноценной истерички. Каким пищат девчонки на концертах: «Уи-и-и-и-и!» Но быстро пришла в себя – успокоилась. Под шумок даже стала сваливать из отдела. Домой или на дачу.)

А Туголуков, как никогда, наставлял, поучал, указывал в цехах. (Он был инженер по технике безопасности.) Или выслушивал. С серьезно сдвинутыми бровями. Чтобы тут же снова поучать: «Нет никаких мелочей, товарищи. Начинайте перестройку с себя! Только с себя! Открывайте в себе скрытые резервы!»

Сойдясь с Олимпиадой, в широкую кровать с лежащей женщиной он забирался теперь очень серьезно – с раскрытой газетой в руках. «Вот послушай, дорогая, что сегодня пишут». И шла вдохновенная политинформация, прерываемая или пространными комментариями, или страстными объяснениями происходящего в стране. Олимпиада зло выключала свет. Отворачивалась к стенке. Политинформатор лежал рядом. С мерцающими глазами. Долго не остывал. Это было его время. Время надежд, время свершений.

На какое-то время Туголукова отрезвил отъезд бывшей жены в Россию. Отъезд с его девятилетним сыном Андрюшей, которого он очень любил. О котором и после развода продолжал заботиться и всячески опекать. Порой даже чересчур, чем, видимо, мешал молодой относительно женщине устроить заново свою личную жизнь. Она всё проделала тайно. Втихаря, пока перестройщик водил маёвки, обменяла квартиру на Иркутск, где жила бабушка Андрюши, втихаря, даже не дав проститься с отцом, увезла сына... Возмущенный Туголуков бросился вдогонку, чтобы высказать ей всё, а может быть, даже и отобрать сына... но с полдороги почему-то вернулся. И почти сразу о сыне и об обиде забыл, опять окунулся с головой в дело перестройки. Олимпиада стала поглядывать на него по-женски свысока, даже брезгливо. Как на недоделанного. (Хотя, казалось, теперь-то уж ничто не мешало ей сойтись с Туголуковым серьезно.) Раза два не открыла даже ночью дверь. Тут и появился Витька Фантызин. Сначала, понятно – Виктор Степанович.

Пронырливый, очень ценимый начальством толкач, он работал в отделе снабжения комбината. Холостой и внешне беззаботный, колесил в то время по всему Союзу. Между делом случайно узнал о связи Туголукова с Олимпиадой Дворцовой. Туголукова, своего тайного давнего врага. Это-то его и завело.

В лучшем городском ресторане «Иртыш» он сразу решил сразить наповал эту крупную красивую женщину. Даже не раскрыв ресторанной атласной карты, он устало говорил лупоглазому замороженному официанту (Зяблову): «Для начала подай нам, Генна-

дий, шашлыков карских два, салат “Столичный” два, салат “Оливье” два. Ну и, пожалуй, бутылку марочного “Телиани”. – “Телиани” нет, Виктор Степанович, – сказал лупоглазый, – Не завезли (не завезли-с). Возьмите “Ркацители” двухгодичной выдержки. Отличный букет». – «Ну хорошо, хорошо, – нахмурился знаток и тонкий ценитель вин, – принесешь “Ркацители”. И в конце подашь коньяк и кофе. Да, и скажи Рамазану, чтобы шашлык не был подгорелым как в прошлый раз!» – несколько сбился с тона гурман и завсегдатай ресторана «Иртыш».

Олимпиада со смехом в глазах следила за разыгрываемым спектаклем. Тем не менее это не помешало ей есть и пить потом от души. После ркацители голову советскому шампанскому лупоглазый свернул профессионально, без шума, как наполеоновскому солдату. И, дернув шипучки, лысый человечек (Фантызин) дальше лепил Олимпиаде о своих поездках по Союзу, перемежая всё анекдотами, над которыми сам первый и хохотал. И в общем-то казался женщине симпатичным. Царапнуло, поразило ее в тот вечер только одно – он вдруг схватил чужой бокал с соседнего стола... Но тут же поставил на место, извинившись. Поэтому она успокоилась и, как бы тоже против его, свободно прыгала с ним у эстрады под рев и барабаны лучшего тогда в городе оркестра.

Потом в темноте, возле своего подъезда, не смогла отказать, и он ночевал у нее.

И потянулась эта ненужная Дворцовой связь. Тяготящая ее, раздражающая. К тому же новобранец любовник, как кобелек, помечающий кусты, все время давал о себе знать. И чаще именно тогда, когда Горка бывал у нее: звонил в это время по телефону, посигналив, выскакивал из машины и прохаживался, поглядывая на окна Олимпиады. «Чего он тут делает?» – удивлялся Туголуков, но тут же забывал о сопернике и продолжал очерчивать руками *контуры перестройки*. Олимпиаде стало казаться, что она втянута в какую-то игру, что объедки Фантызин любил хватать не только со столов в ресторанах...

Еще живая тогда мать Олимпиады нередко говаривала у себя в доме на Бабкиной мельнице непутевой дочери своим хорошо сформировавшимся басом старухи: «Нет, Липка, как разошлась ты со Звоновым (первый муж Олимпиады), так и пошла по рукам. Коверкин, Зайцев. А теперь вот и вовсе: один проходимец, другой еще хуже – как не в себе все время». Басистая старуха с натянутой назад сединой стягивала губами с блюдца чай, с удовлетворением смотрела на бравого Петра Дворцова на стене, мужа своего, погибшего на войне. Так и оставшегося с молодым, выглаженным, как мундир, лицом. Верность которому она, Екатерина Дворцова, смогла соблюсти. Да, смогла. Не то что некоторые. «Да ладно тебе, мама!» – хмурилась дочь, теребя на столе обертку от конфеты, забыв про чай. «Да не ладно! – восклицала Екатерина. – Не ладно! Не надо было рюмки вычикивать! Сейчас бы и дети были, и сама была бы человек. А теперь жди. (Жениха.) До морковкиного заговенья». (На своем дне рождения, где она впервые увидела приехавшего из Новосибирска зятя (Звонова), ее ошарашило поведение дочери за столом. За столом, полным гостей. На другой день она рассказывала сестре Евдокии: «Сидит наша Липка и рюмки только у мужа вычикивает. Тот только поднесет ко рту – она раз! ручонкой по рюмке... Срам!» «Да ладно тебе!» – не поверила Евдокия. – «Да точно, я тебе говорю. Своими глазами видела». Эти «вычикивания» дочери Екатерина Дворцова запомнила на всю жизнь. И не важно, что Звонов пил как сапожник, что заряжен был водкой постоянно. Как зажигалка бензином. Что клацни он зубами – вырвалось бы пламя. Об этом сестры как-то забыли, а вот что жена вычикивала у него рюмки за столом, да на людях – вот это да-а.) Дочь готова была плакать.

Возле окна, как инвалид на костыле, висел на палке весь перевязанный тряпками старый-престарый *алойка*. Так и висящий там, казалось, с самого детства Олимпиады...

Забыв про всех мужей и любовников, дочь, полнясь слезами, гладила руку хмурящейся, ничего не понимающей матери. «Телячьи нежности какие», – ворчала сформировавшимся басом Екатерина Дворцова.

В 86-м Фантызин *соскочил*. Одним из первых уволился с комбината. Из подвалов домов начал пробиваться в то время единственный на весь Союз антиактерский голос-фантом, дублирующий все хлынувшие с Запада фильмы: эротику, порно, боевики. Фантызин быстренько сориентировался, арендовал несколько закутков, в которых у него тоже зазвучал этот подпольный фантомный голос. Через полгода он уже купил квартиру в центре, а еще через пару месяцев машину – «хонду».

Туголуков все еще продолжал устраивать маёвки во дворах по всему комбинату. Кричал с трибун, призывал потерпеть. Но что-то сломалось уже и в нем. Он начал понимать, что всё увязло в болтовне и добром это для страны не кончится. Меченый, нисколько не потеряв свежести глупых своих глаз, ездил по стране, купался в толпах перед обкомами, как честный фокусник говорил с прямыми, как две доски, руками. Потом с такими же руками в Москве рулил съездами. Но ничего не менялось: талантливый враль заврался совсем, и обвал приближался неукротимо.

В 88-м, когда комбинат уже почти стоял, приехали на разведку американцы. За два дня до их появления администрация срочно организовала в цехах потемкинские деревни. Нагнали рабочих, заскрипели, поехали краны, засверкала электросварка, по дворам зашастали грузовики, полные чего-то, закрытого брезентом. Три менеджера и переводчица с недоверием походили и по дворам, и по цехам. Работа везде кипела. Туголуков в показухе уже не участвовал, однако вечером был почему-то приглашен на банкет. И почему-то с Олимпиадой.

В ресторане «Иртыш» все лезли с рюмками к трем хорошо промытым, причесанным и хорошо одетым иностранцам, которые вели себя сначала сдержанно, пораженные экзотикой лезущих отовсюду небывало больших костюмов и таких же экзотических больших лиц. Но по мере того, как заполнялись спиртным (казалось, им его вливали насильно) становились раскованнее. Через час двое из них скинули пиджаки и завыделывались в твисте с заводскими красотками перед эстрадой с оркестром.

Переводчица американцев сидела очень прямо. Как аристократическая мумия времен викторианской эпохи. При пережевывании пищи почти не шевелила губами. Вдруг сильно качнулась на стуле. Тогда встала. И как мумия уже простая, но не теряющая лица, пошла куда-то. Покачивалась и ломала ноги в туфлях на высоких каблуках. Ей долго помогали найти дверь.

Третий менеджер, довольно толстый, как и коллеги уже без пиджака, никак не мог отвязаться от Фантызина, который после ухода переводчицы лип к нему и что-то нашептывал. В какой-то момент этот толстяк сдался и вдруг появился перед Туголуковым и Олимпиадой, скромно сидящими в конце стола. Он хлопал белесыми ресницами и покачивался. Георгий Иванович хотел привстать и протянуть ему руку, но американец внезапно спросил его: «Грузок, what is it горка and липка?»

Лжегрузок в растерянности улыбнулся. А толстяк всё хлопал ресницами. Как глупая моль: «What is it, Грузок, горка and липка?»

Американца увели. Туголуков вытирался платком, тихо бормотал: «Почему «Грузок»? Кто такой «Грузок»? И вообще, при чем здесь мы?»

У Олимпиады лицо и шея сделались кирпичного цвета. Сидела злая. Видела приветственно помахивающую ручонку Грузка. Она поняла уже, в кого этот гад все время стреляет, для чего она, Олимпиада, ему нужна. А рядом сидит – дурак-дураком. Перестройщик... Пошли отсюда!

Как бы то ни было, но в том же году она внушала Туголукову: «Если нет ветра, Гора, греби». – «Куда грести, Липа, чем?» Олимпиада предлагала для начала продавать газеты, может быть, цветы. Сейчас это разрешено. «Какие цветы?! Опомнись! Какие газеты?!» Но Олимпиада резонно говорила, что газеты будут всегда. Люди всего боятся, особенно сейчас, им постоянно нужно знать, что их ждет. Сегодня, завтра, через месяц.

«Надя Приленская из Дома печати тоже хочет этим заняться. И положиться на нее можно. Создали бы что-то вроде кооператива. А, Гора?»

Георгий Иванович тогда отказался, но мысль о газетах – запала.

Никак не мог приспособиться к наступившему времени. Стал было челночить с Олимпиадой в Алма-Ату и обратно. На стареньком запорожце Георгия Ивановича ездили на юг несколько раз. На заднем сидении заваливал Олимпиаду с головой сумками с ширпотребом. Когда ей нужно было в туалет, приходилось прежде всего вытаскивать на дорогу эти сумки, а уж потом саму женщину, которую из-за боязни нападения степных разбойников припирало постоянно. Однако кончилось все это ничем – стихийная барахолка за Дворцом спорта сравнима была с какой-то побитой непролазной парусной регатой: никто, казалось, ни у кого ничего там не покупал. У Олимпиады, во всяком случае – точно: стояла целыми днями без всякого толку.

Приходил Туголуков. Тоже чего-то ждал рядом с продавщицей. Шакалил, промелькивал Фантызин. Подмигивал коммерсантам. Бизнесмен и бизнесменка хмурились. Пришлось в конце концов устроить распродажу, и лихие базарные тетки быстренько скупили все за бесценок. Фантызин помахивал бизнесменам рукой, уходя к своей «хонде».

По рекомендации Марианны Нитниковой, известной в городе активистки, Туголуков вахтерил какое-то время в Доме политпросвещения, куда, как на поминки, скорбно приходили группы городских коммунистов. Которые, впрочем, неукротимо редели – порой в обширном покатом зале сидели с опущенными головами всего человек десять-пятнадцать.

Появлялась сама Нитникова. До перестройки она работала в школе. Преподавала анатомию. Имела от любознательных деток прозвище Лобешник. А если расширенно – Голая Лобная Кость.

Она приходила, чтобы взбодрить своих собратьев. Весь вид ее говорил: она живет всерьез. Не просто так. На пустяки у нее времени нет.

Она беспрерывно ходила по сцене и говорила. Высокая, угластая, костистая – она словно спрятала для всех под платьем, по меньшей мере, понтонную переправу!

Собратья по партии хлопали ей бешено.

Комбинат к этому времени почти не работал. Лишь две трубы из семи, как два последних Хоттабыча, стояли вдали с жиденькими кудельками дымов. Но и дымки эти жалкие вскоре исчезли. Словно «хоттабычи» устыдились их и втянули в себя.

А потом был зловещий декабрь 91-го года. И за ним сразу пошел полный раздрай 92-го. Союза не стало окончательно.

Тогда же, в апреле, поддавшись на уговоры Надежды Приленской и Олимпиады, Георгий Иванович за небольшие деньги продал свой старенький «запорожец», чтобы купить наконец киоск для продажи газет и журналов. Об этом сразу узнал Фантызин (от проговорившейся Олимпиады) и подпустил к Туголукову Ваньку Вьюгина, такого же проходимца, как сам. Ванька пришел к Туголукову с *выгодным предложением купить именно такой киоск*. Возле парка Кирова. На углу. На самом людном месте. «А? Георгий Иванович? Как раз для вас!» – пятидесятилетний Ванька Вьюгии улыбался всем лицом. Как лучистое старенькое солнышко. Подсовывал бумаги. С печатями, с подписями. Снова улыбался: «А? Всё законно, Георгий Иванович! Без булды!»

Не зная сначала, откуда дует ветер, Георгий Иванович приходил с Приленской и Олимпиадой к киоску несколько раз. Разглядывал большой пустой деревянный обшарпанный ящик с хлипкой фанерной дверью. Долго не соглашался с женщинами, доказывающими ему, что больше такого случая не будет. Что нужно брать «ящик». И немедленно. И в каком-то помрачении ума – отдал-таки деньги Ваньке Вьюгину. А через неделю, когда выкрасили стены и навесили новую дверь – прибежал с милицией и с такими же бумагами, как у Георгия Ивановича, Зайнуллин, рубщик мяса с рынка, тоже купивший

киоск у Ваньки Вьюгина, купивший для сына... Приленская и Зайнуллин размахивали бумагами, спорили у киоска. Как к третейским судьям, взывали к милиции. Милиция в количестве трех человек – хмурилась: перед тем, как смыться в Россию, Ванька Вьюгин умудрился продать вдобавок к киоску несколько чужих гаражей. Олимпиада и Туголуков стояли убито. А Фантызин, всегда случавшийся *неподалеку* (в кульминационных моментах, связанных с Туголуковым), улыбался, прогуливался в аллее парка. Вдоль свежезеленой висящей кашки апрельских тополей.

Туголуков уставился на него. Туголуков наконец-то всё понял. Связал всё воедино. Всё происходящее с ним, Туголуковым, за последнее время...

В тот же день после тяжелого разговора он порвал с Дворцовой.

Он стоял на коммунальном мосту через Серебрянку словно с намерением броситься вниз. Однако внизу все было красиво – в недвижной заводи как будто разлили светло-зеленую масляную краску, в которой бледно проступали весенние деревья и кусты... Опершись локтями на перила моста, Туголуков курил и все смотрел, как по зеленому маслу носятся водомерки. Под перекатом, дальше, вспыхивая в солнце, ныряли утки...

Наконец часов в шесть вечера пошел домой. По мосту устало двигались вечерние стада машин. Солнце на западе как будто вкатилось в русскую печь, проваливаясь все дальше и дальше. Потом захлопнулось черной заслонкой, из щелей которой долго еще выламывался красный свет...

Несколько дней у него сильно болела голова. Но все вроде бы в тот раз обошлось. И только когда бросил в парткоме на стол билет – очнулся от всего в больнице. Он долго шел к ней. Три последних замечательных года.

10. Ночь Туголукова

Сначала сверчок только сыро цвиркал сквозь зубки. Словно коротенькими чернильными трельками чи́ркал темноту. Но постепенно разошелся – и уже будто напильником заскреб. Приподнявшись на локоть, Георгий Иванович пытался определить, где он слесарит. Однако пришла в окно луна. Как перевернутая китаянка, отраженная в воде колодца. И сверчок разом замолчал. В резком рентгенозном свете палата стала казаться каким-то фантастическим моргом с захрапевшими вдруг покойниками... Туголуков откинулся на подушку. Сна не было. Смотрел теперь на вновь оживший тараканий сабантуй на потолке. Веселенькое дельце. До утра теперь будут кипеть.

Георгий Иванович закинул здоровую руку за голову – опять вспоминал...

...В первый раз, как рассказывала потом Олимпиада, она увидела его в сквозной аллее парка им. Кирова. Он быстро шел впереди катящегося велосипедика с мальчишкой в панамке. Так и прошли-проехали мимо, точно тренируясь, точно готовясь к соревнованиям. Долго зыбились, удалялись по длинной осолнечненной аллее.

Через неделю в той же аллее, но уже вместе с подругой Анькой Субботиной, Олимпиада опять увидела эту странную парочку.

Мальчишка в панамке наяривал за мужчиной, будто велогонщик за мотоциклом в гонке преследования.

Олимпиада убрала руку со спинки скамьи, подобралась.

– Смотри, дед тренирует внука. К велогонкам. В детском саду.

Субботина, напротив, осталась сидеть вольно. Спокойно смотрела на приближающихся, затонув во всегдашнем своем парике будто в бухарской шапке.

– Это не дед. Это Горка Туголуков с комбината.

Олимпиада начала что-то припоминать. Вроде бы инженер по технике безопасности. Подруга тут же доложила, что «дед» в разводе и постоянно тренирует «внука» из природной своей смури и занудства.

– Он не будет просто так гулять с сыном, как все, – смеялась Анька, когда странная парочка была уже далеко. – На прогулках он будет тренировать сына, наставлять, указывать. Он бывший муж Ритки Питиримовой. Он надоел ей до́ смерти. Неужели ничего не слышала о них?

Нет, Олимпиада, ничего не слышала про Горку Туголукова и Ритку Питиримову. Подружку свою Аньку Субботину она знала хорошо, училась с ней в одной школе, а вот Горку и Ритку... Тогда Субботина сразу начала рассказывать захватывающую историю про развод Ритки Питиримовой и Горки Туголукова:

– ...Представляешь, он всё ей оставил: квартиру, мебель, дачу (взял себе только библиотеку). Переехал к живому еще тогда отцу. Но с условием, что в воспитании сына будет тоже участвовать. И беспрепятственно. Представляешь? И вроде бы это хорошо, хороший отец, а лучше б его такого и не было. Постоянно звонит, приходит, лезет во все дела, указывает, что нужно делать, а что не нужно делать. Бывает, не дает ей даже гулять с сыном. Поехать с ним куда-нибудь отдохнуть. Представляешь? Прошлой зимой она Андрюшку простудила. Заговорилась с подругой на улице, было градусов тридцать, а мальчишка ждал мокрый, опрудился в садике. Ей надо было прежде сбегать домой за сухим, переодеть его в садике, а уж потом вести домой, а она не сделала так, ну и на другой день – воспаление легких у мальчишки. Так Туголуков чуть с ума не сошел! В общем, после этого случая вообще жить не дает. Ритка привела как-то к себе в дом мужчину, серьезного, с серьезными намерениями, так зануда устроил скандал, грозился Андрюшку через суд отобрать. В общем, Ритке сейчас ни туда, ни сюда с таким бывшим мужем. Сама себя загнала в угол. Расповадила этого смурняка, этого полудурка. Она моложе его на пятнадцать лет, вот и поддалась...

Анька Субботина замолчала. От жары и волнения парик у нее съехал назад. Анька вытирала узенький лобик платком.

– Так ведь ему сейчас за пятьдесят, наверное, – в раздумье сказала Олимпиада. – Что же он до этой Ритки не был женат, что ли?

– Был. Но первая жена умерла от какой-то тяжелой болезни. А детей у них не было...

Анька, постоянно поправляя парик, еще долго рассказывала про козни Горки Туголукова, не дающего бывшей жене, Ритке Питиримовой, устроить свою личную жизнь, но Олимпиада уже почти не слушала ее. Почему-то виделся этот Горка Туголуков совсем в другом свете...

...Впервые Георгий Иванович Туголуков увидел эту странную женщину тоже в аллее парка, только парка другого – парка санатория «Горняк», где он отдыхал каждое лето по пятнадцать-двадцать дней. Женщина в просторном летнем платье вышагивала навстречу с ленивой небрежной осторожностью коровы. Так и прошлепала мимо, жуя жвачку и даже не взглянув.

В обед врач-диетолог подвела ее к столу, где сидел Георгий Иванович и еще двое (муж и жена) и представила:

– Олимпиада Петровна Дворцова. У нее тоже второй стол. Прошу, как говорится, любить и жаловать!

Познакомились. Мужчины привстали, пожали ей руку. Дворцова по-хозяйски уселась, приняла от официантки тарелку с супом. Туголуков незаметно поглядывал на нее. Лет пятидесяти дама. Но хорошо сохранилась. Жует, – как и ходит: все с той же медлительностью и равнодушием красивой статной коровы. Из такой, конечно, слова не вытянешь.

Туголуков поднялся, сказал «спасибо за компанию», придвинул стул, пошел из зала. С карандашами у губ, подсчитывая калории, пенсионеры сидели за столиками в белых скатертях-чехлах как вдумчивые ленины.

После тихого часа она не пришла в столовую. Туголуков подумал, что просто не знает точного времени полдника. Но ее не было и на ужине. Странно. Уехала, что ли? Или держит какую-нибудь диету?

Увидел ее вечером на освещенной веранде, где под хитрую музыку массовика-затейника люди кидались на стулья. Женщина сбила даже одного замухрышку на пол.

Ночью вспоминал почему-то глаза женщины после того, как та захватывала стул. Глаза ее победно сверкали. Как будто схватили на миг свою молодость. И никакого вам коровьего равнодушия в них!..

Утром в конце завтрака, когда супруги ушли, он спросил у нее, откуда она приехала сюда отдыхать. Спросил из вежливости, просто чтобы не молчать.

Женщина замерла, точно раздумывая, ответить или не надо?

– Мы с вами вместе работаем, Георгий Иванович. На одном комбинате.

И залепила рот ложкой манной каши, словно чтобы ничего больше не говорить.

Половина отдыхающих вокруг была с комбината. Даже сам Петр Феоктистович Звонцов, директор, отдыхал сейчас здесь же. Правда, никто его на территории ни разу не встречал, но каждый чувствовал. Как что-то инфернальное, подземное, но на поверхности витающее в воздухе. Однажды он возник в солнце утренней столовой, где одновременно завтракало человек сто. И почему-то сильно удивился. Даже раскрыл рот. Но тут же пропал. Как гоблин в зале утреннего банка. Поэтому Туголуков ужасно обрадовался, узрев за своим столом еще одну представительницу комбината, которая, в отличие от гоблина, никуда не исчезнет и не провалится, и сразу начал расспрашивать, в каком цеху она работает и кем.

– Я из отдела Никифорова. Чертежница. Вы у нас не бываете. Незачем. От рейсшин и циркулей еще никто не погиб...

– Верно, верно, уважаемая Олимпиада... как вас по отчеству?..

Из столовой мимо вдумчивых ленинов они шли уже вместе.

В клубе санатория, точно в пустом музее, лежали и стояли на нескольких столах одни только музыкальные инструменты. Каждый мог попробовать здесь свои силы. Георгий Иванович выбрал аккордеон. Довольно ловко коверкая пальцы, исполнил кубинскую румбу. Олимпиада всплеснула руками. Попросила еще что-нибудь сыграть. «Георгий Иванович!» – «Хватит, – потупился музыкант с аккордеоном. – С детства это у меня. Мама заставляла». С ревом сдвинул мех и поставил аккордеон обратно на стол. «Да вам же на танцах надо играть, Георгий Иванович!» – торопилась на солнце за музыкантом Олимпиада.

Вечером в сверкающей иллюминированной веранде они наступали друг на друга под настоящую магнитофонную кубинскую румбу. Георгий Иванович наступал со сжатыми кулачками, как боксер. Олимпиада отступала, поочередно работая руками вверх-вниз как пилорама. В этой же манере ходили и остальные отдыхающие.

Когда медленно, под руку, провожал женщину, ощущал томление в груди и рассыпающиеся мурашки в чреслах. У Туголукова не было близости с женщиной уже более двух лет. Возле спального корпуса обнял и попытался поцеловать, но Олимпиада мягко высвободилась. «Спокойной ночи, Георгий Иванович!»

На следующее утро после завтрака гуляли по всему санаторию «Горняк», раскиданному по лесистой горе. Сорящий фонтанчик с закисшими голышами на дне приглашал присесть на скамью возле себя. Высокий серый сталевар в крылатом шкиперском шлеме застыл с кочергой. Цветочные пышные клумбы уходили уступами вверх вроде гряд китайских огородов.

Говорил в основном Туголуков. Конечно, о работе своей. О работе главного инженера комбината по технике безопасности. Олимпиада вежливо слушала. Иногда для разрядки Георгий Иванович вворачивал не совсем приличный анекдот. Смеялись тогда уже оба.

Всегда внезапно, как припираемый в туалет, убегал на почту, оставляя Олимпиаду на скамье одну. Однако возвращался быстро и с извинениями. Объяснял, что нужно было срочно позвонить в город. Олимпиада догадывалась – кому. Но почему-то Георгий Иванович о сыне своем и бывшей жене ничего не говорил. Сама же Олимпиада расспросить о них не решалась.

Шли, наконец, к спальным корпусам и столовой, проглядывающим сквозь свисшие косы берез. Или обедать, или чтобы просто отдохнуть каждому у себя.

...В редком березнячке он торопливо возился с брюками, с ремнем. Она закинуто лежала на траве. У нее были очень белые, как намелованные столбы, ноги. Он упал на них, мало что помня потом...

После завтрака на другой день они вылезли из кустов. Оба сплошь улепленные паутиной. Посмеивались, обирали ее друг с дружки. Туголуков к тому же скрывал парочку муравьев. Бегающих у него под штанами в районе паха. Когда шли уже по аллее, он останавливался и сучил ногами. Как дратвой. Олимпиада умирала от смеха. Степенно моционя, отдыхающие оборачивались.

Подходящего места любовникам в санатории «Горняк» явно не находилось. С Туголуковым жил мусульманин-бабай, падающий в комнате на свой коврик по несколько раз в день. А с Олимпиадой и вовсе обитали три замужние женщины, гордые и сохраняющие себя как зимние тыквы.

Он уехал из санатория первым. Вернее, улетел вместе со Звонцовым. Олимпиада провожала вертолет в лесистом логу. Вертолет с мужчинами, похожий на осыпающуюся елку с одной болтающейся игрушкой, шибко залопотал, уходя за сопку вверх. Облепленная платьем, Олимпиада осталась на земле вроде головастой, целеустремленной ракеты.

Через неделю и она приехала в город и сразу же пришла к нему...

Георгий Иванович повернулся на бок, стал смотреть в окно. Луна ушла куда-то в сторону. Оставила в окне, как в аквариуме, синий, долго растворяющийся свет.

11. Витенька и Кланечка

По угору поселка Мирный густо, как китайцы в угластых шляпах, расселись приземистые дома. «Хонда» катила по извилистым улочкам.

Крупный пес бежал рядом. То ли соревновался с Фантызиным, то ли хотел цапнуть переднее колесо. Фантызин рулил, с улыбочкой выжидал. Кисть руки его с массивным кольцом-печаткой на безымянном пальце смахивала на кастет. Резко ударил пса боком машины. Пес исчез. Потом изгибался, умирал на высыпанной на середину дороги печной золе.

На лавочке возле ворот сидел старик с шеей индюка и две его полные подруги. Ослепнув от низкого солнца и разговора, все трое ничего не заметили.

Увидела другая старуха. У следующего дома. Бросила грызть семечки, с кулаками выбежала к идущей машине. Фантызин вильнул к ней, шарахнул сигналом. Старуха ойкнула, впритруску побежала назад. К своим воротам.

Тощий, с длинной шерстью, как суховей, впереди по обочине бежал еще один пёс. Фантызин, прибавив скорости, начал целиться. Но пес – не будь дурак – скакнул через канаву и потянул спокойно вдоль забора. И «хонда» пронеслась мимо. Сволочь!

Перед домом на бугре Фантызин посигналил.

Бабулька в платьице в кружавчиках суетливо раскрыла ворота, встречая гостя. «Хонда» въехала во двор. Забегали куры, печатая свои каракули в послеливневой грязи. Старыми прищепками висело на двух проводах несколько вечерних стрижей. С поселковой горы скатилась иномарка Талибергенова с гулкими колотушками внутри. Гора, запрокинувшаяся, будто лежащая с ногой на ногу, блаженно выкурила над собой облачко.

Бабулька подала гостю железную чашку. Фантызин начал брать из нее овсянку и кидать. Специально выдержанные голодом куры бегали, сталкивались, жадно клевали всё прямо из грязи. Петух с болтающимся гребнем метался как потерявшийся пират.

Фантызин хохотал. Старушка тоже не отставала, хихикала. Старушка даже приплясывала. Рыльце ее, похожее на сладкую тюрьку, тряслось. Хи-хи-хи-хи-хи!

После забавы с курами, как сутенер проститутку, Фантызин хлопнул «хонду» по заду. «Хонда» сразу начала изображать оргазм. Завопила, заохала, запричитала. Фантызин, довольный, слушал. (Бабулька от удивления всплескивала ручками.) Отлично! Отличная сигнализация! Выключил вопли. С пакетом, набитым едой, поигрывая ключами, пошел за возбужденной бабулькой в дом. Но на высокой веранде не забыл постоять над городом завоевателем, руки раскинув по перилам. Вдали, над павшим закатом, стадом размалеванных баранов разлеглись облака.

В доме пили чай за столом в длинной скатерти с кистями, высвеченной сверху лампочкой из рыжего абажура.

– Зачем так тратишься, Витенька? – спрашивала бабулька в кружавчиках, стягивая с блюдца чай и поглядывая на поднос, уставленный обломанными кусками тортов и даже нетронутыми пирожными.

– Пустяки, тетя Кланечка, – отвечал Витенька, отрезая ножом кусок с красивой кулинарной розочкой и подавая его на тарелочке тете Кланечке.

Разговаривали. Смотрели на подвешенный на цепях город икон в красном углу. Потом на черно-белые скорбные фотографии родных и близких на стене, навечно оставшихся в болотах Тюменщины. Портреты уцелевшего Витеньки и спасшей его тети Кланечки висели ото всех отдельно. Тетя Кланечка смеялась, совсем молодая, но и тогда уже в кружавчиках. А Витенька в своей рамочке был совсем юным, ушастым и голым, будто только что народившийся крысенок.

Кланечка пустоглазо задумалась. Рыженькие волоски на морщинистой головке пошевеливались от сквозняка. Как пошевеливался бы ковыль на выдутом зноем пригорке... Витенька погладил ее плечо.

Сейфик в подвале под домом он ощупывал ласково, двумя ладонями – истосковавшимся медвежатником, пробравшимся, наконец-то, на слом. Всячески колдовал над ним – и сейфик раскрывался. Витенька начинал складывать в него купюры, доставая их из всех карманов. И по одной, и пачками.

Потом Кланечка во дворе всё сокрушалась, что Витенька не останется ночевать в своей комнатке, в постельке, приготовленной ею, Кланечкой, еще днем.

– Когда приедешь, Витенька?

– В пятницу.

– Курей не кормить, Витенька?

– Не корми, тетя Кланечка!

– Дай тебе Бог, Витенька! – провожала тетя Кланечка.

– И тебе, дай Бог, тетя Кланечка! – поехал со двора Витенька.

«Хонда» сползала по темному поселку вниз. Покачивались справа россыпи огней города. От света приборов и теней лицо Фантызина обрело тяжелые черты монстра, но монстра счастливого, умиротворенного.

Медленно проехал по тому месту, где убил пса. Пса на дороге не было. Тогда с разочарованием газанул, врубив колотушки.

12. Туголуков дома

В день выписки Горки Олимпиада пришла в отделение в лучшем своем платье, собранном красиво внизу оборкой. Похожая от этого на большую конфету трюфель.

Горка сидел в коридоре уже одетый. Со всеми своими вещами, выписками, справками и рецептами в сумке.

Надолго обнял женщину. Да так, что сзади задрался у нее подол. Шептал сквозь слезы, весь дрожа как жесть: «Сспас-ссибо, ддор-ррогая! Ссспа-сси-ибо!»

Олимпиада, смущаясь больных, одернула «трюфель». Гордо повела, считайте, здорового теперь человека к лифту.

Внизу в коридоре догнал Кузьмин. «Забыл сказать: через две недели ко мне на прием». Говорил сердито. Одной Олимпиаде. Как будто никакого больного (Туголукова) тут не было. «И вообще, в случае чего – сразу звоните». Теперь уже Олимпиада чуть не рыдала, когда трясла ему руку. Кузьмин отворачивал в сторону лицо, хмурился.

Ехали на такси. Горка вертел во все стороны головой. С моста не узнавал речку Серебрянку. С обнажившимися гольцами, со смурным кустарником по берегам. И не мудрено – был уже сентябрь: Кузьмин лечил парализованного более трех месяцев.

Дома у Горки Олимпиада прежде всего выкупала его в ванной, покормила и в чистой пижаме, обложив подушками, оставила блаженствовать одного на чистой постели.

Работал включенный Олимпиадой телевизор. Певица томно растягивала накрашенный рот как какой-то большой гадюшник. Потом барабан вступил. Как целое стадо баранов. Туголуков схватил пульт, переключился на другой канал. Почему-то беззвучный. Где скрипачки будто до смерти хотели защекотать свои скрипки. Ничего не понимал. К тому же взгляд его все время бродил по комнате. По его комнате. И – не его. Вещи, обстановка здесь, в гостиной, вроде бы стали другими, знакомыми и незнакомыми. Красивейший отцовский ковер на стене – как проступающая чаша вина с накиданными в нее цветками – и тот стал каким-то неузнаваемым. Даже дух жилья, его, Туголукова, жилья, стал другим. Он просто забыл его и сейчас заново вспоминал... Туголуков переключил канал. Нарвался на рукопашную. Выключил телевизор.

Через два дня на ВТЭКе четверо врачей хмуро смотрели, как он ходит перед их столом. Георгий Иванович старательно барражировал парализованной правой ногой, правую руку, тоже парализованную, прилепив к боку как ласту.

Потом один врач писал, а остальные старались не смотреть на сидящего на стуле инвалида, отирающего лицо платком.

– А речь проверяли? – спросила Олимпиада, когда вышел в коридор.

– Нннет! – четко ответил новоиспеченный инвалид первой группы.

Дома обедали на кухне. Пушистое осеннее солнце ласкало через окно. Туголукову было хорошо, спокойно на душе. С голоду он теперь не сдохнет, это точно. Левой рукой он отламывал кусочки хлеба, за хлебом пускал в рот ложку наваристых щей, приготовленных Олимпиадой. Посматривал на женщину.

Олимпиада предложила жить вместе. Она переедет к нему, а ее квартиру можно будет сдавать. У нее и квартирантка уже нашлась. Таня Тысячная. Ты ее знаешь. А, Гора?

Взгляд Георгия Ивановича напрягся:

– Зза-ачем я тебе? Из-за пппенсии?..

Дворцова сразу заплакала.

– Дурак!

– А Фффааантызина ккуда? А? – не унимался инвалид-пенсионер.

Тем не менее этой же ночью он свершил мужское дело с честью. Да не один раз. Олимпиада гладила его вздымающуюся волосатую грудь не без тревоги. Вроде колыхливого, никак не успокаивающегося торфяника. Встала даже за тонометром, чтобы смерить давление.

– Ерунн-да! – говорил валяющийся Дон Жуан с манжеткой на руке. Дескать, я еще не так могу. Дескать, я еще – ого-го!

– Помолчи! – уже накапывала лекарство в рюмку Олимпиада.

Днями стал гулять в парке неподалеку от дома. В парке с уставшими желтыми деревьями, с клумбами, где уже скрючились бордовые потухшие розы. Ходил, царапая правой ногой. Весь серый, тощий, как пережженный электрод, выкинутый после сварки. Знакомые его не узнавали. И это было хорошо.

Он шел, все так же барражируя ногой, к главному зданию города. К характерному крематориальному зданию с флагом. Садился на скамью в аллее напротив и через площадь вместе с выцветшими в бетонных рамах передовиками смотрел на здание.

Еще недавно над крышей реял красный флаг. Национальный раскосый Ленин показывал верный путь всем проходящим по площади товарищам. Теперь флаг стал голубым, со скудным желтым солнышком, со свернувшимися вокруг солнышка лучиками в виде скрученной сеточки рабица. Национального же Ленина нежданно-негаданно заменили национальным Поэтом. Который с большой, как пороховой бочонок, головой несколько удивленно смотрел сейчас с постамента.

Возле здания беспокоились с плакатами десять-пятнадцать пенсионеров. Вроде кукольного театра на воздухе. Милиционеры повели их как неводом рыбу куда-то за здание, где они, побросав плакаты – разбежались. Выказывали милиционерам кулаки из уносящегося трамвая.

К площади подъехала машина с куклами и кольцами на капоте. С белыми хризантемами невеста по-деловому пинала пушистое белое платье, идя к высокому постаменту. В жиденькой фате и с киркообразным носом, похожая на фальшивого араба. Скажем, на Лоуренса Аравийского. Черненький в костюмчике жених был мелок по сравнению с ней, суетлив, мелькал с разных ее сторон. Никак не мог положить на скользкий отполированный постамент белые эти цветы. Невеста выхватила у него хризантемы – сама положила. Так же размашисто вернулась, полезла в машину, долго помещая платье и белые тощие ноги в кабине. Жених встрельнулся мгновенно. Поехали.

Туголуков улыбался: жизнь продолжается.

Со стороны парка к площади шли *новые две тетушки.* Которые всегда ходят *синхронно. Очень медленно в ногу*. Которые каждому идущему навстречу прохожему всегда сначала скажут для затравки: «Здравствуйте! Можно с вами поговорить о Боге?» Или: «Здравствуйте! Как вы думаете, будет конец света или не будет?..»

Сейчас тетушки не успели даже ни с кем поздороваться – к ним сразу побежал через трамвайные пути инженер Калошин. С воздетыми ременными кулаками как голодающий Поволжья: «Я вам покажу, комсомольские активистки тридцатых годов! Я вам покажу!»

Попёрдывающей притруской тетушки побежали от инженера Калошина в парк. Выглядывали оттуда, пережидали.

Калошин шел мимо Туголукова, не видя его, не узнавая. Бормотал: «Внуки голодные, беспризорные, сады завяли, огороды погибли, а они – гуляют по улицам: «Здравствуйте! можно вас спросить?» Я вам покажу, комсомольские активистки тридцатых годов. Ишь, перекрасились. Я вам покажу». Шрам на стриженой голове сумасшедшего походил на погибшего дождевого червя, вылезшего на почву в сильный дождь...

Георгий Иванович хотел окликнуть его, но не смог. Долго сидел потом, опустив голову. Он хорошо знал инженера Калошина. От увиденного сейчас хотелось плакать. Так и погреб домой с опущенной головой.

В таком состоянии чуть не попал под машину, переходя улицу. В последний момент сумел как-то грациозно увернуться. Вроде изогнувшегося тореадора от пролетевшего быка. Не успев увидеть даже, какая была машина. (А это была «хонда». Которая тихой сапой улетала, никак не обнаруживая себя среди других машин.)

Разом покрылся потом. Долго не мог двинуться дальше. Вытирался платком. В стаде машин перед ЦУМом как саранча работали мальчишки с ведрами и тряпками. Вечернее

солнце отскакивало от мокрого лака капотов. В темных комках, как в дзотах, засели барыги.

Дома содрал ногой с ноги одну туфлю. Вторую сняла Олимпиада. С трудом произнося слова, чуть не плача, спросил у нее: «Что лучше в наше время: потерять рассудок... или потерять физическое здоровье? П-при по-олном расс-судке?»

– Что, что случилось? Объясни толком! Что произошло?! – испуганно спрашивала Олимпиада.

Но Туголуков молчал. Давая себя раздевать, покачивался. Как избитый тощий идол, наполненный слезами.

Телефон в прихожей зазвонил этим же вечером. Олимпиада вздрогнула. Она знала, кто звонит. Не двигалась со стула, ждала, когда телефон замолчит. Но телефон и не думал затыкаться, выпускал трели методично. Горка удивленно посмотрел на жену, оторвавшись от книги. Тогда пошла, сняла трубку: да! В ухо ворвался ненавистный голос: «Привет, дорогая! Ну как там наш конь? Подгузники свои не обгадил? Сегодня видел, как он чуть под машину не попал. Как же так, дорогая! Из больницы выкарабкался, а тут может банально погибнуть на дороге. Береги его, дорогая. Води за ручку. Никуда от себя не отпускай. Я ведь беспокоюсь за тебя. Привет ему от однопалчанина!»

Олимпиада положила трубку.

Туфли Горки, косолапо споткнувшись, так и валялись у порога... Они и добили женщину: беззвучно заплакала, зараскачивалась, кусая кулак.

– Кк-кто зво-оонил? – спрашивал из комнаты ничего не подозревающий инвалид.

13. Гадёныш

Он звонил постоянно. Новый телефон Олимпиады он выведал у Тани Тысячной. На звонки Олимпиада кидалась в прихожую, громко говорила «да» и сразу придавливала ненавистный голос трубкой. Как расплющивала его на аппарате. На Горкин немой вопрос говорила, что ошиблись номером. Но телефон звонил снова, почти сразу же. Тогда с трубкой стояла в прихожей – как подпертая на дыбе. Без воздуха, без голоса. Вынужденная молчать намертво. «Подруга, – говорила потом Горке. – Таня Тысячная. Насчет квартиры. Задерживает деньги». Горка с удивлением говорил, что она ведь звонила уже об этом. Вв-вчера...

Олимпиада как будто не слышала его слов, сразу что-нибудь делала на столе. Переставляла чашки, плетенку с хлебом, сахарницу. Словно женскую свою работу спасала. Чтобы ее не отняли.

Потом гадёныш тактику сменил. Сам вешал трубку, если отвечала Олимпиада.

– Да гг-го-оворите же! – кричал в прихожей Георгий Иванович. Но в трубке слышался или шум улицы, или какие-то щелчки. Причем – методичные. Словно бы щелкали ногтем по микрофону трубки.

Туголуков выходил из прихожей:

– С-странно... – Спрашивал у Олимпиады: – Может, т-ты мне о-объяснишь?.. – проглотив слова «эти звонки».

Олимпиада ходила по комнате тенью, фоном.

Через два дня Туголуков дождался-таки разъяснения. В трубке:

– Привет, рогоносец! Как здоровье?..

– К-кто это?

– Это я, Фантызин. Твой напарник. Как там наша *Дача*? Хватает ее на тебя?.. Бывало, возьмешься за две ее ляли белые – и поехал...

Кровь ударила в голову Георгию Ивановичу. Он не помнил потом, что кричал в трубку, захлебываясь словами. Он очнулся на тахте, опрокинутый на нее женщиной.

Олимпиада бегала, цепляла ему манжету, совала в рот таблетки, вызывала «скорую». И только после ужалившего укола толстой фельдшерицы он забылся. Ужасное лицо его расправилось. Свекольная краснота схлынула, вернулся привычный серый цвет.

Фантызин дал отдохнуть подопечным неделю. В телефонной будке опять со смаком набирал номер. Заранее начинал давиться смехунчиками: «По капельке, по капельке, дорогой!» Провалившаяся монетка высекала голос Туголукова: «Сслу-уушаю!..» Прикрыв трубку, Фантызин совсем заходился смехом. «Да гго-оо-ворите жже!» – «Ха-ах-хах-хах!» – в открытую хохотал в трубку Фантызин. «Гаа-адёныш! Я тебя...»

Фантызин выскакивал из будки: «По капельке, по капельке! Ха-ах-хах-хах!» На него оглядывались.

«Хонда» летела. Сигнал вопил как пляшущий Тарзан.

На Коммунистической сбрасывал ход. Опять бежал к телефонной будке. Набирая номер, уже как заклинание твердил: «По капельке, по капельке будем капать, дорогой, по капельке. Капелька точит камень... Алло! Здорово, инсультный конь!..»

В полутьме у стены слышалось тяжелое, какое-то мешочное дыхание. Как будто Горка пытался раздуть дырявый мешок. Олимпиада напряженно слушала, приподнявшись на локоть. Потом ложилась на спину. Месяц вяло скалился из тянущихся облаков. Словно был осатанело пьян. Мысли потекли вместе с облаками дальше. Виделась теперь Таня Тысячная. Подруга. Давняя. Еще с работы. Теперь вот ставшая квартиранткой. С выпученными глазами рыбы, навечно некрасивая. Всегда *стесняющаяся не в своей квартире.* «Липа, я же ничего не знала. Разве бы я сказала ему. Прости меня, пожалуйста». Да и не сказала бы, все равно б узнал. Сразу вспомнился муж ее, Валентин Тысячный. До сих пор висит у нее иконой. Теперь прямо над моим диваном. Девственный и глупый, как Николай Второй. Однако этот «глупый» бедную Таню гнобил пять лет и из квартиры после развода выжил. Вот вам и херувимчик Николай Второй! Почему-то такие красавчики всегда женятся на некрасивых. А потом гнобят их. Ну ладно – Таня, так ведь и сейчас женился на дурнушке. Со странной фамилией – Пизикова. Посмотреть со спины – девчонка идет. С тонкими ножками как тощенький хомуток. А обернется – мама моя! – бабка Ёжка! А Таня всё страдает, никак не может забыть своего херувимчика. Мылась однажды с ней в бане – груди, можно сказать, как прыщи: замазать зеленкой и не считать за орган. Бедная.

У стены Горка по-прежнему как будто пытался надуть дырявую мешковину. Взрывной глупый мужик. Как можно было такому рассказать обо всем? Вместо того, чтобы вдвоем отбиться как-то от сволоты, заявить хотя бы в милицию – встал в извечную позу мужиков. В придурочную петушиную позу. Как же – курица оказалась ему неверна. Курицу его, видите ли, топтал другой. Дурак!

Олимпиада отвернулась к окну, к бессонному свету. Месяц будто бы протрезвел. Грустил в дымном облачке вроде старого цыгана с серьгой. И все же нужно что-то делать. Ведь так гадёныш просто загонит Горку в гроб. Видел бы он сам себя, когда плясал с трубкой у телефона. Если бы не оттащила – кончился бы там, упал, умер... Нужно что-то делать. Что-то делать. Пока не поздно...

Олимпиада задремала. Из мусорного ведра в кухне выглянул Фантызин. С большой волыной. Точно ведро захватив... «Да черт тебя!» – перекинулась на другой бок Олимпиада.

Утром телефон из прихожей исчез. И даже провод был оборван...

– И как теперь «сско-орую»?.. – нахмурясь, спросил Туголуков.

– Ничего. Если что, от соседей позвоним. Зато прыгать теперь с трубкой перестанешь. Нашел с кем тягаться... – Олимпиада зло мяла тесто на столе. – Ему твои обзывания – радость. Как ты не поймешь? Он только ими и живет. Он же урод. С иезуитским подлым умишком. А ты рыпаешься чего-то там, пищишь...

Георгий Иванович вышел на балкон. Одной рукой вцепился в перила. В бессилии крошил пересохшую краску. Утренняя луна висела над ним как скукожившийся зародыш.

Ночью не спали. От машин ворчащая полутьма в комнате все время менялась. Олимпиада тихо говорила: «...Никогда не забуду, как он радовался, когда увидел, как какую-то женщину сбила на дороге машина. «Смотри, смотри, шандарахнуло куклу! Ноги в небе, голова внизу!» У меня в глазах потемнело, сердце сжалось от увиденного, у него – нет: радуется, смеется. «Смотри, смотри: не шевелится, разом откинулась!»

Туголуков лежал, смотрел в потолок и всё гнул свое:

– Почему же ты путалась с ним. С та-аким?

– Сама не знаю, Гора. Да и ведь не сразу это всё открылось мне... Прости меня, что скрывала от тебя всё...

Лежали. Молчали. Сегодняшний месяц вверху просто скалился. Как бандит.

14. Уроки разговорного языка на пишущей машинке

У Туголукова была своя неплохая библиотека, которую он собирал много лет. На стеллажах вдоль длинной стены гостиной стояли и подписные издания. Все они не просто собирали пыль, но читались когда-то Георгием Ивановичем – из многих томов остались торчать бумажные чубы закладок. Кроме книг, на стеллажах лежали стопы толстых журналов, в основном московских («Новый мир», «Москва», «Октябрь», «Наш современник»), подписываясь на которые, Туголуков каждый год 30-го августа высиживал всю ночь на Главпочте среди таких же ненормальных, каким сам был в те годы.

В комнате отца стояла еще и «Всемирка» (Библиотека всемирной литературы). Все 200 выкупленных Туголуковым томов. В лучшие времена он нередко заводил туда гостей. Смотрел вместе с ними на библиотеку во всю стену как на какой-то современный пансионат-профилакторий. Как на высокую красивую гостиницу с ровными рядами разноцветных окон. В конце экскурсии всегда снимал какой-нибудь один том и, осторожно переворачивая страницы, показывал чудеснейшие иллюстрации.

Не забывал рассказать гостям и про старинный резной буфет в углу комнаты, который остался от отца. Остался с навечными запахами молотого перца, лаврового листа, корицы. На столешнице буфета специально был поставлен Георгием Ивановичем черный от времени деревянный бочонок с замысловатой серебряной ручкой на макушке, который и перемолол когда-то все эти названные и неназванные пряности. Заставлявший зрителей сразу вспомнить веселого негра-поваренка из какого-нибудь старого американского фильма.

Словом, Георгий Иванович Туголуков был не только страстным собирателем книг, отцовских буфетов и ковров, но и серьезным вдумчивым читателем. Поэтому, как только пришел из больницы, сразу принялся за книги. И прежде всего любимые – Чехова, Бунина, Куприна.

Всегда хотелось поговорить с Олимпиадой о прочитанном. Но представив свою увечную теперь речь, мысленно услышав ее, – молчал. Говорила всегда Олимпиада, едва переступив порог. Причем говорила не останавливаясь. Словно чтобы, не дай бог, не заговорил он. Не начал пережевывать, калечить слова.

Георгий Иванович попытался писать ей. Что-то вроде писем. Но левой рукой получалось ужасно. В строке шли как будто и не буквы даже, а целые верблюды, длинношеие какие-то жирафы.

Долго стоял перед громоздкой, как фабрика, машинкой «Башкирия» на столе, оставшейся тоже от отца. Попробовал одной рукой вставить в каретку лист. Не получилось. Попробовал еще – с прикусом листа губами и поворотом каретки левой здоровой рукой.

Вставил. Сел. Начал неуверенно печатать одной рукой. Как какой-то сильно растопырившейся, тоже парализованной каракатицей. Однако уже через день-другой эта рука-уродка довольно уверенно летала по всей клавиатуре.

Сначала письма походили на сочинения третьеклассника «Как я провел день вчера». «Я ходил вчера в парк. Погода была хорошая. Даже птицы пели». Но постепенно сочинения Туголукова обретали густоту и даже правду голимого смысла. К примеру, он наколачивал на лист: «Липа! Сегодня встретил Емельянова из Планового. Знаешь, чем он занимается сейчас? Не поверишь! Разводит индоуток! На лоджии! Представляешь, какая вонь у него в квартире? Это его Гаврилов научил. Тот тоже разводил. Правда, сейчас перешел на попугаев. Птичий вольер прямо у него в спальне. Представляешь, как весело им с женой? А вывод? Какой вывод, Липа? – Довели до ручки».

Или: «На Краснооктябрьской сегодня видел нечто вроде крестного хода. Вернее – ходика. Потому что шли всего человек тридцать-сорок. Притом шли быстро, походным порядком. Впереди два плотных начальника-пахана вели худенького попика с хоругвейкой. Вели как заложника, строго поглядывая по сторонам. Позади этой жиденькой толпы спотыкались два срочно откопанных где-то казачка в сапогах, в болтающихся скудных шароварках. И вся эта торопящаяся жалкая группка, проходящая мимо меня, меньше всего походила на крестный ход. Это был вызов. Жалкий вызов новым властям. Понимаешь? Но поздно. Поздно, Вася, пить боржоми, как сказал бы Курочицкий».

Или еще: «Сегодня же услышал по радио. Только не падай: «А главное, посетитель может взять блюдо в кредит. В счет будущей зарплаты...» А? Дословно! Клянусь! Вот это да-а. Вот уже до чего довели... Зато дальше послушай. Тоже по местному радио. Объявили для челноков: «Загрузка на сорокаместный автобус – двенадцать человек». Остальные «пассажиры», надо думать, – это тюки в салоне до потолка. Целый катящийся на колесах базар! А мы ездили с тобой, Липа, на жалком «запорожце»...

Или вдруг выдавал такое, о чем бы вообще помолчать в тряпочку: «Вчера встретил Талибергенова. Помнишь, Липа, какой он был внешне душевный и веселый человек. Живот свой таскал везде руками в обхватку. Как любимого слоненка. Теперь не узнаешь. Теперь живот нес навстречу мне как тяжкую ношу, понимаешь. Как торбу, набитую, понимаешь, важными государственными вопросами. Увидел «старшего брата» и сразу нахмурился. Смотрел на меня как на таракана. А я его по плечу давай хлопать, чуть ли не обнимать... Сейчас он, конечно, в Органах, именуемых у нас правоохранительными... Липа, в больнице ночами я о многом передумал. Все эти люди, всплывшие сейчас наверх, – это гордые, обидчивые, самолюбивые люди. А в общем-то – просто не умные. Только дурак будет ходить индюком и кичиться своей национальностью. Только дурак. Человеком надо быть, Липа. Просто человеком. И всё».

Прочитав через неделю эти первые, смущенно подсунутые ей сочинителем листки, Олимпиада за голову схватилась. «Ты что, в КГБ захотел? Или как оно там называется сейчас?.. В КНБ? Да?»

Спорила с ним. Прямо возле его машинки. Тогда сочинитель яростно наколачивал ей ответ. И оба смотрели в напечатанное. И почему-то это напечатанное и оставшееся в каретке, точно незаинтересованное, постороннее, их примиряло.

Нередко теперь после ужина садились в гостиной у стола с «Башкирией» – Олимпиада с шитьем, Туголуков вроде бы просто так. Словно ждали, когда «Башкирия» заговорит. И она «заговаривала»: «Днем встретил в парке Приленскую. Говорила Надя о разном. Тоже жаловалась на жизнь. Но я увидел другое – всю жизненную драму ее. Её, понимаешь? Драму некрасивой, к тому же стремительно стареющей женщины... Глаза уже как отцветший блеклый репей... А ты вот, такая молодая, красивая, с красивыми глазами... и вяжешься к старухам... А вот бедная Приленская... Пошла от меня. С какой-то сутулой, покорной заднюшкой...»

– Ну давай, зареви еще! – почему-то рассердилась Олимпиада, прочитав напечатанное. Снова сев, зло дергала иголку с ниткой: – Давай, побеги к ней! Пожалей!

«Глупая ты, Липа!» – проклацала «Башкирия» и надолго замолчала.

Чтобы показать свой ум жене, Георгий Иванович настукивал что-нибудь обобщенное, даже философичное: «Знаешь, Липа, оставшиеся после умершего фотографии почему-то всегда выдают в нем мертвеца. Если посмотришь на такие снимки – почти без ошибки скажешь себе: на свете этого человека больше нет. Мистическим каким-то образом смерть переходит на оставшиеся эти снимки. Или снимок. Снятый, когда человек был жив, в общем-то здоров, счастлив и абсолютно благополучен. Как ты думаешь, в чем тут дело?..»

Олимпиада всегда возмущалась, прочитав эти сентенции Туголукова: «Ты бы лучше о здоровье своем написал, о самочувствии, чем мутоту здесь разводить, честное слово!» На что философ опять отвечал. Правда, другими словами: «Думалка у тебя хилая, Липа...» Посидел и добавил на лист: «Правильно аксакалы на лавочках говорят: дашь волю женщине – будешь жить в аду... Ты тихая гавань, Липа, полная штормовых волн...»

– Да где «аксакалы», где «гавань»? – кричала Олимпиада. – При чем тут вообще воля женщины? При чем?!

Но летописец прочувственно молчал. Вытаскивал лист из машинки. Просто пришло и его время обидеться.

– Кстати! – вспомнила Липа. – Таблетки вечерние выпил?

Непонятый, печальный, супруг вставлял с помощью губ и одной руки новый лист в каретку. Печатал: «Старый больной человек ощущает себя в своем организме как в осажденной крепости, в замке. Он бегает там, чего-то укрепляет, заделывает стены. Но смерть все равно ударит по этому его замку. И порой даже не с той стороны, где он бегал, укреплял...»

– О, о, «по замку». Да какой же ты старик! Что это еще за разговоры! Ну-ка давай пей всё, что предписал Кузьмин!

«Больной старик» обреченно закладывал в рот одну за другой таблетки и запивал водой.

Приобнявшись, лежали на тахте и смотрели телевизор. Показывали фильм о поморах. С очень суровой музыкой. В конце насильно выдаваемая за богатого невеста прямо на паперти сбросила фату и натурально рванула из-под венца. В подвенечном платье неслась впереди толпы к Белому морю. К подваливающему к берегу поморскому кочу с прибышими наконец-то долгожданными первопроходцами, где был и ее любимый. И дальше они (невеста и любимый со светлой бородой) летели на тройке сквозь зыбящийся, машущий лес рук людей двойным живым счастливым портретом. И так же символически, как вся Россия, потом летел серьезный старик-кормчий с внучкой на руках. Конец фильма.

Ночью Олимпиаде приснился нехороший сон. Где-то под Домом печати длинным низким коридором шла Приленская. Совершенно голая шла. Худая, сутулая. С волосатым пахом – как с несомым гнездом. Откуда-то в коридор все время выглядывал Витька Фантызин. Словно в нетерпении торопил там кого-то у себя за спиной, подгонял. Наконец вытащил в коридор Горку и стал науськивать его на уходящую Приленскую. Дескать, другого момента не будет. Горка ринулся за Приленской, на ходу сбрасывая одежду и махая парализованной, уже оголенной ногой. И вот уже догнал Приленскую, и вот уже слился с ее спиной и ногами, выглядывая из-за плеча ее как сладкий мордатый кот.

Оба абсолютно голые шли теперь каким-то слитным единым согласованным Тяни-толкаем, загребая туголуковской парализованной ногой. Олимпиада глазам своим не верила. Олимпиада кинулась любовников избивать.

Но Приленская вывернулась и отбежала. Встала в позу обиженной рюмочки, выставив одну ножку впереди другой. А Горка, избиваемый разъяренной женщиной, верещал как заяц, закрывался руками. Олимпиада била его по рукам, и руки под ее ударами ломались. Как будто были из картона. Как будто были картонными трубками!..

Олимпиада подкинулась на тахте. Сразу обняла замычавшего Туголукова. Гладила его, успокаивала, спи, родной, спи, мол, это был просто сон.

Легла на спину. Долго не убирала руку с плеча посапывающего мужа. Наконец, задремала. Сразу пришел Горка. Вместо рук весь увешенный какими-то колбасками. Укоризненно покачал головой и сказал: «Глупая ты, Липа, глупая». Потом взял аккордеон, как когда-то в санатории, и начал робко, внимательно нажимать перламутровые клавишки уже как будто здоровыми пальцами. Все шире и шире разворачивая мех. И музыка вдруг хлынула какой-то нестерпимо зазвеневшей веерной лавой! Олимпиада снова села: да что же это такое! Долго согбенно сидела на тахте, не решаясь лечь.

На улице выключили свет. По белой стене, когда проезжали машины, начинали метаться черные тени от голых деревьев. Как какой-то погибающий тонущий театр чертей.

15. Душа требует!

Каждое утро директор депрессивной оптовой базы номер четыре Болеслав Иванович Бувайло с методичностью закрученного будильника отстукивал на столе карандашом: надо сделать то-то! то-то! то-то! Экспедиторы депрессивной оптовой базы номер четыре с почтением слушали. Понимали. Завод будильника – есть завод. Хорошая закрутка. Надо прослушать стук до конца. «Всем понятно?» – оглядывал Бувайло уклончивые лица. «Какой разговор, Болеслав Иванович!» Все сразу начинали вставать. Минуты даже терять нельзя. Срочное дело. Толкались в двери.

На другое утро карандаш опять стучал по столу: «Я же вчера говорил: нужно сделать то-то, то-то! То-то! А вы? Почему не выполнили?» Закрутка, конечно, хорошее дело. Но... «Почему не выполнили, я вас спрашиваю? То-то, то-то, то-то? А?..»

Болеслав Бувайло хмурился. Имел разъехавшееся брезгливое лицо корабельной рынды.

– Ладно, идите! Фантызин, останься.

Когда все вышли, спросил в упор:

– Ты чего повадился в облисполком? С кем ты там снюхался, Грузок хренов? Под меня копаешь, паскуда?..

Фантызин изобразил немое вселенское возмущение.

– Ладно, садись, – начальник посопел, оглядывая стол. – Хотел у тебя спросить. Я слышал реформа грядет. Денежная. Когда? Ничего не слыхал там?..

– Да вы что, Болеслав Иванович? Неужели? Первый раз слышу!

– Да ходят уже такие слухи. Вот теперь сиди и думай. Враки или правда...

Между тем длинноногие экспедиторы уже ходили по двору депрессивной базы номер четыре. Ходили как по пустому майдану. С новомодными, не привычными еще мобильниками на щеках. Все гнулись, зажимались, кричали. Точно каждый по уху хорошо получил: бо-бо-о!

Из конторы выбежал Фантызин, тоже как по уху словив. Покричал какое-то время бо-бо. Затем подбежал к забору. Торопливо возился с ширинкой. Брызгал по забору как веником. Словно после этого собирался забор мести. Однако прыгнул в «хонду» и помчался по лужам со двора.

Удивленные экспедиторы отскочили в стороны. И вновь продолжили ходить, кричать, гнуться. Бо-бо-о!

В коридоре облисполкома Фантызин целеустремленно шел в его конец. Уверенно свернул в раскрытую приемную отдела торговли. Вскочившую секретаршу приглушил плиткой шоколада. «Доложи, пожалуйста, Валечка!»

В кабинете к столу Пенкиной подкатился этаким игривым карамболем. «Здравствуйте, дорогая Алевтина Егоровна!» Хотел поцеловать ручку, но не дали – начальница убрала руку за спину и полезла из-за стола.

Дальше разговор крупной женщины и вертлявого мужчины напоминал эмоциональную, но очень пластичную пантомиму. Они беззвучно, как лебеди, взмахивали руками. При этом поглядывали на три подзванивающих телефона на столе.

Потом писали цифры на бумаге. Тут же их зачеркивали, писали новые – и тоже зачеркивали. И опять махали руками, поглядывая на телефоны.

Наконец Фантызин схватил руку женщины. Благодарно, глотая слезы, удерживал ее на своей груди как сырую оладью. Тихо ретировался.

Однако в приемной подпрыгнул как после забитого гола:

– Валечка! Ура!

И выметнулся из приемной.

После того, как во дворе у Кланечки вдоволь насмеялся над бегающими перемазанными голодными курами, выклевывающими овсянку прямо из грязи, – пил в доме чай с привезенными тортами и пирожными. Кланечка подливала Витеньке в чашечку. Напомнила ему о дровах. Ей, на зиму. Ты обещал, Витенька. Не вопрос, тетя Кланечка. Завтра Баннов пригонит тебе машину березового кругляка. Он мне *много обязан*, тетя Кланечка. Не торопясь ели пирожные, размеренно запивая чаем. По привычке поглядывали на иконы. Или на фотографии родных и близких на стене. От остающегося крема губы обоих походили на порушенные розы. Вытирали их бумажными салфетками. (Грузок всё прихватывал из кабаков. Даже салфетки.) И снова ели сладкие куски и запивали.

Вдруг за окнами загремело. Кланечка бросилась, глянула, захлопнула форточки и задернула занавески. Вернулась, ча́стенько крестясь.

А вскочивший Фантызин уже пирожными давился, торопливо глотал чай.

– Куда же ты, Витенька? Гроза сейчас будет страшная!

– Это хорошо, очень хорошо, тетя Кланечка, – бормотал, торопливо застегивался Витенька. Весь в коже. Как чекист.

С радостным лицом человека, дождавшегося таки своего часа, – пояснил:

– Душа требует, тетя Кланечка! Душа! – И выскочил за дверь.

Во дворе над головой было непроглядно. Беспокоились, бегали серые дымящиеся тенеты в подбрюшьях громадных черных туч. Спешно собиралась большая гроза.

– И-ихх! – присев, теннисистом потряс сжатыми кулачками Фантызин.

Чуть не сбил машиной Кланечку, еле успевшую отскочить от ворот.

Страшно раскачивался, болтался, как при землетрясении, съезжая по поселку вниз. Над головой гремело, по стеклу шмаляли длинные водяные шрапнели, но настоящего ливня пока не было. «Это хорошо, это хорошо, только бы успеть!» На ровной улице дал, наконец, газ.

В городе летел по длинной, еще сухой Новошкольной. Черное низкое небо летело вместе с ним, клубилось.

Вдруг, как на стометровку, побежал вперед дождь, зачерняя дома, дорогу, тротуары. И хлынуло, наконец, и помело седую вертикальную стену. Машины летели навстречу как фонтанирующие киты. Сквозь воду на стекле Фантызин почти ничего не видел, но скорости не сбавлял. Успеть, успеть долететь до места!

Ливень, как и начался, разом оборвался. Быстро уходила дальше грозовая туча-подметальщица. За серебрянским мостом Фантызин остановился у обочины. С мотающи-

мися дворниками посматривал в небо, ждал, когда остатки туч и гром уйдут окончательно и на пустых тротуарах вновь оживут пешеходы.

Наконец врубил газ, помчался, заранее визжа как пустившийся вскачь истеричный басмач.

По всей Коммунистической сплывала вода. Вдоль обочин летели, скручивались водяные жгуты. На остановках и у светофоров вновь стояли группы переждавших где-то дождь людей. Пролетающий у самой бровки Фантызин окатывал их с головы до ног грязной водой. Уносился под закат и хохотал как дьявол в поповской рясе.

Быстро пролетев длинную Коммунистическую (для бешеной собаки семь верст не крюк) – несся по другой стороне улицы, окатывая с ног до головы других людей. Ха-ах-хах-хах!..

Поздно вечером «хонда» отдохновенно ползла к заветному дому на бугре. Дом приближался, покачивался, весь темный как амбар, но с синюшно мерцающим сквозняч-ком из двух окон: Кланечка смотрела *про Ла́уру и Альберто.*

Пришлось посигналить. В окнах сразу вспыхнул свет – и вот уже старушка мечется, распахивает ворота.

«Хонда» въехала во двор. Прикусила свет. Потряслась какое-то время и утихла. Всё. Мы дома.

– Как я рада, как я рада, Витенька! – в темноте суетилась Кланечка возле Витеньки.

– На-ко вот... – подал ей пакет Витенька. – Буженина, колбаса, сыр. Всё порезано уже.

Кланечка радостно побежала с пакетом, как пацанка с большим лопатником, скинутым щипачом.

– Зачем так тратишься, Витенька?

– Пустяки, тетя Кланечка. Я попозже приду. Досмотри пока сериал.

– Досмотрю, Витенька! – пообещала тетя Кланечка, растворившись с пакетом в сенях.

На высокой веранде Фантызин сдвинул половик, открыл крышку деревянного люка и, прощаясь с городскими огнями, а затем и звездами небесными, начал медленно спускаться по ступеням вниз, под дом, к двери тайного своего бункера. В раскрытом далеком люке осталась мерцать путеводная одна звездочка.

Фантызин нащупал висячий замок, ключом открыл. Переступил через порог в полную тьму и захлопнул дверь. Лишь после этого включил свет.

За большим столом возле раскрытого сейфика Фантызин долго стоговал купюры. Операция напоминала раскладку большого пасьянса с одним только вопросом: будет ли великое ограбление трудящихся или не будет? И по тому, как ложилась «карта», выходило, что будет.

Фантызин смотрел на ровные стопки денег, разложенные по всему столу. Ну что ж, кого-то ограбят, а кто-то и убежит.

Фантызин начал складывать пачки в инкассаторский узкий брезентовый длинный мешок. Покупаемая в доле с Алевтиной Егоровной Пенкиной и Тетеретниковым Семеном Никандровичем большая гостиница будет прекрасным памятником этим незабываемым советским деньгам.

Вспотевшая лысинка Фантызина кланялась над мешком под низкой лампочкой в железной тарелке. Мысли скворчали на лысинке наглядно, как на ленинской.

Фантызин сложил мешок. Тремя увесистыми секциями. Порядок!

По потолку мышкой бегала тетя Кланечка, видимо, собирала на стол. Фантызин с улыбкой смотрел на потолок.

Во сне к Витеньке пришел в его комнатку ласковый Тетерятников. С бровями удивительными. Как с двумя сладкими саблями, снятыми со стены. Ласково смотрел на

спящего Витеньку: «Ничего не бойся, Витенька. Спи спокойно. Тебе будет с нами очень хорошо».

Потом небывало громадной бабочкой летала над Витенькой Алевтина Егоровна Пенкина, махая своим большим бантом как богатейшими ожемчуженными крыльями. «Ни о чем не думай, Витенька. Тебе будет со мной у-удивительно хорошо!»

Витенька во сне улыбался. Тоже с крыльями – высоко подлетал над крылатой попой Алевтины Егоровны.

16. Разгон демонстрантов

Не получающие пенсию с августа месяца, разогретые ноябрьским праздником пенсионеры решили перекрыть коммунальный мост через Серебрянку. Хватит с плакатиками стоять! Мы им покажем!

Однако 10-го ноября в день акции их встретили на подступах к мосту сплоченные ряды милиции. Тогда ветераны, продолжая маршировать, организованно повернули и двинулись назад. Теперь уже к Главному зданию города, к зданию с новым теперь флагом. Сами с прежними – красными высокими пьяными знаменами, колонной человек в пятьсот. Погодите, подлые жулики и коррупционеры! Вы пустили наши пенсии в свой оборот? Да? Вы нас еще не знаете!

Рядом с гребущим ногой Туголуковым почему-то шагал Профотилов, логопед из больницы. Далеко еще не пенсионер. Тучное лицо его с крючкастым носиком от страха, от предстоящего впереди было бледным. Бывшего своего пациента он не узнавал.

Туголуков видел и Ваню Курочицкого. Который шел со своими заточенными усами. Как с кошкой рыбацкой. Полный решимости. Впереди колонны махала руками и что-то выкрикивала Марианна Нитникова. Одетая в черный плащ партийная активистка. Сейчас оставшаяся не у дел, она примкнула к пенсионерам, чтобы поддержать их, вдохновить на борьбу с продажным режимом. Смело, товарищи, в ногу!

Однако за полквартала до Главного здания колонну уже поджидали другие сизые сплоченные ряды. Даже более многочисленные, чем у моста. Тугой полковник кричал приближающимся пенсионерам. В громадном фурагане, как со стационарным цирком на голове. Вскидывал мегафон привычно. Будто марионетку:

– Внимание! Остановитесь! Предупреждаю! Мы не допустим беспорядков! – Равнодушно ждал какое-то время реакции на свои слова. Снова вскидывал мегафон: – Предупреждаю! Мы применим спецсредства́!

Пенсионеры шли. Во всю ширину улицы. С красными высокими пьяными знаменами. Нам терять нечего, гады! Вы нас узнаете!

Полковник махнул рукой: «Вперед!» Снял фураган, стал протирать внутри платком.

Милиционеры налетели тучей. Сизой тучей. Замелькали палки. Пенсионеры роняли знамена, закрывались руками. Иван Курочицкий рациональным боксером (бывший спортсмен, чемпион города по боксу) ловко уходил от палок. Нырками, уклонами. Сумел поддеть кулаком двух-трех (у мильтонов фуражки взлетали как крышки у откупориваемых бутылок), но его сбили на землю и начали пинать. (Особенно старались два курсанта в ублюдочных, будто бы американских, берцах.)

Марианна Нитникова пыталась организовать оборону. Бегала, выкрикивала, призывала. Затем упорно тыкала молоденького милиционера острым кулачком прямо в лицо. Ее потащили к машине будто вырывающуюся черную молнию,

Следом с заломленными руками уже бежал, пригибался Профотилов. Туголуков видел, как большая голова его точно ударялась о землю. Будто окровавленный мяч!

Стиснутого Георгия Ивановича кидало вместе с шарахающейся толпой, он рвался на помощь Профотилову и Курочицкому, что-то кричал. Но когда тех засунули в машину,

словно разом успокоился. Как будто в стороне от всего, скакал по тротуару, удергивал за собой бесчувственную ногу.

Демократизатором ударили сзади, по голове. Георгий Иванович полетел вперед, пропахал щекой асфальт. Лежал в позе разбившегося аэроплана, пытаясь оторвать себя от земли. Подхватили какие-то парни, быстро поволокли...

Домой прикандыбал с сильно ободранной левой щекой и лбом, но довольный.

– Да что же ты делаешь, Горка! – ахнула Олимпиада. Кинулась в ванную за спиртом, зеленкой и ватой. – Тебе ли туда соваться! – начала обрабатывать рану.

– Ничче-го! Оо-ни нас узна-ааа-ли! (Это уж точно!) – герой не чувствовал даже спирта. Ободранная в зеленке щека у него явно сравнялась по массе с висящей парализованной. Как мог, рассказывал о Профотилове, потом о Курочицком. Восхищался ими: вот мужики!

– Да дураки они просто, и всё. Такие же, как ты. Теперь с работы полетят, – говорила Олимпиада, убирая вату, спирт и зеленку со стола.

В телевизоре, как на заказ, говорил Большой Человек. Елбасы́. Национальный лидер. На этот раз всё у него было по-домашнему. Перед кинокамерой сидел с расстегнутым воротом рубашки. (Никаких галстуков!) Как бы с раскрытой для народа душой. Пожалуйста! Тоже ведь душа у человека есть. Тоже ведь человек, в конце концов. Душевный.

Однако сразу же показали военный парад в столице нового независимого государства. Мимо трибуны, украшенной национальным орнаментом, шли десантники с автоматами на груди. Шли рядами, сильно вывернув головы к Елбасы. Все в широких блинных беретах – вроде ангелов войны. На всё готовых ангелов войны!

– Вон какой ражий, – говорила Олимпиада, поглядывая на гордого Елбасы на трибуне. – А ты? Почему до сих пор такой тощий? Кормлю тебя, кормлю, и все без толку! Одни кости. Смотри, рубашка на тебе – на семерых росла, одному досталась. А?

Однако Георгий Иванович ел почему-то сегодня одни только овощи. Тушеные овощи.

– Сыр вот ешь, сыр! – подталкивала тарелку Олимпиада. – Сыр переваривается долго. Как мясо. А овощи твои поел – что радио послушал.

Но Туголуков по-прежнему изображал из себя вегетарианца. Разрисованный зеленкой, он был как в рваной балаклаве. Как пострадавший террорист.

17. Даль светлая

Всю осень, особенно когда закончилась дача, Олимпиада ездила с газетами на станцию. Туголуков сначала удивлялся: неужели там покупают? Кто? Ведь можно продавать возле дома, вон, у «Колоса»? Но Дворцова упорно продолжала ездить именно на станцию, к железнодорожному вокзалу, и через какое-то время, опять на немалое удивление Георгия Ивановича, стала привозить оттуда неплохие деньги.

Однако приезжала теперь домой уставшая, хмурая, нередко злая. Даже не переодевшись, начинала готовить ужин. Туголуков, чувствуя себя паразитом, деликатно ходил по гостиной.

– Что, посуду даже вымыть не мог? – зримо, книжным облачком вырисовывались из кухни слова. Георгий Иванович пятился, падал в кресло, хватал книгу, пытаясь наладить срочное чтение.

К тому же обидчивой стала как никогда. Обижалась на каждый пустяк, шутку, сказанные без всякой задней мысли слова. Сразу выворачивала из них совершенно другой, обидный для себя смысл. Один раз даже начала кричать с мгновенно побуревшим лицом.

По ночам Туголуков ломал голову, что с ней происходит. Что она вообще целыми днями там на станции делает? Газеты ли она продает?

Невольно разъяснила всё Таня Тысячная, как-то пришедшая отдать деньги за квартиру.

Пили втроем чай на кухне. Таня рассказывала о новой своей работе. Смеялась. С высшим образованием, теперь она *работница кухни*. Проще говоря – посудомойка. Предлагала Олимпиаде такую же должность. Могу похлопотать, Липа. Потому что хватит тебе уже мотаться в поездах...

Георгий Иванович вздрогнул. Начал ловить рыбьи испуганные глаза проговорившейся женщины. Повернулся к Олимпиаде:

– Так ты, значит, в поездах теперь побираешься, дорогая?

– Да что вы, что вы, Георгий Иванович! – зачастила Татьяна. Как маленькому разъясняла: – Она газеты, газеты продает! Георгий Иванович! Газеты!

Но Туголуков не слышал Тысячную:

– ...Так ты меня с собой возьми. А? Я буду петь в вагонах, ластой махать, а ты мою кепку подсовывать. То-то озолотимся! А? Бригадный подряд! Приленскую еще возьмем плясать! А?..

Он встал, из кухни быстро угрёб в гостиную.

– Что же ты опять наделала, Таня? – беспомощно бросила руки на колени Олимпиада. – Кто тебя за язык тянул?

– Но я разве знала, Липа?.. – Глаза у Тысячной мучились. Как у рыбы, случайно зацепившейся за крючок.

...Слыша почти каждый день тарзаньи проносящиеся вопли Фантызина под окнами, Олимпиада всё так же вздрагивала. Один раз хорошо напуганная, она всё так же боялась его. Себе же говорила, что просто не хочет *связываться, нарываться*. Тем более впутывать в это Горку. Поэтому и не ставит свой столик на прежнее место у «Колоса».

Она упрямо продолжала ездить на станцию, на железнодорожный вокзал с кошелем, полным газет, таким же, как у конкурентки Кунаковой. Однако газеты на станции по-прежнему брали плохо. Приходилось оставлять каждый раз почти не тронутые пачки у Пилипенко. Да и к Приленской теперь под Дом печати ездила один, много два раза в неделю. (Та, как дятел, упорно долбила о киоске. Об *общем киоске*. Который надо заказать на мебельном комбинате. А не связываться со всякими проходимцами типа Ваньки Вьюгина.)

Однажды Олимпиада выбежала на перрон к поезду, проходящему на Бийск. Бесполезно пронеслась с газетами вдоль всего состава. Обратно шла, словно разучившись ходить, оступаясь.

Подозвала проводница, стоящая возле двери своего вагона. Сама покопалась в пачке на груди у Олимпиады и вытянула «Кроссворды». Развернула газету, точно просто знакомясь с ней, не думая пока платить. Олимпиада, боясь, что поезд сейчас пойдет, тронула горячее от солнца голубое плечо: «Двадцать копеек».

На Олимпиаду посмотрели белесые глаза с пятком начерненных, еще не выпавших ресничек:

– Ну и глупая ты, подруга!.. Залезай! Чего ждешь?

– А можно? – мгновенно поняла Дворцова.

– Да лезь, я тебе говорю! Через минуту отправляемся.

С полным кошелем, как с арфой, Олимпиада полезла в вагон.

Когда поезд уже шел, проводница, прежде чем пустить по вагону подопечную, наставляла: «В купе не лезь. Только из двери предлагай. Если дверь закрыта – прежде постучи. Ну и, мол, «кто желает газеты и журналы, пожалуйста». Поняла? (Олимпиада кивнула.) Давай, иди работай!»

В первое раскрытое купе стык дороги Олимпиаду втолкнул как лошадь с торбой. «Кто желает газеты и журналы, товарищи?» Ее не поняли, смотрели испуганно. «Ладно. Извините».

В следующее купе постучала – не открыли. Ладно. Дальше. «Кто желает газеты и журналы, товарищи?» Ее втащили прямо в купе. Сидела на краю полки и выдергивала из кошеля газеты четырем жаждущим новостей и развлечений пассажирам. В этом купе взяли пять экземпляров. Спасибо, товарищи!

За десять минут прошла весь вагон – и кошель ее... опустел наполовину. Не поверила. Пошла за разъяснением к Галине (так звали проводницу). «Дальше иди, дальше, – отмахивала та рукой. – В следующий вагон. Но учти, всё не продавай. Оставь на обратный путь. Через час – Шемонаиха. Там через два часа бийский встречный. Давай дуй, счастливо!» Женщина в форменной голубой рубашке и черной юбке отвернулась к титану, закинула в него снизу совок угля.

В Шемонаихе Олимпиада сошла на перрон с четырьмя газетами. Опять не поверила. И как теперь назад? Не лезть же во встречный бийский поезд с четырьмя этими газетами. Да просто не пустят.

Побежала к Галине, стоящей возле своего вагона. Сразу похвалилась, хлопнув по кошелю: «Почти все газеты продала. Во как! Спасибо вам!»

– А я что говорила! В России давно в поездах продают. Не то что у вас здесь, в тундре. Так что не теряйся, ты здесь будешь первая.

Женщина по-молодому вдернула себя на ступеньку. Уплывала с вагоном, стоя в дверях и выставив свернутую желтую палку флажка. «Пока, подруга! Увидимся!»

Низкое окошко кассы с решеточкой напоминало лаз в погребок. Пытаясь в нем что-нибудь разглядеть, Олимпиада сунула деньги. Билетик выкинули со сдачей. Картонный, дешевый.

Сидела на скамейке возле дощатого вокзала в ржавых потекших пятнах, похожего на постаревший терем. Неподалеку на скамейке целовались две парочки. Точно коллективно насыщались в столовой. Точно сидели за одним столом... Олимпиада удивленно смотрела с соседней скамьи. Потом поднялась, стала ходить по перрону. Склонившись, попила из фонтанчика над медной чашкой. Одна парочка оторвалась, наконец, друг от дружки. Покачалась возле скамейки, вроде что-то вспоминая. И торопливо повезлась по перрону. Напоминая чем-то вихляющиеся велосипедные восьмерки одного велосипеда. Оставшиеся двое по-прежнему – как окаменели в поцелуе.

Олимпиада всё ходила по перрону, поглядывала на терем, на словно остановившиеся часы на нем. Послеполуденное осеннее солнце жгло. Два буро-красных клена, создав тень, свисли возле монумента со звездой скорбными воинскими почестями.

Вышла на пустую привокзальную площадь.

Странные, неорганизованные прошли мимо вокзала пять туристов. Вертели головами, точно заблудились в новой жизни. Но – с чудовищными своими рюкзаками, альпенштоками, котлами и веревками. Где они собрались найти горы – было непонятно. В районе Шемонаихи приметных гор не было. Так только, пара каменных черепах в степи.

Потом тоже по площади молодая женщина дергала за собой плачущего ребёнчишку. И красный малыш приседал и словно замазывался уже плачем. Женщина невольно опахнула и Олимпиаду своей злостью. Олимпиада долго смотрела им вслед.

Посасывало под ложечкой, сильно хотелось есть. Завтракала еще с Горкой. В шесть утра. Кафе на площади было. Летнее. Но, видимо, давно и спокойно прогоревшее. Вместе с шатром, с ржавым мангалом возле шатра и двумя одуревшими от скуки официантами, которые, как было видно, давно переругались меж собой и сейчас висели на кулаках за разными столами, где вообще-то должны были бы колготиться посетители...

Олимпиада не решилась войти в это кафе: и денег было жалко, и боялась отравиться... Зачем-то зашла за шатер, где у забора, словно к вскрытым судьбам своим, склонялись к мусорным бакам бомжи... Вышла обратно на площадь. Маялась.

Поезд приполз только в 16.30 Москвы. С опозданием на час. Предъявив картонный билетик, Олимпиада полезла в вагон в середине состава.

И начались эти поездки на поездах. До Шемонаихи и обратно. До Шемонаихи и обратно. Сначала ездила ежедневно. Продавала всё подчистую. Из Шемонаихи ехала всегда без газет. С недорогим билетом в руках. На удивление Приленской, стала закупать газет в два раза больше. (Когда та узнала о поездках, то сразу надулась – на неопределенное время переставал маячить совместный газетный киоск.) Нагруженная как мул, везла все пачки к Пилипенко. Брала, сколько могла взять, и мчалась к подходящему бийскому.

Почему-то только в Шемонаихе встречала Галину-проводницу. Ее поездную бригаду. Тогда домой возвращалась не бедной родственницей, пришипившейся на откидном сидении в проходе вагона, а ехала с комфортом, в купе своей, можно сказать, крёстной, с чаем ее и поучающими разговорами. Всегда успевала купить ей на станции кулечек конфет. Ее любимых «белочек».

Но постепенно поездки на поездах, *магия стучащих колес железной дороги* стали Олимпиаду пугать. Она ловила себя на том, что *тоже хочет уехать*. Уехать от всей сволочной теперешней жизни. Уехать с Горкой. Хоть на край света. Но понимала, что из-за болезни его это невозможно. И всё заканчивалось каждый раз одинаково: пассажиры в поездах всегда ехали *дальше, в даль свою светлую*. Они, как казалось Олимпиаде, могли изменить свою жизнь. Она же всегда возвращалась назад, на свою станцию, и ничего в своей жизни изменить не могла... Все так же постукивали колеса, но счет их магический шел уже в обратном порядке, все так же сидела она в проходе вагона и смотрела на одни и те же качающиеся огоньки деревенек.

Впрочем, состояния эти тоскливые приходили только при вынужденном безделье, когда часами сидела в надоевшей чужой Шемонаихе или с копеечным билетом возвращалась домой. Во время работы, когда протискивалась с газетами через весь состав, увязая почти в каждом купе, было не до этого.

Сначала ей казалось, что она никого не запоминала в поездах. Но это было не так. Она долго помнила замшелого старика девяноста, наверное, лет, с лицом уже как пергамент, как древний манускрипт, который, прежде чем начать читать *свежую* газету, долго налаживал на белые бескровные уши такие же старенькие, как он, с жидкими дужками очки. Помнила мальчика лет пяти с кудрями словно бубенцы, сразу начавшего выделывать на столике длинными карандашами в купленной матерью книжке-раскраске. Девочку напротив, белобрысенькую, с сопливыми глазками котенка. Которая, поглядывая на мальчишку, готова была уже заплакать, потому что ей ничего не купили. (Раскраску ей Олимпиада сунула незаметно, выходя из купе.) Молодую тугоскулую казашку с подрезанными волосами как с черными саблями. Ее русскую подругу в брючках, склонившуюся над чемоданом, с жопкой в виде буквы Ф. Помнила некрасивую еврейку с большим носом и ее необыкновенно красивого сынишку, кудрявенького, с глазами как крыжовник. Их бабушку и мать, похожую на очень веселую овцу. Помнила двух расхристанных, не соображающих уже ничего солдат-дембелей, обзарившихся вдруг на нее, Олимпиаду, и начавших ее лапать, приговаривая «мама! мама!». Помнила полного мужчину с белой висящей шеей, будто с повязанной белой салфеткой на груди. Его жену, отсчитывающую мелочь за газету сухими, как ржавые крючья, руками. Почему-то долго вспоминала еще одну женщину. Похожую на пчелку. Желтенькую и стервозную. Которая даже в вагоне продолжала жалить оставшегося на перроне мужчину. Употре-

бляя часто слово «импотенция». Причем в культурной его, как ей, наверное, казалось транскрипции – «импотЭнция». («Конечно, если в двадцать восемь лет мужчина уже страдает импотЭнцией, если он уже законченный импотЭнт, ха-ха-ха, если он не в состоянии выполнить элементарного мужского своего дела, хи-хи-хи, то... то не знаю, да, не знаю, хи-хи-хи-хи!»)

Чаще всего эти люди возникали в памяти неожиданно, вдруг. Но иногда ночами, когда не могла уснуть, они проходили перед глазами Олимпиады долгой, медленной, нескончаемой чередой.

Олимпиада не знала, как долго она будет ездить в поездах, на сколько ее хватит. Возвращаясь из поездок, возвращаясь часто раздраженной, злой, начала покрикивать на Горку. И это больше всего ее терзало. Ничего не могла с собой поделать! Готова была себя убить, но продолжала шпынять несчастного одноногого мужичонку...

Ночами плакала и шептала ему: «Прости меня, Гора, подлую, прости...»

Однако Георгий Иванович давно понял, что уж если что втемяшится женщине в башку – пиши пропало: переубеждать, отговаривать бесполезно. Поэтому просто ждал. Всерьез подумывал о пресловутом *газетном киоске.* Только он один, видимо, сможет остановить Олимпиаду, и перестанет она, наконец, мотаться в поездах.

Теперь вечерами, когда она шила в гостиной, стоял обреченно в спальне. В спальне отца. Перед всеми двумястами томами Всемирной литературы. Наглядно прощаясь с ними, может быть, даже плача. (Олимпиаде, правда, слез его не было видно, он всегда вставал к ней спиной.) Возвращался в гостиную с очень серьезным лицом. Олимпиада тут же начинала наливать ему чай, пододвигать сушки, смородинное варенье. Бросалась на кухню, приносила еще и вишневое. Накладывала в розетку. Георгий Иванович хмурился, давал ухаживать за собой.

Библиотеку купил Талибергенов. Как будто арестовал ее – два милиционера полчаса сносили тома к стоящему во дворе милицейскому уазику. Олимпиада металась, стелила всякие материи и половики, чтобы книгам было удобней ехать. Талибергенов хмуро терпел. Тяжелый, полез в кабину с шофером, взболтнув весь уазик. Милиционеры заскочили сзади, захлопнулись. Уазик поехал.

Туголуков стоял в комнате отца, смотрел на пустые полки. Как красные рассыпанные письмена, как *воспоминание о будущем* валялись по всему столу советские десятки. Прибежавшая Олимпиада начала быстро собирать их, чтобы заново пересчитать.

– Ну, чего встал? Давай тоже считай!..

– Как? – спросил супруг. – Одной рукой?..

Утрами на мертвых рассветах, сидя на тахте, Георгий Иванович изучал свою правую парализованную ногу, точно протез, набитый ватой. Прикидывал, как добиться хоть какой-то твердости в ней, подвижности.

Начинал сгибаться и энергично растирать ногу левой рукой. Старался особо не сопеть, чтобы не разбудить Липу. Правая рука во время этих манипуляций болталась всегдашней ластой. И ее также сильно растирал. С некоторых пор стал ощущать и в ноге, и в руке какие-то покалывания, мурашки. Это радовало его – с новой силой он принимался за ногу. Да так, что начинала ворочаться и ворчать Олимпиада. «Ну сроду – ни свет ни заря!»

В парке уже уверенней загребал больной ногой, Весь перекошенный и острый, как пораженный кубизмом. И ластой мог лихо хлопнуть себя по бедру. Иногда даже несколько раз подряд. На немалое удивление и даже испуг прохожих. Смеясь, останавливался. Задрав голову, любовался взблескивающими на солнце бесконечно-радужными осенними паутинами.

На скамейке довольно разборчиво говорил Ивану Ивановичу Курочицкому. Просил помочь заказать на мебельном комбинате киоск. Олимпиаде, знаешь ли, надо. Да и сам я, наверное, смогу продавать. Поможешь, Ваня?

Курочицкий, видя, что Георгий Иванович поправляется, что скоро станет таким же, каким был – с радостью поддерживал: «Какой разговор, Гора! Сделаем! Всё сделаем!»

После закрытия детских садов весь парк теперь напоминал сказочный детский рай. Везде бегали веселые ребятишки и сидели в плащах, с вытянутыми ногами их свободные теперь от работы мамы. Громадная белая туча висела над ними как спустившийся Бог.

Побежала, подняла с земли упавшего балашку в комбинезончике мать. Отряхивала его от прилипших листьев, от песка. На мотающемся лице молодой казашки были видны только злые насурьмленные, как черные цветки, глаза. Балашка качался в руках матери. Но не ревел. Как космонавт. Снова побежал.

Казашка вернулась на свою скамью, снова засунула руки в карманы плаща. Смотрела в никуда. С тонкой шейкой и скулами инопланетянки.

– Эх, только и вспомнить теперь золотое застойное время!

Курочицкой начинил мундштук сигареткой. Молча затягивался с откляченной нижней губой. Туголуков смотрел на его заточенные усы. На ум приходили кавалерийские атаки, глубокие рейды по тылам врага. Благодарно тронул его за колено.

Смотрели на осенние остывающие клены, на желтые утихшие птичники тополей. С земли пахло павшим пряным листом.

– Столярова вернулась, – вдруг сказал Курочицкий, затянувшись и выпустив барашек дыма.

Туголуков сразу опустил голову.

– ...Помнишь ее? Помнишь, как ездили с ней и Сычевой на Алаколь? Сейчас ее не узнаешь...

Курочицкий начал подробно рассказывать.

– Я видел ее, – прервал его Туголуков. Поднялся. Стал прощаться. Отворачивал лицо.

Пошел. Наступал на тени от листвы деревьев как на пятна сажи.

– Так я всё узнаю на мебельном? Гора! – крикнул вслед несколько обескураженный Курочицкий.

Туголуков как будто не услышал. Уходил, все наступая на пятна.

...Несмотря на предупреждения Олимпиады, в тот день Георгий Иванович вышел из дому в сильный ветер. Пирамидальный желтый тополь раскачивался, свистел как балбес. Туголуков с плащом напоминал сёрфингиста с косым парусом. Его тащило то в одну сторону, то уже в другую. Кое-как дорулил до парка. Здесь было тише.

Сидел на скамье под мотающимися кронами деревьев, осыпаемый сверху желтыми листьями. Лишь три голых дуба в середине парка почти не поддавались ветру. Подобно узловатым старикам, стояли на земле крепко.

По аллее шла женщина с балетной головкой черепахи, изрезанной длинными морщинами. У Туголукова упало сердце, он сразу узнал ее. Это была Надежда Столярова. Надя. Работавшая когда-то во Дворце культуры комбината. Он тут же вспомнил, как любил ее первый раз в высокой костюмерной дворца под висящими бала́ми камзолов, стеклярусных платьев и ажурных пелерин. Как выскользнул потом оттуда и, будто *подвиг разведчика*, смешался с настоящим, тесно танцующим балом, танцующим под бубнящий духовой оркестр с хоров дворца.

А потом начался месяц угара. Туголуков тогда уже два года был вдовцом. У нее муж – два года писал диссертацию. Побывав у нее однажды в доме (на дне ее рождения), при знакомстве Туголуков даже подержал руку этого мужа. Вроде влажной красной семги.

(Глаза лысоватого блондина в очках были вежливы и внимательны.) Туголуков дня уже не мог прожить без любимой, уговаривал ее порвать с мужем и уйти к нему, Туголукову. Но блондин с красными руками все же перевесил, и она уехала с ним в Новосибирск.

Георгий Иванович печалился, тосковал. Долго помнил ее гладкую балетную головку, ее зеленоватые большие глаза.

Теперь от прежней Нади Столяровой ничего не осталось. Туголуков смотрел вслед удаляющейся женщине.

Была б картина, если бы он окликнул ее. Встреча через много лет. Вся в морщинах женщина и осклабленный послеинсультный крокодил. У которого верхнюю губу обратно на зубы невозможно натянуть. Неужели это ты, Гора? А это ты? Надя! Не может быть!..

Туголуков раньше времени покандыбал домой. На душе было гаденько, нехорошо.

– Говорила не ходи, – открыла дверь Олимпиада. – Зачем поперся в такой ветер?

Как на виновницу всего, Туголуков дико глянул на жену и, не снимая плаща, сразу прошел на балкон. Стоял как всегда – вцепившись одной рукой в перила.

Господи, ну почему не окликнул, не остановил?

Заветренный закат был как красный пал в степи. Зяблые клёновые ветки болтались совсем рядом, прямо под балконом.

18. Новые толстопятые центурионы

Когда Витя Фантызин оставался ночевать, Голяшина Тоня всегда устраивала ему *праздник для души*. Под включенной богатой люстрой, на постели, застланной свежей простынею, начинала очень медленно поднимать для него очень белое большое свое богатство. У Фантызина глаза готовы были выскочить от восторга. Однако управился быстро. И свернулся калачиком как бы у дымящегося еще комелька.

Голяшина Антонина не верила, что так всё быстро закончилось, ждала. С распущенными своими губами. Всё так же на коленях. Когда в районе левой пятки начинали раздаваться сладкие храпотки, опять же очень медленно валила себя на бок. Лысая зажмурившаяся головенка оказывалась придавленной тяжелой ее ногой. Медленно убирала ногу. Смотрела на свернувшегося мужичонку как на голенькое тощенькое чудо болотное.

Однако Фантызин просыпался быстро. Голяшина начинала было опять поднимать богатство, но любовник, прыгнув к тумбочке, к телефону, уже набирал номер. Заветный номерок. В трубке шли и шли длинные гудки. Неужели сменили номер, гады? Или переехали? «У тебя есть телефонная книга?» У Голяшиной телефонной книги не было. Тогда бросал трубку на аппарат, бросал себя к белому телу и тут же засыпал, кинув руку и ногу на него. Этаким коротеньким пионерским прыжком через планку высоты.

Голяшина медленно тянулась к стене и выключала праздник.

Сегодня Кланечка с утра побежала, тюкнула в сарае курицу. (Безголовая черная курица прыгала по двору, как вахтовая нефтяная вышка. Остальные куры бегали, перемазанные кровью, отмечали трудовую победу.)

Затем, окатив кипятком, ощипала курицу. Разделала на кусочки, ровненько выложила в уже заведенное тесто. Поставила в духовку.

Газовый баллон втихаря подпускал. Что тебе оголец в темноте на сеансе. Перекрыла его. Побежала, распахнула оба окна. Снова включила, зажгла духовку. Надо Витеньке сказать, чтобы баллон сменил.

Летала по дому, прибиралась. Напевала любимую:

В лунном сия-ании снег серебри-ится.
Вдоль по доро-оге троечка мчи-ится...

Потом Кланечка прикладывала к коричневому выходному платьицу отглаженные свежие кружавчики. *Как сельскую белую неземную свою лепоту.* Пришпиливала ее на плечи и загорбок. Любовалась собою в зеркале на комоде. (Ну чистый плюшевый мишка в кружавчиках!) Придвинувшись ближе, вырисовывала на губах помадой обостренно-остренькое сердечко-клеймецо. По незабытой моде 20-30-х годов. «Динь-динь-динь! Колокольчик звенит!» Сегодня у Витеньки день рождения, ему будет приятно. «Динь-динь-динь! О любви говорит».

Между тем Витенька в это время вроде бы даже забыл про свой день рождения – Витенька крался на «хонде» вдоль пятиэтажного дома Туголукова. Высматривал из кабины.

Балкон был пустой: ни парализованного коня, ни Липкиного белья на веревках.

Тогда коротко протарзанил. Как кинул наверх живца. В окне кухни сразу захлопнулась форточка. А-а, спрятались! По капельке, по капельке, уважаемые! Дал по газам, полетел, победным сигналом терзая всю улицу Краснооктябрьскую.

В обед с горы поселка Мирный спускался, неуклюже переваливаясь «джип» Талибергенова. Снизу в поселок Мирный стремилась «хонда» Фантызина. Встретились на одной большой дороге. Остановились напротив друг друга. Оба с музыкальными колотушками. Как два бомбилы.

Опустив стекла, – разговаривали. (Колотушки выключили.)

– ...Туголуков Всемирку продал... – Талибергенов смотрел вперед. С нацеленностью хмурого футбола. Ждущего на одиннадцатиметровой отметке.

– Зачем? – Фантызин тоже ждал длинной правой ноги. Только в другую сторону.

– Не знаю. Темнит что-то. Уезжать, наверное, намылился со своей цацей. В Россию, наверное.

Фантызин думал.

– Кто купил?

– Я... Ну, бывай!

Талибергенов покатился, снова врубив колотушки.

Фантызин не трогался с места, вцепившись в руль.

Во дворе Кланечки голодные куры с радостью забегали. Но он даже не взглянул на них, сразу пошел к крыльцу. И сумку с халявной едой болтал забыто. Будто чужую!

Перепуганная Кланечка, прежде чем бежать за ним, устроила курам свалку сама, кинув жменьку корму, чтобы не потеряли навык, не разучились драться.

В доме за столом не узнавала своего Витеньку – глаза Витеньки были белыми. Как сквозняки. Он даже не видел – что ел, что подносил ко рту. Кусок курника, за ним сразу пирожное. Рука вдруг взяла кусок холодца, будто раздавленного ожерелья. Потом снова курник. Потом запечатал рот куском торта. Он ел как лунатик на крыше!

Кланечка теребила кружавчики на груди, красненькое сердечко на губах ее уже кривилось, превращалось в плаксивую гузку.

– Витенька, что с тобой? Ведь день рождения твой сегодня, Витенька!..

Фантызин вздрогнул. С белой раскраской на лице, как мумба-юмба. Непонимающе разглядывал пятерню, тоже всю измазанную белым кремом. Взял полотенце – вытер.

– И на щеках, на щеках, Витенька! – подсказывала Кланечка.

Вытер и на щеках. Только после этого сказал:

– Просто задумался немного, тетя Кланечка. Не волнуйся, все в порядке.

Взялся крутить переключатель каналов телевизора.

– Где тут у тебя Россия, тетя Кланечка? На каком канале?

– А я не знаю, Витенька. Вот сюда щелкну (Кланечка щелкнула) – сериал и выскочит. (Сейчас его нету еще.) А вот тут (Кланечка еще раз щелкнула) футбол всегда. Вон, смотри, смотри, уже бегают!

Однако Витенька морщился. *Такой футбол* он не признавал. Стадо баранов, бегающее по полю. Ему нравился американский футбол. В американских фильмах. Где плечистые уроды все время сталкиваются. А потом падают монструозными мордами прямо в землю, подкидываясь. Вот это футбол, тетя Кланечка!

Дальше щелкал переключателем. Наконец нашел, что искал. И глаза его сразу загорелись. «Смотри, смотри, тетя Кланечка, что сейчас будет!»

А в телевизоре протестующая толпа, не дойдя квартала до Красной площади, остановилась – улица была перегорожена грузовиками и новыми толстопятыми центурионами, щиты которых стояли плотно, один к одному. Разделенные с ними двадцатью метрами пустоты, демонстранты начала колыхаться, шуметь: «Прочь с дороги! Пропустите нас! Не имеете права!»

Очень серьезный тележурналист без головного убора, седой, ведущий репортаж на фоне этого противостояния, очень серьезно объяснял происходящее телезрителям. С большим квадратным микрофоном в кулаке – как с увесистым дядей Сэмом. Иногда указывал им, как кувалдочкой, на негодующую толпу.

Остановившаяся колонна смахивала на краснознаменную злую ярмарку. Летели крики: «Узурпаторы! Негодяи! Долой! Прочь с дороги! Мы вам покажем!»

Вдруг толстопятые со щитами на всех парусах помчались к толпе. Вломились в нее – и заработали. Летающие вкривь-вкось черные палки походили на торопливый плохой почерк. Ветераны отлетали от ударов щитов, опрокидывались. С медалями, как с зачищенной рыбьей чешуей, их оставляли корячиться на асфальте. А толпу гнали дальше, охаживая палками по спинам, по головам.

Перед бегущими людьми улицу спешно перегородили новыми грузовиками, превратив ее в мышеловку. Толпа ломанулась в боковой переулок, но оттуда уже неслись на парусах другие центурионы со щитами и палками. Толпу выгнали обратно на Горького.

И началось!

– Смотри, смотри, тетя Кланечка! – как ненормальный кричал Фантызин. – Российская милицейская страда! Жатва! Молодец, Ельцин! Так их, краснопузых! Так их, краснокоричневых! Так их! так их! Смотри, смотри, как садят! По башкам! По башкам! Бей туголуковых!

Кланечка начала было приплясывать и хихикать для Витеньки, как во время драк кур во дворе, но глаза ее уже в трусливую раскосость пошли, голосок задрожал:

– Ой, боюсь я, Витенька! Ой, боюсь! И у нас так будет! И к нам перекинется! Ой, бою-усь!

Телевизор вдруг разом выключился. Будто сгорел, или вырубили электричество. Витенька похлопал ящик сверху – ничего. Повертел переключатель – пусто. Кинулся к стене, щелкнул – света нет. Воскликнул удивленно:

– Смотри-ка, – вырубили. Чтоб мы не видели! А, тетя Кланечка?

А та все причитала «ой, боюсь я, Витенька, ой, боюсь».

Однако Витенька сидел уже за столом. Витенька в нетерпении пододвигал к себе курник на блюде. Точно и не ел ничего десять минут назад.

– Не-ет, тетя Кланечка. Нас не тронут. Мы люди нужные новой власти. Мы ей только помогаем. А вот всяких краснопузых туголуковых пусть охаживает дубинками. Да каждый день чтоб. Уж мы-то с тобой посмеемся над ними тогда, уж мы-то похохочем!..

Фантызин вернул себе оловянные глаза. Фантызин сгрызал курник по-волчьи. Казалось, прямо с костями.

Вислое личико Кланечки мелко потрясывалось. Кланечка очень боялась за Витеньку. Господи!..

19. Дача на Примыка́не

Туголуков лежал в комнате отца на кушетке. Олимпиада шила в гостиной. Ее ножная машинка начинала стучать внезапно, короткими приступами, резко обрываясь.

Взгляд Георгия Ивановича бесцельно бродил по комнате. После старинного буфета перешел на фотопортрет отца на стене... Отец смотрел на лежащего сына. Вполоборота. Как киноартист. Как со стены фойе кинотеатра. Небывало молодой, смеющийся. А на другом фотопортрете, рядом, он уже был снят с внуком Андрюшкой, который смотрел на своего деда. Смотрел снизу вверх. Приобнятый им, восторженный...

Помнит ли теперь внук своего деда?..

...Из детского сада выбежал казахский мальчишка лет пяти. С испуганным плачущим лицом: «Я один остался! Совсем один!» Иван Георгиевич Туголуков, пришедший забрать своего внука, с удивлением отпрянул. Хотел успокоить мальчишку, спросить, что случилось.

Но тот уже бежал вдоль окон. Оглядывался по сторонам. Пустой двор был как упавшая вдруг пустота без солнца. Мальчишка громко говорил себе: «Побегу я домой! Скорей побегу я домой!» И побежал к соседнему пятиэтажному дому. И скрылся в крайнем подъезде... Да что же такое случилось! Иван Георгиевич поспешно вошел в раскрытую настежь дверь.

Внутри садик был пуст. Ни воспитательниц, ни детей. Ни на первом этаже, ни на втором. В кухне на плите уже закипала брошенная большая кастрюля. Хлопалась крышка, выпуская на края пену бульона или супа... Иван Георгиевич раскрыл рот: мистика, фильм ужасов.

Бросился в раскрытый пустой кабинет. К телефону. Набрал рабочий номер сына:

– Горка, слушай! Садик пустой, понимаешь?! Все пропали! Четыре часа дня. Ни воспитательниц, ни детей. Крышка хлопается на кухне. Входная дверь распахнута настежь. Где Андрюшка – не знаю. Давай, дуй сюда!

Как тот казачонок, бежал вдоль здания. Почему-то высматривал пропавших на крыше.

Увидел всех за зданием, неподалеку от деревянной беседки. Сразу стал, схватившись за грудь и качаясь. Да черт вас дери!

Две женщины в белых халатах сидели на приступке песочницы, вытянув ноги. Спиной к копающимся в песочнице детям. Спокойно ходила там и длинноклювая легкая кепка внука Андрюшки... Дед всё смотрел, потирая грудь. Однако к воспитательницам – выбежал:

– Вы что же это делаете, а? Вы почему всё бросили? Ведь атомная война, можно подумать, началась? Все двери настежь! В здании ни души. Кастрюля кипит! А они сидят, видите ли, тут! Куда все убежали? Крепдешин где-то дают?..

Воспитательница и завернутая в полотенце повариха, опустив головы, с любовью разглядывали свои вытянутые белые ноги.

– Казачонок бежит-плачет, а они сидят... – Иван Георгиевич отряхивал от песка штанишки внука. – Крепдешин, видите ли, где-то выбросили...

У лежащего Георгия Ивановича защипало глаза. Сжал задрожавшие веки. Сразу пошло другое воспоминание. И некуда было от него деваться...

...Пришедший старик этот стоял перед Георгием Ивановичем как унылое железнодорожное расписание – в драповой кепке, в сером пыльнике до пят, до горла застегнутом на пуговицы.

– Что же вы – так? Ведь жарко? – спросил его Георгий Иванович.

– Ничего. Я привык, – ответил старик.

– Да зачем же? Тридцать в тени!

– Не беспокойтесь. Ничего. Кхым!

Его один литой негнущийся сапог вошел в кабину, а вот второй – никак не уходил за ним в «запорожец».

– Одну минуту. Сейчас!

Старик поддал себя под колено, как-то согнул ногу, втащил, наконец, в кабину. Далеко откинувшись на сидении, захлопнул дверцу. Распорядился:

– Поехали!

Старикан не без привета, подумалось Георгию Ивановичу Туголукову. По просьбе отца он отправился на Примыкан смотреть продаваемую там дачу.

Старик все время молчал. Сидел как замороженный. За городом Туголуков прибавил ходу. Пролетали последние гаражи. Как какие-то кирпичные заклады в степи. Глаза старика стали слезиться, он все время вытирал их платком.

– Закрыть окно?

– Не беспокойтесь. Не надо.

Туголуков вдруг понял, что старик плачет. Стало тяжело. Чтобы отвлечь его, спросил:

– Долго ехать?

– Часа три.

Однако это что же? – они ночью, что ли, в горах будут плутать?

Старик понял опасения Туголукова:

– Не беспокойтесь. Я дорогу знаю.

Опять молчали. Старик забыто держал платок в кулаке. Больше не плакал. Проносилась, закруживая, выгоревшая степь. Расползались по ней черепахами горы. Легкий коршун, как планер, кружил, высматривал мышек.

О продаже дачи в Примыкане случайно прочитал на круглой тумбе объявлений отец. Почему-то сразу загорелся: «Съезди, Гора, посмотри. То, что мне нужно. Озеро рядом, за ним лес, грибы, ягоды. Ты с Андрюшкой будешь приезжать. Съезди. И цена умеренная».

Уже начинало темнеть в степи. Закат вдали походил на раздавленный, брошенный на землю помидор, розовые облака по высокому небу раскидались. Как раскрывшаяся тайна.

Иван Георгиевич, когда сын развелся с женой и переехал к нему, стал маяться в собственной квартире. Почему-то считал теперь себя ней квартирантом. Все время торчал в своей комнате. Не мешал сыну, как он думал, не вмешивался ни во что. Даже на внука своего (Андрюшку), когда тот приходил к ним, смотрел теперь как на маленького нежданного гостя, стеснялся его, не знал, чем занять до прихода его отца. Трудно ему стало почему-то и с сыном, и с внуком. Дача на Примыкане – это просто спасение! «Отец, ну чего ты выдумываешь! Ну чем ты нам мешаешь! Подумай! Ездить за семь верст киселя хлебать?» Но отец стоял на своем – займусь хоть там чем-нибудь. А то закис в городе...

Когда совсем стемнело, дорога неожиданно вылетела на бугор. Свет фар завис в черной пустоте, как в бездонной яме, но тут же снова снизу выхватил дорогу и дальше уже не выпускал, словно только для острастки встряхивал ее, побалтывал.

Дачи от света ползущей, переваливающейся машины словно разом слепли и закрывались ветвями деревьев.

Потом свет дрожал на длинной штакетниковой ограде, точно подожженный пылью. Старикан поспешно выставлял из кабины свои негнущиеся резиновые сапоги. Туголуков заглушил мотор, выключил свет.

Дом или сарай еле угадывался в глубине участка.

Все-таки это оказался дом. С глухой высокой стеной, вдоль которой шли, задирали ноги. С печной трубой вверху. Со стилизованным под Ригу флюгером над ней. Уснувшим, да так и оставшимся в небе.

Хозяин начал на ощупь ковыряться в замке ключом. Внутри включил везде свет. Дом состоял их кухни и двух комнат. Была обжита, казалось, только кухня. Во второй ком-

натке, тоже совершенно пустой, как и первой, у белой стены почему-то стояла пышно застеленная односпальная кровать... С пампушками на высоких железных спинках и кружевным подзором, – похожая на... могилку.

Туголуков повернулся к старику.

– Это кровать жены, – сказал старик. – Я ее уберу. Если вы купите дачу.

Он по-прежнему был застегнут до горла. Но стоял без кепки. Обнаженная голова его походила на пятнистую фасолину.

Ночевал Туголуков в машине. От духоты опустил на дверце стекло. Долго не мог уснуть. Словно слепцы за поводырем, теснились по небу звезды.

Проснулся рано. От тесноты, от неудобства положения затекли ноги. Еле выбрался из машины. Разминался возле нее. Восход походил на вылезающие шкуры зебр.

Старик, видимо, давно сидел возле дома. С отпущенным каким-то лицом – будто с лопатой. Уже в пыльнике своем. Точно приготовившись уезжать. Увидел Туголукова, заспешил навстречу. Показал ему на коричневый домик в углу участка.

Туголуков умылся возле садового насоса. Старик подал полотенце. Потом ходили по участку.

Огород выглядел ухоженным. Подвязанные помидорные кусты были усыпаны и зелеными, и красными плодами. Но всё это почему-то не собиралось. И на огуречных грядках валялись уже желтеющие огурцы. Туголуков опять немо повернулся к старику.

– Всё останется вам, если купите дачу, – старик смотрел себе под ноги. Словно скрывал что-то, не договаривал.

Прошли вдоль штакетника позади участка, где рос небольшой яблоневый и вишневый сад. Была здесь и малина. И тоже – малина уже осыпáлась, а яблоки и вишня висели точно выращенные на сельхозвыставке в Москве – только для обозрения.

Странно, думалось Туголукову, идущему за стариком к дому.

Попили чаю в кухне. Старик закрыл на ключ входную дверь. Поехали обратно в город. Утреннее солнце у земли было тощим, как жестянка. Посторонним. По всей степи голо, будто на полигоне. Тишь вроде бы кругом, благодать. Вдали две бочки ТЭЦ парят, вода готова, ждут сатану. Несущиеся лохматые мокрые бурьяны словно полны были подпольных глаз чертей. Что называется, милый сердцу пейзаж. А? Туголуков поглядывал на старика. Однако тот опять молчал. Как и вчера в дороге. Отвечал на вопросы коротко, чаще односложно: да, нет. Туголуков все же узнал, что жена его умерла месяц назад, а сам старик будет менять квартиру на Кемерово, где живет его дочь.

Когда въехали во двор, старик написал на бумажке свой телефон и опять с трудом полез из машины. Оказалось, что живет он в соседнем подъезде. А фамилия его, как узнал из бумажки Туголуков, была Мозговенко. Федор Ильич.

Дачу у старика купили. После оформления документов у нотариуса он отдал возле своего подъезда ключи. Сказал, что все лишнее с дачи вывез. Сухо простился с Туголуковым. Но руку Ивана Георгиевича почему-то задержал. Напряженно смотрел ему в глаза...

– Мы с вами были знакомы, Федор Ильич? – спросил его Иван Георгиевич Туголуков, такой же старик, как и Мозговенко.

– Нет! – почему-то истерично выкрикнул тот. Чуть не со слезами. – Не были! Извините! До свидания!

И он пошел к подъезду.

– По-моему, старик немного не в себе, – говорил Иван Георгиевич сыну, поднимаясь с ним по лестнице к своей квартире.

Через два дня они уже ехали в Примыкан на свою дачу. С постелями, с кухонной утварью, с сумками, набитыми продуктами.

Место сразу отцу понравилось – до леса рукой подать. Виден был даже край озера. Сам дачный поселок в зелени, в садах. Сын тоже радовался, таская все от машины к даче.

Потом показывал отцу дом. Войдя с ним во вторую комнату – вздрогнул: кровать попрежнему стояла у стены. Все так же пышно убранная. Вдобавок к подзорам и подушкам была поставлена иконка в изголовье...

– Да что он, могилу жены здесь, что ли, устроил?

Отец тоже удивленно смотрел.

Сын начал решительно сворачивать толстую перину. Вместе с подушками, покрывалами, подзорами и иконкой.

– Будешь спать на диване. А мы с Андрюшкой здесь. Валетом.

– Да нет. Отчего же. Могу и здесь. Постель-то будет моя...

Вечером Георгий Иванович втащил на третий этаж Мозговенке громоздкий тяжелый узел с постелью его жены. Придавив всё коленом к стенке, позвонил.

– Вот, Федор Ильич. Забыли...

Старик подхватил и судорожно попятился с узлом, не сводя с Туголукова пропадающих глаз. Он словно уходил под воду, тонул. Протащился с узлом в узкую вторую дверь прихожей – и как пропал где-то в комнатах.

Туголуков не решался войти. Дверь оставалась открытой.

– Федор Ильич! Я пошел! До свидания!

Мозговенко не отвечал.

– Федор Ильич!..

– Хорошо. Извините...

Туголуков прикрыл дверь и стал спускаться по лестнице. Почему-то ноги оступались, дрожали. Вытирался платком.

Только через неделю он вновь поехал на Примыкан. Со свежими продуктами отцу и емкостью для воды, высоко привязанной к багажнику.

Отца на участке не было видно. Георгий Иванович с сумками вошел в дом.

В дальней комнате почему-то горел свет. Странно. «Отец!» Георгий Иванович оставил сумки, пошел.

Отец лежал на кровати с пампушками с закинувшейся головой и раскрытым ротиком. Сын бросился, приложил ухо к его груди. Сразу заскочил на него верхом, начал резко толкать грудь двумя руками, перемежая толчки дыханием рот в рот.

Сетка кровати проваливалась, скрипела, одна пружина с резким звуком лопнула. Георгий Иванович стащил тело на пол и опять толкал грудь и с силой вдыхал в соленый колючий рот отца.

Приложившись ухом, ничего не слышал в холодной груди. Весь в поту, задыхаясь, мучил и мучил мертвого...

Туголуков вышел наружу. Сел на солнце к горячей стенке дома. Покачивался, растирал колени, руки.

На соседнем огороде бегали дети. Трое. Самый маленький был тугой как пельмень. Его тонконогие сестры скакали, щебетали птицами. Их толстая загорелая мама распрямилась над грядкой. Оправила короткий сарафан. Внимательно смотрела на Туголукова, стаскивая грязные нитяные перчатки.

Туголуков всё растирал колени, всё кланялся, никак не мог унять озноб...

Дома отец лежал в гробу точно в мелком красном лотке. Так и оставшийся с открытым ротиком и зажмурившимися глазами. Испуганный Анрюшка-внук держался за руку матери, во все глаза смотрел, не узнавал деда. Бывшая сноха уводила взгляд в сторону, как кошка, съевшая воробья.

Приходили другие люди проститься. Постоять минуту возле гроба. Многих Туголуков знал, некоторых видел впервые. Все пожимали ему руку, прежде чем выйти. Соболезнуем. Крепись.

Среди прощающихся быстро промелькнул старик Мозговенко. Как будто приснился Георгию Ивановичу.

Однако сразу после проведенных девятин, когда все разошлись и с Георгием Ивановичем остался только Курочицкий, он неожиданно возник на пороге.

Он сидел перед ними на кухне и совершенно неузнаваемый тонко выкрикивал, плача:

– ...Нельзя, нельзя было эту дачу продавать! Нельзя! Проклята она, понимаете, проклята! В мае в ней умирает совершенно здоровый парень. Мы покупаем ее. Эту дачу. Через месяц умирает моя жена. Там же, в доме! Вы покупаете – умирает ваш отец. Через неделю! Нельзя ее было вам продавать! Я виноват во всем, я! Простите меня, простите!..

Мужчины напряженно сидели, не знали, как успокоить его. Как остановить его захлебывающийся, тонкий голос. Георгий Иванович бормотал: «Успокойтесь, успокойтесь, Федор Ильич». Налил ему рюмку водки: «Выпейте, Федор Ильич, выпейте! Помяните!»

Старик машинально выпил. Но снова заплакал. Бобовое лицо его больно наморщивалось.

Долго молчали, когда старик ушел.

– И все-таки в его словах что-то есть, – сказал Курочицкий. – Иван Георгиевич-то был здоровым. Насколько мне известно.

– Да нет, Ваня. Прибаливал в последнее время. А что на даче – просто так сошлось. Совпадение. Могло бы случиться где угодно. Инфаркт.

– И все же, Гора, избавься от этой дачи. Мой тебе совет.

Тараканьи заточенные усы Курочицкого подрагивали, взгляд блуждал.

Старик Мозговенко умер через несколько дней.

Когда вынесли из подъезда гроб, вдруг полетел отвесный дождь. Избиваемый хрустальными сосулинами открытый гроб спешно понесли, задвинули в автобус. В заднюю дверь. Люди разбегались, лезли в легковые машины. Мгновенно промокший, с обнаженной головой, Туголуков остался стоять у распахнутого подъезда. Колонна в пять-семь машин ползла вдоль дома, звездилась в дожде...

Олимпиада позвала обедать.

Глядя, как вяло ворочает в тарелке ложкой супруг, спросила:

– Что-то ты печальный сегодня. А?

– Да так, вспомнилось, Липа. Давнее...

Георгий Иванович, как мог, рассказал о смерти отца, о купленной даче на Примыкане.

– И что же с дачей? – спросила практичная жена.

– Не знаю. Больше не ездил туда. Незачем было...

– Значит, попросту бросил!

Жена смотрела на освещенную из окна голову мужа как на чудо природы. Как на фиолетовый репей.

20. Гробы из ёлки

Февраль 93-го прошел без метелей. Весь месяц стояли безветренные тихие дни. К обеду в небе засыпало седое солнце. В оснеженных деревьях кировского парка повисала белая туманящаяся тишина.

Георгий Иванович по-прежнему каждый день гулял в парке. Теперь по всегда прочищенной аллее. Ходить он стал гораздо лучше. Ногой почти не загребал, отталкивался ею как слегка сгибающейся упругой веткой. И «ластой» больше не хлопал себя по боку, пугая прохожих. Мог ею брать уже небольшие предметы. Разумеется – дома. Будильник, авторучку, стакан. В подхват вместе с левой рукой принимал от Олимпиады тарелки с супом. Мог самостоятельно поставить на газ кастрюлю с водой. Правда, неполную.

Писать буквы всё так же не очень получалось. Вместо верблюдов и жирафов, которые вылезали из-под пера первоначально, рука теперь городила в строке острые зубчатые заборы. Некоторые слова все же разобрать было можно.

К этому времени стал и говорить лучше. Почти без заикания, без жёва и спотыкачек. Однако на «Башкирии» наколачивать продолжал, используя теперь и правую руку в виде встопорщенного клювастого голубя, склевывающего изредка по одной буковке. Впрочем, мало надеялся, что Олимпиада будет читать теперь написанное им. Теперь, когда он заговорил. Однако Олимпиада читала. Внимательно читала оставленные в каретке листы:

«...Липа, сегодня (не поверишь!) после парка забрел в кинотеатр. В «Юбилейный». На дневной сеанс. Попал на американский современный фильм. Думал – ерунда какая-нибудь. Однако фильм потряс. Герой, средних лет американец, как выясняется потом, потерял работу. Начинается фильм с того, как он сидит в машине в бесконечной пробке. Потом не выдерживает, бросает свой автомобиль и идет сквозь ряды машин на обочину. Другие водители ему кричат: куда пошел? Почему бросил машину? Кто ее будет убирать с нашего пути? Он отвечает – я иду домой. Это лейтмотив всего фильма. «Я иду домой». Выясняется, что и дома у него уже нет. Он потерял и дом, и семью. Однако он идет домой. Он звонит бывшей жене: «Я иду домой. На день рождения дочери». Та грозит ему полицией. Тут всё и начинается. В магазине ему не разменивают доллар, чтобы он мог снова позвонить жене. Ему приходится взять из холодильника банку кока-колы. Банка оказывается слишком дорогой по цене – он не хочет платить. Продавец-кореец гонит его вон. Он возвращается: нет, я не уйду! Кореец выхватывает из-под кассы бейсбольную биту. Завязывается борьба. Бита оказывается в руках у героя. Он начинает крушить ею все в магазине. Дальше – больше. На пустыре, где он отдыхает, а заодно закладывает в проносившуюся туфлю свернутую газету, к нему подваливают два латиноса, требует заплатить за вторжение на их территорию. «Хорошо, говорит он, я заплачу». Выхватывает биту и лупцует обоих. (Латиносы катятся под горку.) Потом эти парни в отмщение расстреливают его на полном ходу из автомобиля (он остается без единой царапины, хотя кругом полегло немало людей). Когда сами латиносы переворачиваются с машиной – у него оказывается в руках целая сумка автоматического оружия. Он не убийца, нет, он просто идет домой. Он никого не трогает. Но при конфликтах – на поле для гольфа, через которое он идет домой и его не пропускают, в магазине, где он хочет купить добротные ботинки, а вместо этого попадает в логово фашистского придурка, в кафетерии, где вместо завтрака ему навяливают ланч, – везде ему приходится выхватывать это оружие. Компактные автоматы. Притом выхватывать как-то неожиданно для себя самого, мучительно. Как эксгибиционисту на людях мучительный свой член... Не буду дальше рассказывать. Там есть и другая линия: полицейский в годах, его молодая напарница и не совсем психически здоровая (после потери ребенка) жена. Из-за которой он раньше времени хочет уйти на пенсию и увезти ее куда-нибудь... Он на работе последний день... Обязательно свожу тебя на этот фильм. Фильм просто потрясающий. Возникают ассоциации и с теперешней нашей жизнью. Такое и у нас будет происходить. И уже происходит. Так что обязательно сходим вместе в «Юбилейный».

Ну уж нет! – передернулась Олимпиада. Сейчас, зимой, «Юбилейный» с закинувшимся стеклом на фасаде, казалось, сам кричал в небо о жутком холоде внутри себя.

– Ты зачем туда пошел? Насмерть простудиться? (Сама Олимпиада была с очередной, замазанной цинком простудой на губах.) Там же пар изо рта идет. В зале. Все сидят и только выпускают его к экрану, вместо того, чтобы смотреть фильм. А?

– Зато летом-то, в жару – какая там благодать, – блаженно вспоминал супруг.

– Это называется, Гора, – *зато у меня папа генерал*. Вспомни хотя бы, что со мной недавно было, прежде чем еще тебя туда понесет...

Олимпиада в конце концов доездилась в своих поездах – месяц назад, в середине января, простудилась.

В тот день был сильный мороз. Вокзальчик в Шемонаихе, как на грех, с неделю уже не отапливался. Кассирша в кассе, перевязанная шалями, казалось, сидела прямо на раскаленной электрической плитке. Иногда, чтобы разглядеть в зальце Олимпиаду, близко придвигалась к окошку: «Иди в клуб, в клуб, там тепло. Околеешь тут». Вместо того, чтобы запустить скрючившуюся от холода пассажирку к себе, опять липла к стеклу, расплющивая лицо как амебу: «Ну, где ты там?..»

Олимпиада в клуб к чертям на кулички не пошла. В поезде проводница Галина пыталась отогреть ее горячим чаем. Влила даже в подопечную сто граммов водки. Но не помогло. Олимпиаду бил сильный озноб. Стуча зубами, она смотрела в окно, где продолжением ее озноба летело напрочь промерзшее сельское кладбище, в крестах, будто в льдистых снежинках...

В довершение ко всему почти час еще ехала домой в ледяном трамвае...

Ночью было сорок. Мечущийся с горчичниками Горка казался Олимпиаде толстоголовым Фантомасом с черными прорезями вместо глаз. Из чувства самосохранения улыбалась ему...

Туголуков думал – воспаление легких. Утром участковая врач, прослушав заболевшую, немного успокоила: ОРЗ. Но форма тяжелая. Лежать два-три дня. Назначила таблетки и уколы. Сказала, что пришлет сестру. Георгий Иванович дергал ногу к аптекам. Дома отворачивался, не мог смотреть, как медсестра, садистски хлопнув белую большую ягодицу, с размаху втыкает в нее же длинную иглу... Помогал жене сесть для укола в вену. Похудевшее лицо жены горело как иконка.

Когда медсестра ушла, Олимпиада сказала мужу:

– Ну, Гора, теперь тебе придется быть на хозяйстве.

Вновь укладывалась на подушку, учащенно дыша, уже вся в поту от спадающей температуры.

Ночами Георгий Иванович почти не спал. Из комнаты отца слушал, как подолгу надсадно кашляет Липа. Когда приступ обрывался – вскидывался на локоть. Вслушивался в тяжелое, будто дырявое дыхание жены... Помимо воли думалось: ведь эта по виду здоровая, выносливая как лошадь женщина может однажды... просто умереть. Если будет и дальше ездить в идиотских своих поездах. Так же опять простудится и умрет...

Туголуков холодел. Поспешно садился.

В темноте вытирал полотенцем мокрое лицо больной, ее шею, грудь.

– Не сиди рядом, Гора, – срывались к потолку задыхающиеся прерывистые слова. – Заразишься.

– Не волнуйся. К шелудивому псу ничего уже не пристанет, – всё вытирал жену полотенцем муж.

Наливал из термоса и давал ей теплое питье, запаренное им из сушеной малины и смородины.

Долго удерживал в своих ладонях вздрагивающую засыпающую руку.

Больше в поездах Олимпиада не ездила.

Тогда же, во время болезни ее, когда *был на хозяйстве,* начал ходить в «Колос» *закрывать талоны.* И свои, и жены (с ее талонной книжкой и паспортом). Стал в этом деле большим докой.

Длинный торговый зал гастронома «Колос» бабенками бурлил в наступившие времена, как галушками. Ежедневно. Георгий Иванович однако, едва войдя, мгновенно определял – *куда*. Куда надо лезть, в какую очередь. Где уже *дают*, а где только *собираются давать*. Как хороший рыбак, с уловом возвращался всегда (Олимпиада не переставала удивляться!). То с килограммом муки, то с килограммом сахару, через неделю с пятнадцатью пачками папирос пришел («Зачем? Ты же не куришь теперь!» – «Сгодятся!»). То целых два килограмма пшена тащит. То уже две бутылки водки принес. Словом – пронырой стал, добытчиком.

Зная, что жена только обрадуется, как-то ближе к вечеру начал собираться к Курочицкому. К Ване. С бутылкой водки, с сеткой папирос для него же. Олимпиада потеплее одевала путешественника. «Про киоск, надеюсь, не забудешь спросить? Про мебельный комбинат?» – «Так для того и еду», – спускался по лестнице муж. В ушанке наглухо, с поднятым воротником пальто, шарфом завязанный как детсадовец.

Ехать нужно было на Стройплощадку, на улицу Гоголя, к комбинатским двухэтажным кирпичным домам, построенным еще в 50-е годы, где и жил Иван Иванович Курочицкий.

В автобусе сидел у окна. С бутылкой водки, завернутой в газету и засунутой в карман пальто, и сеткой папирос на коленях. Парок поднимался от незамерзающей Серебрянки. Река как будто потела. По берегам свисали высокие травленные изморозью деревья. Зимние черные горы в верховье реки походили на кучи угля, припорошенные снегом. Как ослепший апостол над ними висело, дымилось заходящее солнце.

От остановки шел еще с квартал. По всей улице Гоголя стояли сквозные, одичавшие пирамидальные тополя, так и не принявшие снега. Зато возле дома № 15, где жил Ваня, висела вся седая, как чеканка, береза.

– Зря ты это, Георгий Иванович, – принимая водку, сказал Курочицкий. Но увидев папиросы, обрадовался: – А вот за это – спасибо! Талонные-то неделю уже как искурил. Бычками своими только и перебиваюсь.

В нетерпении разминая *первую,* полноценную, тугую, сразу прошел к форточке в комнате.

– Банку дай, – сказал жене.

Катя вынесла литровую банку, набитую белыми мундштуками от искуренных папирос.

– На́ твою пепельницу, – сунула банку, как, по меньшей мере, банку с палками Коха. – Травись!

Затягиваясь, курильщик подмигивал гостю: строгая! Тонкие усы его, казалось, сладко струились. Вместе с дымом.

Пока Катя таскала еду, сидели перед бутылкой водки на столе как перед девкой на посиделках. Иван Иванович был уверен в себе вполне. Георгий Иванович сильно сомневался. Спиртного он не пил уже много месяцев. Да и можно ли ему теперь?

– Ну, ну, Гора! – уже наливал Иван Иванович. – От рюмки водки еще никто не умер.

Пришлось чокнуться с хозяевами, а потом разом махануть в себя водку.

– Закусывайте, закусывайте, Георгий Иванович! – подкладывала ему в тарелку Катя. – Картошечки вот горяченькой. А вот капустки.

Георгий Иванович не видел Екатерину Курочицкую два года. С тех пор как ее сократили из отдела кадров комбината, где она много лет проработала машинисткой. *Делопроизводителем*, как себя с гордостью тогда называла... Длинные, прежде красивые

волосы Кати стали какими-то толсто-никотинными. (Словно от курёшки мужа.) Их как будто навытягивали из всей ее головы. Как какие-то усталые жилы, жгуты.

В свою очередь, Екатерина Курочицкая не могла смотреть на гостя. На голову его, на лицо. Изменился Георгий Иванович до неузнаваемости. Череп. Обтянутый кожей. Череп с изросшим хохлацким чубом. С торчащим, как палец, правым глазом.

Только одного за этим столом жизнь, казалось, не смогла схватить за горло. Ваня Курочицкий закусывал, рассказывал байки, смеялся. На стене над ним висел его далекий молодой двойник: такой же веселый, без усов неузнаваемый, с волосами на голове как с толстой береткой. Молодая Катя рядом с ним была и тогда почему-то печальной.

После выпитой рюмки водки Георгий Иванович забыл для чего пришел – уже рассуждал. Как всегда отвлеченно, но и злободневно: «...Да разве будут они работать, Ваня? На производстве? Пахать? Возьми вон Болата Мукушева. Всю жизнь простоял в тулупе возле заборов комбината. *Я – стрелок военизированный охрана! Не шутка вам!* Да разве пойдет такой в цех? С врожденной осторожностью паразита он всегда откажется. Нашли дурака! Ему много не надо. Баран чтоб был. Бешбармак. Женщина. *Много балашка чтоб вокруг бегал.* Ну а для души – домбра и многочасовые побасенки под нее... А ты говоришь...»

Иван Иванович тоже не лишен был отвлеченных рассуждений. Хотя окончил в свое время всего лишь технический вуз. И никаких институтов марксизма-ленинизма, как Гора Туголуков: «...Гора, дорогой, все эти тюркские «хазыр – казыр», «йок – жок», все их отличия – от несовершенства ушной раковины человека, от недоразвитости ее. Слух плохой у людей, слух. Ведь как было: бегали эти племена по степи, воевали, и вот, бывало, наткнутся друг на дружку, выглядывают на отдалении через поле, боятся, но копьями помахивают, кричат: «А вот мы на вас *хазыр* (то есть *сейчас*) нападем. Берегитесь!» А другие не слышат толком, далеко, прикладывают руку к уху: «Чего вы там сказали? *Казыр?* Так мы казыр сами на вас нападем. Берегитесь!» Но первые не унимаются, упрямятся: «Йок (нет) – мы нападем, мы первые вам кричали!» А вторые не уступают первым, не сдаются: «*Жок* (нет) – мы первые!» Ну а потом с полного перепуга – свалка начинается. А уж там какая лингвистика? Вот так все эти «жоки-йоки» и «казыр-хазыр» и образовались. А язык один у них всех. Всё от драк получилось да плохих ушей. Впрочем, и у славян так же. Тоже через поле орали да толком друг друга не слышали. «Ты козел!» – «Чё, чё ты сказал? *Казл*? А ну повтори!»

– А как же «калидор»? Или – «бескомфорт»? – не сдавался Туголуков. Или: «Я не пойду с вами на *кантрамис*»? (Сизов из пятого цеха без конца на «кантрамис» не шел. Помнишь?) Я уж не говорю о всяких деревенских *бренговать, чуйствовать*... Это тоже от плохого слуха человека? Нет, Ваня. Люди любят переиначивать слова. На свой лад, под свою колодку. Так им ндравится. И всё тут! Особенно в деревне. Один сначала скажет что-нибудь этакое хитрое для затравки и ждет, что будет. А другой тут же радостно и подхватит: *Апальсины*, братцы, в *магáзине* дают! А также *маргарины*!..

Катя, казалось, не слушала словесную чепуху мужчин. Сидела с напряженными вздернутыми глазами белки, которую остановили в колесе.

Когда она вставала и уходила в кухню, муж тихо говорил другу:

– А вообще, Гора, плохо дело. Везде плохо. Комбинат по-прежнему стоит. В цехах оставили по одному начальнику и по пятку рабочих. Работаем один, много два дня в неделю. Денег не видели уже семь месяцев. Мне через год на пенсию, а с каких шишов ее начислят? Сам видишь, как живем. Хлеб да картошка. Ладно хоть сын немного помогает. Катя вяжет какие-то детские пинетки, слюнявчики. Потом продает их. Раскладывает на ящике возле трамвайных остановок. Милиция гоняет. Позор!..

Возвращалась в комнату Катя. С чайником и с талонным дешевым печеньем в плетенке. Муж сразу бодрым голосом продолжал как бы прерванное:

– ...Так вот, Георгий Иванович, я переговорил с Алексеевым. Мебельный комбинат сейчас перешел на гробы. Из ёлки. Но временно. Думаю, весной, когда придет нормальное сырье, погонят и столярку. Так и передай Липе. Тогда сразу и закажем киоск...

От Курочицких Георгий Иванович вышел в восемь вечера. С банкой домашнего лечо в сетке – отбиться от Кати просто не смог.

Ждал автобус на пустой остановке. Как будто с протянутой рукой сопел над ним астматик-фонарь. Однако дерево рядом на всю высоту было в снегу, словно в седых новогодних игрушках.

Туголуков отходил к синеющим неподалеку кустам и вновь возвращался к оснеженному дереву и фонарю. Автобуса не было.

Из-за угла медленно выехало такси. Туголуков сразу отступил с поребрика к фонарю, как к другу, объединился с ним. Дескать, жду автобус. Но одноглазый разбойник подкрадывался. Остановился напротив. Отрабатывал на месте. Ждал, когда клиент созреет. (Туголуков безразлично крутил по сторонам головой.) Упав на сидении, таксист распахнул дверцу. Как осклабился – прошу! А, черт тебя! – Туголуков полез в кабину.

Зубастый счетчик щелкал громко, резко. Сразу через четыре цифры, подлец, бил. И таксист, и Туголуков косились на него. Водила с теплотой, Георгий Иванович с немым возмущением. Мягко переключая скорость, умелец уводил от Туголукова улыбающееся лицо к своему окну.

На Дворце спорта поехала бегущая строка: КУПИМ МУДАКА. ДОРОГО. Побежали навстречу с радужными усами фонари моста через Серебрянку. Туголуков косился на счетчик и словно пересчитывал фонари. Приказал остановить машину. «Нельзя! – коротко сказали ему. – За мостом!»

За мостом Туголуков сунул деньги. Таксист будто на ощупь мгновенно просчитал рубли и монетки. Прозвучала добродушнейшая знойная сипата в кабине: «Ну, хозяин! Мало!» Посмотрели на счетчик. Счетчик с готовностью ударил. Опять через четыре.

Заперев дых, Туголуков начал рыться в левом кармане пальто. Потом, откинув полу – в левом кармане брюк. Сунул еще две белые монетки. Последние. С банкой в сетке, как с килой, с шумом полез из машины.

– Ну что, узнал? – сразу же спросила жена, едва переступил порог.

Вместо ответа, подал ей сетку с банкой:

– На-ка вот. От Кати.

– Про киоск, я спрашиваю, узнал? – не отставали от него.

Туголуков снимал шапку, пальто.

– Гробы сейчас гонят.

– Какие гробы? Кто? Где?

– На комбинате, Липа. На мебельном. Из ёлки гонят, – разматывал шарф Георгий Иванович. – Самый ходовой товар это, оказывается, сейчас. Дефицит.

Олимпиада так и села. Женщина, казалось, не вмещала услышанного в голову.

– В какое время мы живем, Гора! Где?!..

На другой день с утра в тридцатиградусный мороз Олимпиада поехала к Приленской под Дом печати, чтобы рассказать о поездке Георгия Ивановича к Курочицкому.

Услышав *про гробы из ёлки*, сдержанная Надежда почти словами Олимпиады с ужасом прошептала:

– Куда мы катимся, Липа!

Как по команде женщины повернулись к забытому Коле Приленскому.

Маленький Коля в великом халате уже прибрал всё на стеллажах после утреннего

аврала. За столиком в углу сидел над раскрытым учебником и тетрадкой. До поездки с матерью и шофером Зайцевым на почту ему нужно успеть решить задачку по физике...

Точно подстёгнутые этой картиной (картиной *Мальчишка без детства*), женщины начали сразу горячиться, спорить. Приленская доказывала, что только с установкой своего киоска у них что-то сдвинется к лучшему. Причем ставить его надо не где попало (на Кирова или там на Космической), а только у Дворца спорта. Напротив, через развязку дорог. У остановок. И трамвайных, и автобусных. Там тысячи людей проходят за день. Тысячи! А стоит только один комок с водкой и сигаретами. Ведь самое бойкое место там, Липа! Во всем городе! Я уже почти договорилась с кем надо. Взятку двум начальникам дала. Дело за малым. За самим киоском. А вы всё тянете, вы всё взвешиваете, вы всё заказываете!

Олимпиада соглашалась с подругой: тянуть действительно уже нельзя. Но говорила, что не может постоянно давить на Горку. Он уже потерял один раз деньги. И уж тем более не может ходить, надоедать, приказывать Курочицкому. Ну а место напротив Дворца спорта? Так мы думаем с Горкой, что на Кирова, возле парка, будет еще лучше. Там все идут на базар и с базара...

– Да дураки вы с Горкой! Просто дураки! – сорвалось лишнее у Приленской. Глаза некрасивой, измочаленной жизнью женщины мучились, не находили выхода. Господи, да разве б связалась она с дураками, если бы были у нее деньги!

Олимпиада молча начала одеваться. Не попрощавшись, вышла.

Разгоряченная, с пылающими щеками шла домой пешком. На ней была кроличья, уже облезающая дошка и клетчатый теплый, завязанный по-деревенски платок.

На улице всё так же стоял морозный туман. Мутное солнце дымилось в облачке будто плавка в черном ковше. На деревьях, как в недвижном лесу, повис словно остановленный кем-то снег.

Последние слова Приленской обижали, жгли. Думала о подруге нехорошо. На чужом горбу хочет въехать в рай. Господи, ну что еще говорить Горке, чтобы сдвинулось что-то с этим чертовым киоском!

Машины у светофора теснились, густо сопели морозом. Показалось впереди несуразное здание автовокзала. В виде каких-то бетонных катакомб провалившееся ниже улицы словно бы в овраг.

Остановившись, стояла над ним и всё думала об одном и том же. С выбившимися из-под платка волосами, заиндевевшая и потусторонняя, как седой медальон.

На здании щелкали не выключенные с ночи буквы: Авт... вокзл... Авт... вокзл...

По какому-то наитию торопливо стала спускаться по широкой бетонной лестнице к зданию.

Походила по привокзальной площади вдоль очередей с багажом. Точно пересчитывала и их, и автобусы, к которым они стояли.

Зашла в вокзал.

Через несколько минут Олимпиада выбежала из автовокзала. На трамвае помчалась к Приленской обратно. В подвальную комнату ворвалась, запыхавшись, как гонец с радостной вестью:

– Надя! «Союзпечати» на автовокзале больше нет. Понимаешь? Киоск исчез. Там остался только сувенирный со всякой чепухой. Понимаешь, что это значит?..

Хмурая Приленская сразу сказала:

– Полякову, наверное, перевели куда-то. В другое место. А может, и просто сократили. Невыгодно там стало держать киоск, скорей всего. В «Союзпечати» тоже начали деньги считать.

– Ну а если мне там попробовать? Пока у нас нет киоска? Одной? А, Надя? – с надеждой смотрела на подругу Олимпиада.

Приленская всё хмурилась.

– Вряд ли там что-нибудь получится. Люди там не те. Село, беднота. Поэтому «Союзпечать» и ушла.

И опять как в споре недавнем задолбила:

– Свой нам надо киоск пробивать. Свой, Липа! Не там ты бегаешь, не там ищешь!

Но Олимпиада, казалось, уже не слышала слов подруги. Олимпиада снова, как и с железной дорогой было, – загорелась.

На другой день с газетами на столике она стояла в здании автовокзала прямо у входных дверей, потихоньку приплясывая, постукивая зимними ботинками. С улицы, словно из бани в предбанник, шибал пар. Две двери хлопались постоянно. Люди шли и шли. Однако мимо газет. Никто не останавливался возле столика. Олимпиада всё постукивала ботинками, как кувалдочками с черными рукоятями. Не теряла надежды. Надо завтра только теплые брюки надеть.

Многие проходили сразу к фанерным гнутым рядам, садились, пододвигали к ногам нехитрый свой багаж: сумку ли, чемодан или рюкзак. Маленькие дети не бегали по залу – тепло одетые, этакими тихими кулечкам сидели рядом с родителями, освободившись только от варежек на резинках.

Каждые час-два в зал выходила уборщица с ведром и тряпкой на длинной палке. Тощая казашка лет пятидесяти. С маленьким серым лицом, похожая на алюминиевую поварешку. Начинала возить тряпку меж фанерных рядов. С готовностью китайских болванчиков люди задирали ножки и поджимали ручки. Уборщица возила тряпкой, казалось, не видела никого.

Часов в пять, в очередной ее выход с ведром и тряпкой, Олимпиада решилась подойти к ней.

Казашка, казалось, не понимала, о чем ее просит эта русская женщина в обдерганной заячьей дохе. Алюминиевое лицо ее, как Коран письменами, было испещрено мельчайшими морщинками.

– ...Я вам буду немного платить. Понимаете? Буду платить! – как глухонемой втолковывала Олимпиада, показывая на свой столик у выхода из вокзала.

– Не кричите. Я не глухая, – сказала вдруг казашка на чистейшем русском языке, запустив тряпку на палке в ведро с грязной водой. – Оставляйте. И столик, и газеты. Но учтите, я работаю только до шести.

Олимпиада с радостью побежала к газетам, чтобы быстренько собрать все, пока казашка домывает пол, а уж потом пойти за ней в служебную дверь, за которой у нее наверняка есть свой маленький закуток.

Селяне, конечно, ничего у Олимпиады не покупали, а вот некоторые городские жители любили по старой привычке развернуть свежую газету, ожидая своего автобуса, к примеру, на Красноярск или Новосибирск. Да и в дорогу брали с собой что-нибудь. Или почитать, или поломать голову над кроссвордами.

Олимпиада вечерами стала приносить домой немного денег. До киоска хоть какое-то подспорье, объясняла она свои походы на автовокзал хмурящемуся Туголукову. «Не сердись, Гора. Тут недалеко ходить. Да и одеваюсь я тепло. А самое главное, никто не знает, что там закрылся киоск “Союзпечати”».

Однако лафа закончилась через неделю. В понедельник, едва Олимпиада на привычном месте (у входа) разложила свои газеты, как с клубами мороза вошла в вокзал конкурентка Кунакова.

В красивом зимнем пальто, в песцовой шапке, с раскрашенным мертвым своим лицом начала расставлять газетный столик. *Опять напротив...*

– Извини, Липа. У «Колоса», сама знаешь, холодно сейчас стоять, а в трамваях пальто уже всё ободрали.

Для наглядности она пальчиками взбодрила пушистый песцовый воротник. Затем продолжила дальше выкладывать на столик газеты из сумки.

Олимпиада готова была взвыть от досады. Кинуться на конкурентку.

– Ну чего ты вяжешься ко мне? Выследила, да? Мало тебе места в городе? (Конкурентка всё раскладывала газеты.) Встань хотя бы подальше. Вон там... – Олимпиада показала в сторону небольшого железного рядка с автоматическими ячейками для багажа.

Кунакова посмотрела.

– Нет, Липа, *нам* тут будет лучше. Тут рядом дверь. Люди постоянно выходят и заходят. Мимо нас не пройдут...

Олимпиада затосковала. Убить что ли эту накрашенную куклу?

Простояли весь день отчужденно. Как будто не знали друг дружку. У Кунаковой изредка покупали. У Олимпиады – нет. Как у мужика, у нее белели скулы, катались желваки: у, прохиндейка! Олимпиада видела, что покупатели выбирают Кунакову из-за молодости ее. Из-за свежести ее лица. Из-за того, что она хорошо одета. И сама Олимпиада в задрипанной своей дошке и деревенском платке жестоко ей проигрывает... Но не хотела себе в этом признаться. У, нахальная!

Дома вечером, едва переступив порог, она сразу заплакала: «Господи, Горка, ведь я была готова ее сегодня убить! Понимаешь! Убить! (“Где? Кого? За что?” – метался Туголуков, раздевал упавшую на стул женщину.) Ведь я кралась за ней! Я хотела догнать ее и сбросить с моста! Понимаешь! Хотела! Вот уже до чего я дошла!» Слезы текли по щекам женщины горячие, красные. Женщина, словно не перенося их жара, освобождаясь от них, зажмуривалась, мотала головой.

– Успокойся, дорогая, успокойся! – Туголуков, как больную, повел ее в комнату, к тахте. – Приляг, дорогая, приляг.

Не раздеваясь до конца, в зимних теплых штанах Олимпиада свалилась на бок на кушетку, подтянула коленки к животу. Ее трясло как при простуде, зубы стучали, а она всё говорила и говорила как в бреду: «Казашка. Горка! С высшим образованием. Филолог. Моет полы в автовокзале. Господи, Горка, что творится! Мы гибнем, просто гибнем. Таня Тысячная сидит без работы. Платить нам за квартиру не может. Пенсий мы с тобой уже четвертый месяц не видим. Денег на еду нет. Я уже таскаю из отложенных на киоск. А проклятый киоск и не светит. О, Господи!..»

Туголуков суетился, накрывал, подтыкал ей одеяло, но она... вдруг уснула. Внезапно, обморочно. Как бывает у женщин после истерик. Туголуков смотрел на свернувшуюся и всхлипывающую во сне женщину.

И опять как последний паразит, со страхом ощущал только одно, что жизнь его с этой крупной женщиной, свернувшейся сейчас под одеялом... зыбка, ненадежна. Что не выдержит она всех теперешних бед, всех испытаний, что погибнет. А вместе с ней сразу погибнет и он, Туголуков.

Он принялся снова накрывать ее одеялом, другим, более теплым. Подтыкал опять со всех сторон.

Ночью он любил ее. Как прятался в ней. Как спасался.

21. Гостиница в центре города

Поздно вечером «хонда» подлетела к площадке для машин возле гостиницы. Коротко игранула сигналом. В одном пиджаке на мороз выскочил из будки сторож Клямкин, отомкнул на заградительном тросу замок и вытянулся как солдат, пропуская машину на ее персональное место.

– Здравствуйте, Виктор Степанович! – Клямкин кланялся Фантызину, запахивая пиджачок с уже поднятым воротком. Седая голова его в полутьме казалось оловянной. Преданно не уходил, докладывал, кто сегодня приезжал в гостиницу. Кто еще там до сих пор, а кто уже уехал. Фантызин внимательно слушал. Песцовая шапка его была огромна. Лица в ней почти не было видно.

– ...Алевтина Егоровна еще у себя, – мерз, не унимался Клямкин. – Всё работает, бедная. Ждет, наверное, вас, Виктор Степанович, – подхалимство к хозяевам, и очным, и заочным, так и перло из Клямкина. Фантызин (хозяин очный) дал ему купюру.

Никак не привыкнув к купленной гостинице, стоял у подножия ее и смотрел, сунув руки в карманы дубленки и покачиваясь с пятки на носок. В сердце его, как говорят у казахов, играли радуги.

Высоченное здание стояло сейчас словно тихий мерцающий вечер. Однако длинное крыло его, где расположились ресторан и казино, – в ночи сияло: над казино разноцветно играла сдернутая у Лас-Вегаса вывеска – STAVER.

Луна как будто охраняла здание. Сидела в облаке. Как улыбающаяся мамка в красной пене ванной. И это в такой мороз! И-ииихх!

Фантызин взбежал по ступенькам.

Пушистую огромную шапку Виктора Степановича гардеробщик понес с восторгом, на вытянутых руках. Как стужу. Уплыла следом разом взятая на плечики и дубленка Виктора Степановича. (В отличие от тщедушного Клямкина, этот подхалим был крупным, глыбастым, можно сказать, племенным. После исполненного номера упер руки в стойку, как сваи.)

Фантызин посмотрел на себя в зеркале, поправил бабочку на белой груди, нежно мазнул рукой по лысинке.

Проходя к сквозящей бетонной лестнице, поздоровался с включенной, матово светящейся Дудиной, администратором. На втором этаже горничные с пылесосами застенчиво стаивали на стороны.

У Алевтины Егоровны находилась бухгалтер Мужчиль. Хмурая, одетая в черный короткий чехол, из которого торчали тонкие бледные руки, тонкие ноги в чулках и круглое бескровное лицо. Сняв со стола подписанную ведомость, Мужчиль пошла к двери. От Фантызина шагнула в сторону, как от черного кота. Фантызин скривился. Однако взял себя в руки, подлетел к столу:

– Добрый вечер, Алевтина Егоровна!

Хотел поцеловать ручку, но видя, что женщина сердито прячет ее за спину, не решился.

– Как много вы работаете! Алевтина Егоровна! – заливался соловьем. – Разве можно так не щадить себя!..

Женщина хмурилась. Коровьи, в линяющих пятнах губы ее, точно сами по себе жевали. Прервала, наконец, соловья:

– Хватит! Довольно!.. Ты вот что скажи, друг разлюбезный: почему ты крысятничать начал? – подняла тяжелый взгляд на компаньона.

– Да вы что, Алевтина Егоровна!

– На, смотри! – Пенкина двинула бумагу. – По-твоему стриптиз-бару за этот месяц... Галина посчитала. (Мужчиль.)

Фантызин впился в цифры. С ужасом мотал головой, «не веря».

– Не может быть, Алевтина Егоровна! Тут явная ошибка. Вот-вот – смотрите! Вот здесь!

Пенкина отстраняла *лезущую* бумагу.

– Довольно, я сказала!.. Ты что, хочешь чтобы Семен Никандрович об этом узнал? Смотри. Полетишь – рук-ног не соберешь.

Женщина поднялась, начала убирать все в ящики стола. Фантызин метался, говорил без остановки, честные выкатывал глаза.

Пенкина достала из-под папки в ящике пачку денег в банковской упаковке.

– На. Утром завезешь Семену Никандровичу.

Спуститься по лестнице со второго этажа на первый Алевтина Егоровна не захотела. Фантызин давнул кнопку лифта. В ящике ухнули на первый этаж, жестко ударившись. Да так, что Пенкина оказалась в объятьях. Вывалились в вестибюль тесно слившись. Пенкина ругалась, кричала на подбежавшую Дудину:

– Чтобы завтра же лифт наладили! Слышишь! (Дудина кивала, деликатно отступала к стойке, кланялась.)

Муж спокойно стоял возле гардероба, спокойно смотрел, как Фантызин и гардеробщик обряжают его жену в богатую шубу из норки. Спокойно жевал жвачку. Поигрывал ключами от машины.

– Подожди, Коля, – сказала ему жена. Отвела Фантызина в сторону, тихо давала указания: – Сегодня после двенадцати будет Талибергенов и его компания. Любители русского мясца. После казино полезут в твой стриптиз-бар. Скажи Кузнецовой, чтобы накрыла там в отдельном кабинете. Приведешь к ним Машу и Розу. В общем, всё организуй. Но к самой Кузнецовой в ресторан – ни ногой! Слышишь! У себя подъедай. В стриптиз-баре. Или у друга своего, наркомана. В «Тахами». Понял? – женщина вдруг прищурилась: – Вообще, Фантызин, ты – больной?..

– Больной, Алевтина Егоровна, больной. Ха-ха-ха! – с готовностью закатился лысый мужичонка. Прямо умрет сейчас от смеху.

Женщина смотрела. Крупное коровье лицо ее брезгливо морщилось...

...При дележке сфер влияния в купленной гостинице Фантызину достался... буфет. Сама Пенкина *села* в гостиничную коробку, ее двоюродная сестра Кузнецова в ресторан, а Фантызин оказался в буфете. На первом этаже. Это несказанно его обидело. Он даже хотел пожаловаться Семену Никандровичу. Тетерятникову. Однако Семен Никандрович ни разу не пришел в гостиницу. Он словно бы даже не участвовал в покупке ее. В гостинице он только как бы негласно присутствовал. В кабинете Пенкиной. Спрятавшись за портрет Елбасы над ее головой. Изредка только выглядывая из-за него и подмигивая. Эдаким ангелом-хранителем.

Несколько дней Фантызин сумрачно ходил по буфету, наблюдая, как командировочные любовно выскребают ложечками из стаканов сметану. И его осенило: *бар*! Притом *бар со стриптизом*! *Стриптиз-бар*! Первый, единственный в городе! Фантызин бросился на второй этаж, к Алевтине Егоровне...

Всё это было два месяца назад. Сейчас, проводив Алевтину Егоровну с мужем до выхода, пожелав им спокойной ночи, Виктор Степанович вернулся к зеркалу, еще раз тщательно оглядел всего себя. Одернул строгий черный пиджак. Выдвинул из рукавов пиджака белейшие обшлага рубашки, украшенные красивыми запонками. Поправил еще раз бабочку. Только после этого стал спускаться по лестнице к стеклянной, занавешенной изнутри двери. Лампасовый Михалыч вскочил со стула, распахнул ее перед ним.

Стриптиз-бар гудел вовсю. Довольно вместительный, как всегда, был битком. (Не то что у Кузнецовой в ресторане!) Фантызин с гордостью оглядывал просторную сцену и богатейший, слезящийся стеклом алтарь у левой стены зала, с самодовольным, болтающим шейкерами барменом. И всё это было организовано им, Фантызиным.

Он даже приглашал из России модного дизайнера. (Денег заплатил уйму!) И зачуханный зал буфета преобразился.

Яркий свет дизайнером был оставлен только над сценой, для вихляющихся на шестах девок. Сам зал, задрапировав стены материалом, он интимно притемнил. На всех

столиках теперь включены были лампы под гофрированными колпаками. Лица зрителей горели от этого карминно стойко, были довольными, приобщенными. И к спиртному на столе, и к представлению на сцене. Получая заказы, официантки уплывали и таяли как тени. Даже шторы на окнах висели теперь по-новому. Как вислопузые монахи, подглядывающие в вертеп. Хорошо поработал дизайнер. Просто отлично!

Фантызин всё смотрел на сотворенное им, Фантызиным. Шесты для стриптизерш торчали до потолка. Да бери выше – до неба! Две равнодушные девки на них сейчас выламывались по-всякому. Одна как струбцина тощая, другая с грудью и бедрами тяжелыми. Их взбадривали шлягером из угла сцены три лабуха. Самодовольный клавишник стоял за клавишными, как за станком ткач. Второй, длинный, да еще с бесконечной басовой гитарой на́ сторону – смахивал на мотающийся под ветром семафор. И третий, саксофонист, постоянно подбегал к стриптизершам, пригибался и угрожающе болтал саксофоном.

Фантызин был доволен. Взял бокал с ближайшего стола. Хорошо отпил. «Жажда. Извините». Поставил на место. У посетителя глаза полезли на лоб. Толкнул соседа. Но тот во все глаза смотрел на сцену. Где одна из стриптизерш в это время повернулась спиной и выгнула себя. В эдакую соблазнительнейшую коряжку. Правда, ненадолго. Эх-х.

Часа в два ночи явился большой, как верблюд, Талибергенов с тремя собратьями помельче. После выигрыша в казино, расположенный, довольный. Хорошо похлопался с Фантызиным. (Фантызин начал икать.) Потом четыре казаха постояли какое-то время, любуясь стриптизершами. И Фантызин провел их в отдельный кабинет, где Кузнецова самолично уже разлаживала на столе чистую скатерть. «Ате жан! (Очень хорошо.) Ате жан!» – потирали руки гости.

Через час Фантызин привел Машу и Розу. Перед тем как запустить в кабинет, дал Маше ключ от 915-го номера. «Позвонишь мне вниз, когда уйдут. Давайте, девочки!» Фантызин открыл дверь. По-деловому пританцовывая, вихляясь, Маша и Роза *пошли на сцену*. Их встретил восторженный рёв *зрительного зала*.

Под утро в 915-м Фантызин быстро подъедал. Растерзанная еда была на тарелках повсюду. На низком столике, на тумбочке, на подоконнике. Давился, запивал всё марочным вином.

Маша, опершись на локти, ждала на кровати. В своей школьной форме дылды-ученицы. Курила, стряхивая пепел в блюдечко.

Фантызин подбежал.

Двумя пальцами, средним и указательным, Маша помотала ему уже распакованным ею резиновым атрибутом. Как большой монетой. Как американским долларом.

Через минуту Маша вдавила папиросу в блюдечко, опустила одну ногу на пол, поднялась с кровати. Вернула на место сбитый пояс с чулками. Оправила платьице, потом белый в кружевах фартук.

Фантызин лежал растерзанный, зажмурившийся. Маша смотрела. «Встань, закройся!» Фантызин не шевельнулся. Маша бросила ключ на столик, выключила свет и вышла из номера.

Фантызина мучил кошмар. В кошмаре том Тетерятников со своими удивительными улыбчивыми бровями (бровями как сладкие сабли) – был неузнаваем за своим столом, страшен. Брови казались на нем чужими, наклеенными на его разгневанное лицо!

– Ты когда перестанешь крысятничать, гаденыш?! Когда?! Мало ты имеешь, гад?! Мало?!..

Фантызин захлебывался слезами в лифте на груди у Алевтины Егоровны. «За что он меня так, за что?!» Алевтина по-матерински гладила его трясущуюся лысую голову. «Он

суровый, суровый! Стукнет кулаком по столу – и прощайте, гуси-лебеди!» Лифт жестко ударился о первый этаж... Потом Фантызин гонялся за Алевтиной Егоровной. Алевтина Егоровна взмахивала ожемчуженными крыльями, подлетала, а он подпрыгивал, хватался за ее ногу и падал вниз...

Проснулся без пятнадцати девять. Торопливо приводил себя в порядок. Быстро умывался в ванночке при номере. За спиной бесшумно ходили, убирали разгром тихие горничные.

В вестибюле уже распоряжалась, строила всех сменщица Дудиной Стеклова. С взбитой прической, как рыскающая судейская яхта со вздутым парусом.

– Привет! – крикнул ей Фантызин, скатываясь по ступенькам к выходу, теряя и подхватывая свою громаднейшую шапку и дубленку. – До вечера! – мотнулись на прощанье стеклянные две створки двери.

А в вестибюль уже тянулись командировочные. Все с чемоданами, будто с уставшими своими хвостами.

Под высоким портретом Елбасы, за столом, писал мужчина с полёгшими, как осенняя сурепка, волосами на голове.

Фантызин положил на стекло стола пачку денег. Двумя пальцами вкусно подвинул.

Как Наполеон не прерывая письма левой рукой, правой Тетерятников повел по стеклу пачку. И вел до тех пор, пока она сама не свалилась в ящик стола.

– Что передать Алевтине Егоровне, Семен Никандрович? – причастно склонившись, тихо спросил Фантызин.

– Ничего, – не поднял глаз начальник, продолжая писать.

Он был очень серьезен за столом. А удивительные, сладкие брови его сейчас опять улыбались.

Фантызин залюбовался.

– Ну, чего стал?.. – поднял глаза Тетерятников.

Фантызин на цыпочках пошел к двери.

В приемной к нему бросился Болеслав Бувайло. С лицом растерянной вспотевшей рынды:

– Ну, как он сегодня? Грузок! Скажи!

– Работает, – серьезно сказал Фантызин.

22. Киоск

11-го апреля, в понедельник, Олимпиада и Надежда Приленская часов с десяти маялись на автобусной остановке напротив Дворца спорта. Был с ними и сын Надежды, маленький Коля. Ходили все трое вдоль останавливающихся автобусов, сторонились бегающих, мгновенно дуреющих пассажиров, которые с сумками и сетками судорожно залезали в отходящий, – *последний свой* автобус. Апрельский день был по-весеннему свеж, с ветерком, но предобеденное солнце уже припекало.

Коля все время убегал к началу улицы. К началу Коммунистической. Высматривал меж приближающихся автобусов и машин большеколесный трактор «Кировец». К примеру, серии 9000, с прицепом, на котором наверняка и приедет киоск.

Возвращался к матери и тете Липе:

– Пока не видно.

Чуть погодя снова убегал.

Женщины уже сидели в тени крытой остановки.

– Неужели с сегодняшнего дня у нас может всё измениться? – голос Олимпиады дрожал, она сдерживала слезы. – А, Надя?

– Увидим, – верная себе, сдержанно ответила Приленская.

Коля прибежал:

– Мама, тетя Липа! Едут! КамАЗ-5320! Седельный тягач с открытым полуприцепом! Полуприцеп 12 метров! – звонко выдавал свои знания техники пятиклассник Коля Приленский. – На прицепе – киоск!

Женщины сорвались, побежали за Колей, чуть не сшибая ждущих автобусы пассажиров.

В чумазой кабине Олимпиада совсем не узнала своего Горку. Каким-то бледным курчонком в кепке болтался он между толстым казахом-шофером и усатым Курочицким. «Камаз» проехал мимо женщин и мальчишки, обогнул все автобусы на остановке, перевалил себя на тротуар и, рыча, выпуская много дыма, потащил за собой прицеп с высокими бортами, за которыми и покачивался киоск.

Женщины и мальчишка подбежали к остановившейся жарко дышащей железной громадине. Спрыгнул на тротуар Курочицкий, поймал Георгия Ивановича, у которого слетела кепка. Георгий Иванович нагибался, царапая в стороне ногой, пытаясь поднять кепку, но Олимпиада уже схватила, надела ему на голову.

Как по команде все встали вдоль высокого борта, не спуская глаз с киоска. Коля хотел запрыгнуть на борт, но мама не дала.

– Вот, дождались, – вытирался платком Георгий Иванович. – Липа! Надя! Смотрите! Любуйтесь! Красавец!

Киоск и в самом деле был хорош. Набранный из лиственной вагонки благородного, светло-коричневого цвета. Однако за высокими бортами прицепа казался надменным и даже недоступным.

И как же снимать его оттуда? Кран, сразу пояснил Курочицкий, автокран. Сейчас придет. Коля тут же полетел на наблюдательный пункт.

Приленская уже ходила и определяла – куда ставить. Сверялась с планом в папке. К ней присоединилась Олимпиада. И они сразу заспорили. В плане киоск должен стоять ровно в пятидесяти трех метрах от серебрянского моста и десяти от конца остановки. Да кто же это будет намерять, Надя? – горячилась Олимпиада. Еще как намерят! – парировала Надежда.

Курочицкий кивнул на женщин:

– Как они будут работать вместе, Гора?

– Да пусть их! – беспечно рассмеялся Туголуков. – Бабы, Ваня!

Прибежал Коля. Запыхался:

– Идет! Автокран «Челябинец»! КС-45721! На шасси «КамАЗ»! Дядя Ваня, дядя Гора!

Мужчины удивились знаниям мальчишки. Потрепали его по голове.

Громаднейшая длинная, высокая железная дура перевалилась на тротуар, подъехала. Пока метались по площадке, спорили (уже все), куда ставить киоск, такелажники быстро подцепили, крановщик подергал в кабинке рычажки, и киоск поплыл в небо, поворачиваясь всеми сторонами. Уравновесившись, опустился и мягко встал на место. Как будто всю жизнь здесь стоял – недалеко от остановки, напротив Дворца спорта.

Курочицкий расплачивался с шоферами, а остальные опять немо стояли перед киоском. Уже вроде бы другим киоском – маленьким, стоящим на круглых двух полозьях (для зимы), закрытым глухой ставней, как будто слепым.

Машины уехали. Курочицкий открыл дверь киоска длинным ключом. Все почему-то не решались лезть в темное нутро. Курочицкий один поколдовал в киоске, выскочил наружу, снял ставню.

– Прошу!

Через полчаса, как после необычайно понравившегося всем фильма, возбужденно шли по мосту через Серебрянку. Две женщины, двое мужчин и мальчишка. Не умолкая,

обсуждали «фильм». Запах! Какой запах внутри киоска! А полки! Целых восемь штук! Столик! Какие красивые стены! Потолок! Нужно покрасить всё! Ни в коем случае! Оставим природный цвет! Светло-коричневый! Вагонка лиственная! Никогда не сгниет! Ни сырости, ни плесени! Ни грибка не будет! Только покрыть немного лачком! И внутри, и снаружи!..

Шли на Краснооктябрьскую, в дом Туголукова. Шли отметить радостное событие.

По мосту ползли машины. Словно вне чада их, на противоположном берегу висела апрельская березка – как зеленоватый разреженный воздух, оставленный кем-то на бугорке.

12-го апреля с утра Фантызин помчался к Болеславу на базу номер четыре. По указанию Тетерятникова. Уже пролетел серебрянский мост – и ударил по тормозам, вихляясь из стороны в сторону... На противоположной стороне улицы, перед автобусной остановкой, две женщины и мужчина красили новый киоск; бегал среди них какой-то мальчишка в дутых светлых штанах с карманами и лямками... «Хонда» стояла почти поперек дороги, проносящиеся машины ревели, а Фантызин не мог двинуться с места, вцепившись в руль...

Кланечка бегала по кухне, напевала свою любимую: *В лунном сиянии снег серебрится, Вдоль по дороге троечка мчи-ится.* На плите кипели щи со свежей убоинкой. Щи для Витеньки. Щи с говяжьей лыточкой. *Динь-динь-динь! Колокольчик звенит.* Витенька очень любит обгладывать косточку с *дрожалочкой*. Лыточка уже варилась больше часа. Квашеную капусту Кланечка тоже запустила. Теперь резала лук, морковь, картошку. *Динь-динь-динь! О любви говорит.* Конечно, Витенька всегда привозит с собой много еды, но всё сухое, а похлебать свеженького, горяченького ему надо. *В лу-унном сиянии.* Вот уж обрадуется, когда я ему вывалю в отдельную тарелку всю лыточку. Духовитую, да с янтарной дрожалочкой. Всегда ее посолит, а потом обгладывает. Ему надо хорошо сейчас есть. Шутка ли – на гостинице сидит. Самый главный в ней. Все в его подчинении. Подсмотреть бы хоть одним глазком, как он их гоняет. Бегают только, наверное, в разные стороны, почище наших кур. А он кинет им приказов, как овсянки. И смеется, глядя как они дерутся. Но иначе нельзя – люди. Их надо держать в ежах. Да. Кланечка запустила всё в кастрюлю, побежала во двор. Посмотреть кур в сарайке. Как они там. Два дня не кормила для Витеньки. Живы ли, оглоеды? *В лу-унном сия-ании.*

Во дворе вдруг увидела кошку. Крадется вдоль забора, гадина. Кланечка побежала, ловко пульнула камнем. Попала. Кошка с воплем метнулась в дырку под забором. Так тебе, стервозка! Март давно закончился, а они всё базланят! И-я вам!

За забором просигналила машина. Витенька! Кланечка бросилась к воротам. Пока «хонда» заезжала во двор, побежала к сарайке, чтобы выпустить для Витеньки кур. Но тот сразу пошел к крыльцу. И без своего пакета всегдашнего. Господи, опять что-то случилось! Кланечка заспешила за Витенькой. И щи еще не сварились!

– Тетя Кланя, я пойду полежу у себя, – сказал на крыльце бледный Витенька.

– Пойди, пойди, Витенька. Щи-то пока и дойдут... Твои любимые, Витенька. С лыточкой! – крикнула уже в пустой коридор Кланечка.

В два часа дня Фантызин подъехал к гостинице. «Сегодня намечается большой сабантуй, Виктор Степанович, – докладывал Клямкин, закрывая замок на тросе. – Юбилей Акима. Будут вечером в ресторане проводить. Алевтина Егоровна, бедная, вся в хлопотах. Уже спрашивала про вас, Виктор Степанович», – спятился к будке седой Клямкин.

В вестибюле Пенкина накинулась:

– Ты где шляешься? – Вдруг запринюхивалась: – Почему воняешь? Бензином?

– С машиной занимался, Алевтина Егоровна.

– Чтобы к вечеру вымылся и сменил одежду. Сегодня твой бар и казино не работают. И ресторан я уже закрыла для посторонних. Будешь после восьми помогать Кузнецовой. А я тут, с приезжими гостями. Понял? Сам знаешь, что надвигается.

Пенкина пошла к лифту. Стеклова с высоченной своей прической расталкивала встречных, словно разруливала ей путь. Простые постояльцы гостиницы в недоумении оборачивались.

Фантызин поехал к себе на квартиру.

В два часа ночи, когда весь зал ресторана гудел, славословил маленького трезвого человека в черном костюме, посаженного во главу длинного стола, Фантызин вышел через кухню на задний двор. Запотевшие окна кухни светились сонно. Луна над задней черной стеной гостиницы, как над черным пальто, словно повернулась к Фантызину затылком.

Фантызин сел в «хонду», двинулся темными дворами на другую улицу.

На месте, сразу за серебрянским мостом, съехал на обочину.

Совершенно пустая остановка была ярко освещена, но киоск впереди нее стоял точно брошенный, темный.

Фантызин, достав из багажника большую сумку, побежал к киоску. Прятался за темной стенкой его, не выглядывал на свет. Быстро толкал под киоск старые рваные свои рубашки. Пихал палкой. Начал поливать из пластиковой бутылки бензином. Еще две бутылки, отвинтив крышки, под киоск – закатнул. Сдернул резиновые перчатки для мойки посуды. Встал. Достал спички.

Замер.

Было тихо. От реки наносило прохладу. Изредка проносились машины. Как висельник, над мостом выкидывал красные языки светофор.

Фантызин присел, зажег спичку, кинул под киоск. Разом всё осветилось, взялось. Пополз из-под киоска дым.

Фантызин пнул сумку к огню, побежал к «хонде». Завелся. Круто заруливая, выскочил на мост, полетел.

Сразу за мостом резко свернул вправо на улицу Красных Орлов. Остановившись, выскочил.

Киоск на том берегу пылал уже до неба, как прощальный костер в пионерском лагере. Точно выстрелы трехлинеек, слышался сильный дробный треск. Однако возле рвущегося в небо пожара не было ни души.

Повизгивая, Фантызин принялся плясать. Неумело. Вроде длиннопалой обезьяны. Переваливаясь, хлопая себя по бедрам.

Послышался отдаленный рев двух пожарок, приближающийся к мосту. «Давайте, летите! Визжите! Поспевайте, придурки!»

«Хонда» помчался вдоль набережной.

Однако не удержался, остановил машину, опять выскочил.

Над черным лесом у моста сшибались в небе высокие всполохи. Как будто черти красно-полосатые дрались!

– И-иихххх! – присев, потряс сжатым кулачком Фантызин. Опять как сделавший противника теннисист.

Свернул на улицу, ведущую к гостинице. Помчался.

23. Песенка

В половине третьего ночи швейцар Михалыч, вскочив со стула, еле успел распахнуть обе створки двери – весь казахский той, не прекращая ни на секунду славословить юби-

ляра, пошел выкатываться в вестибюль. Вокруг хмурящегося мужчины, настрачивая на домбрах, громко пели с десяток акынов, нисколько не охрипнув. Поперечно двигали головками и крутили ручками красивейшие девушки в шапках с высокими метелками. Остальные, кто в цивильном, и казахи, и белопузые русаки, сильно качались, но упрямо лезли вперед к юбиляру, отпихивая конкурентов.

Юбиляр осторожно обходил игрунов и плясуний, недвусмысленно продвигался к выходу. Пенкина с жемчужным бантом на заду покатилась по лестнице вниз, к двери. Юбиляр пожал ей руку, исчез за мотающимися створками. Весь той вскричал от такого вероломства и посыпался по лестнице следом, отталкивая Пенкину в сторону...

В кабинете Пенкина согбенно стояла лицом к темному окну. Бант на выходном платье ее обвис. Однако резко повернулась к вошедшему:

– Ты куда сгинул, мерзавец? Даже подъедать не прибежал!

Улыбающийся Фантызин вдруг подошел, обнял Пенкину и... впился в ее коровьи губы.

Поцелуй длился бесконечно. Маленькую папироску за это время было бы, наверное, не выкурить, а вот коротко вздремнуть – пожалуй, можно.

Пенкина открыла глаза:

– Сумасшедший... Закрой на ключ дверь.

Уже через пятнадцать секунд Фантызин застегивался.

Женщина на диване торопливо возилась со своими одеждами. Будто с расчихвощенной капустой. Немало была удивлена, даже ошарашена.

– Однако скорострел ты, Фантызин. Это тебя не колеблет?

– Нет, Алевтина Егоровна, я могу еще быстрее... Ха-ах-хах-хах!..

Смеялся как всегда. Прямо умирал со смеху.

Вставшая женщина смотрела. Потом повернулась спиной:

– Бант сзади поправь!

В вестибюле, с трудом оттолкнув глыбастого гардеробщика, Фантызин вынес богатую ее шубу. Нежно одел. Долго тряс руку ее мужу. Спокойной вам ночи, дорогие! И вновь вдруг захохотал:

– Алевтина Егоровна! Ха-ах-хах-хах! – прямо умрет сейчас от смеха.

– Что это с ним? – спускаясь по лестнице, оборачивался муж,

– Не знаю, – зло ответила Пенкина. – Придурок...

...Кланечка сладко похрапывала у себя в спаленке, но в коридоре почему-то сильно пахло газом. «Да что она конфорку, что ли, не закрыла! Ведь недавно и баллон сменил!» В темноте Фантызин пошел к тусклому лунному свету из кухни. Войдя в кухню, безотчетно потянулся... и включил свет...

Грохнувшая на весь мир красная вспышка мгновенно вырвала душу ...

Пожарные и спасатели взобрались на своих машинах к разрушенному дому только через полчаса после взрыва. За ними прибыл уазик скорой помощи. Быстро светало.

Ворота были закрыты наглухо. Две пожарки спокойно опрокинули забор и въехали на обширный двор.

На высоком бетонном фундаменте половину деревянного дома от взрыва – вырвало и раскидало. Как попало валялись венцы, балки, двери, две пустые рамы окон. Весь двор устлало ломаным шифером. Огня не было, но откуда-то изнутри тянуло дымом... Пожарные сразу фуганули два рукава к колодцу в углу двора, спасатели устремились внутрь того, что осталось от дома.

Вывели под руки старушку в ночной серой рубахе. Спасатель в брезенте и медсестра повели ее к уазику с красным крестом.

Старушка шла согласно. Кивала чумазой раскосмаченной головой. Вдруг начала петь. Поворачиваясь к медсестре. Все громче, яснее:

В лунном сиянии снег серебрится.
Вдоль по дороге троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Колокольчик звенит.
Динь-динь-динь! Динь-динь-динь!
О любви говорит...

Накинув на нее чью-то тужурку, осторожно подсаживали в машину. Старушка всё пела. «Динь-динь-динь! Динь-динь-динь! О любви говорит».

Спасатель пошел обратно к дому.

– Чего это она?.. – спросил у него молодой пожарный, сворачивающий брезентовый рукав.

– Тронулась, – ответил спасатель. – Сына ее убило... Мгновенно. Глаза даже вынесло... Какой дурак ставит сейчас в дом баллон на 50 литров?

– Да уж, – сказал молодой пожарный. Отвернулся и тяжело, на боку, понес свернутый рукав.

К поселку спустилось громадное облако. Подпираясь лучами солнца из-за горы, смотрело вниз.

Внизу, возле рассыпанного дома сновали, сворачивались пожарные. Две их красные машины, состукнувшись передками, ворчали друг на дружку. По угору спускался уазик с красным крестом. Долго слышался из него, обрываясь на кочках, ясненький женский голосок:

...В лунном сиянии ранней весною
Помнятся встречи, друг мой, с тобою.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь! –
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон,
О любви говорит...
Динь-динь-динь... динь-динь-динь...

Алексей КОЛЧЕВ

гребёнка

очи чёрные, очи страстные
е.п.гребёнка

от заболоцкого ушла жена
он написал «можжевеловый куст»
и ещё несколько прекрасных беспомощных стихотворений
некоторые из которых
до сих пор передают по радио
в виде популярных романсов

от меня тоже ушла жена
я не спился
не повесился
не уехал в тридесятое государство
не начал писать
запоздалую любовную лирику

я превратился
в чёрную пластиковую гребёнку
расколотую напополам
с обломанными зубцами
забитыми пылью и перхотью
обмотанную волосами
ссёкшимися запутанными
потерянную под ванной

слышишь
это чёрный нагревшийся пластик
разговаривает с тобой

***

а судьи кто? ива́нов пастернак
цветаева не суд – пир духа
заводят в зал
– за что тебя кирюха
– за просто так

Александр Колчев родился в 1975 году в Рязани, где и живёт по сей день. Учился на факультете русского языка и литературы РГПУ и филологическом факультете МГУ. Лауреат конкурса имени Вл. Бурича (Кострома, 2000) в номинации «Поэзия». Публиковался в антологиях «Нестоличная литература» (М., 2001), «Лучшие стихи 2011» (М., 2013), «Лучшие стихи 2012» (М., 2013), альманахах ««Бредень» «Чёрным по белому», «Узнай поэта», «Белый ворон», «Василиск»; журналах «Дети Ра», «Воздух», «Волга», «Homo Legens» и др. Книги стихов «Частный случай» (Шупашкар, 2013), «Несовершенный вид» (Нижний Новгород, 2013), «Лубок к родине» (Самара, 2013).

а в протокол записано разбой
бессмысленный и беспощадный
ответит руганью площадной
небрежно оттопыренной губой

летай летай над крышей нетопырь
рыдай рыдай повязку сняв фемида
услышав приговор умри для вида
сухие пальцы растопырь

загадка

он в модной медной майке «дуче энд габбана»
купленной позавчера на центральном рынке
идёт – не идёт – словно парит над миром
пальцами по мобильнику тарабаня
улыбается во всю ширь очарован мигом
солнце блестит на его золотой коронке

кто же сей? с пальцами толстыми как у краба
клешни с предплечьями красными синими от наколок
вот дракон вот лев вот с мечом полуголая баба
а вот странное вот дивное нечто такое
чего не растолкует в жизнь никакой астролог
разум накрепко обеспокоя

кто же сей? может сеятель праздный
чревовещатель вешатель вор карманный
шагами измеряющий мир столь прекрасный
который как сдоба пудрой обсыпан небесной манной
взгляд конечно небеспристрастный даже безобразный
зато гуманный

и ещё раз: кто сей? ни один не выдаст ответа
гражданин по делам спешащий ниже торгующая гражданка
семечками зонтом заслонясь от возможных дождя и ветра
ни алкаш с рожей горящей как сердце данко
выходящий из общественного туалета
(а это местный известный поэт нежданов ванька)

и опять непонятно о ком тут речь кто это
тут выговаривает гулким голосом – как из танка

***

электронные письма с фронта
просматривает военная цензура
вымарывает обратный адрес
все приходят с адреса vojna@
pobeda(dot)com говорят военное министерство

в год тратит больше на киберцензуру
включая адрес файервол сервера поддержку
чем на питание и боеприпасы взятые вместе

мама мама пишу тебе из окопа
у смартфона опять кончается батарея
мы не знаем азия ли здесь или европа
четвёртая или пятая уже мировая
ночью с той стороны перебежали двое кажись евреи
особист говорил по мудям их распознавая

впрочем этих всюду как грязи а с кем воюем
где наш враг и когда мы пойдём в атаку
никому не известно сигнал здесь ловится слабо
так что ловим вшей ожидаем щей санитаров любим
совершить бы подвиг жахнуть гранатой по танку
слава родине слава победе павшим героям слава

***

шапки и пальто свалены в передней
уж гости пьют едят морковь за низеньким столом
иду красивый двухсотдвадцатидвухлетний
голубь переваливается с перебитым крылом

а что есть голубь? неужто как у бодлера птица –
образ поэта которого за его благородные произведения подстерегает беда:
кошки мальчишки отсутствие булки мигает вывеска «суши-пицца»
начинается дождь со снегом и я заныриваю туда

***

– разве я сторож сторожу моему
кто из нас кого держит в тюрьме
кто кого опустил во тьму
и насилует в тьме

– вор мой брат мой ответь расскажи
что ты прячешь за пазухой утая
адской механики чертежи
или конспект рая́

***

– татлин татлин где ты был
где твоя улитка
ладил ли в углу гробы
где в подвалах липко

– я летал на север там
солнце есть большое
подносил к своим устам
шанежку с паршою

– татлин татлин расскажи
коротенек ад длин
пальцы вьются как ужи
лик и вовсе ватлин

– я не значу ничего
семо и овамо
всё вокруг меня черно
я где я где яма

– татлин татлин что ты врёшь
мокрыми словами
у тебя под сердцем вошь
как олень саами

– где железо где ведро
где рычаг поваплен
я залез в коня нутро
он татарин татлин

***

на смерть в.ф.

впервые слышу о таком
а он был маменькин-сынком
он был цветком
и потолком
и в теле лишним позвонком
а я так ничего не слышу
я тоже ничего
пойдём на крышу пить вино
смеясь как кмети
я на ногу надену лыжу
фуражку смерти на чело
фуражку смети
нам умереть не суждено
но мы умрём
посыпанные крупной солью
и мы мальстрём

о что мне делать с этой болью
дышите медленно – ноздрём

Александр ПЕТРУШКИН

Бессонница

Вывернув себя до дна
этой родины пустынной,
возвращаешь благодать,
благодарность и другие

нищих сумерек детали,
и бессонницу – с водою –
выжимая свет на тени,
где вернулся за собою,

выжимая льда сухого –
углекислый выдох в бледный,
пролетарский, бля, посёлок.
Слушаешь: [из шахты] медный

колокол – перевернувшись,
ищет звук в своём обломке
горлышком безъязыковым
он плывёт здесь с музой тонкой

возвратившийся, как блудный
сын в отцовскую могилу,
с тощей бабою бесплодной,
он плывет в пивную жилу,

в купоросные разводы
смотрит, в родины пустоты
возвращает, к потной жажде,
чтоб задать вопрос мне: кто ты [?]

сын в отцовской яме роет
языком немного света,
чтоб оставить всякой твари
своё место без ответа.

Александр Александрович Петрушкин родился в 1972 году в Челябинске. Публиковался с 1999 года в журналах и сетевых изданиях «Аврора», «Уральская новь, «Урал», «Крещатик», «День и Ночь», «Нева», «Дети Ра», «Знамя», «Воздух», «Абзац», «Волга», «Футурум Арт», «Зинзивер», «Бельские Просторы», «Белый Ворон» и других. Автор нескольких сборников стихов. Лауреат премии «ЛитератуРРентген» в номинации «Фиксаж» (за лучший внестоличный поэтический издательский проект; 2007 год). Куратор евразийского журнального портала «Мегалит». С 2005 года проживает в г. Кыштым Челябинской области.

***

но будто вся вода не здесь
но будто уточка взлетела
палаты все превозмогла
и села рядышком у тела

как пела здесь вода когда
пернатый выходил народец
из камыша едва дыша
и глядя в небо как в колодец

лежал и я меж сосен трёх
и наблюдал как эти дети
горят передо мной и там
из вёдер говорят нет смерти

и жук июльский говорит
перегорает в водомерку
и смотрит этот боже вниз
где ртом ловлю его монетку

***

вот чугунная баба
и кормит она
грудью прижатой
полна и едина
и наливается
рыбой до дна
пухлая с голоду
воздуха льдина

вот на заборе
висит как живой
бывший фотограф
мгновенье запомнив
вот как топор
говорит он со мной
вот эта баба
меня и не вспомнит

будто еловую
стружку смахнув
встанет на утро
теперь не со мною
кто-то другой
но уже за меня
груди чугунные
пальцами тронув

и задрожит
расправляясь живот
бабы кормящей
живыми сосками
и зазвенит
черный грач изнутри
перьями мясом
дышащим меж нами

***

Дмитрию Машарыгину

Вот неба свет – какой-то не такой
ты, друг мой, возвращаешься домой.
Сентябрь тебя читает через дождь,
через тире и точки, точно дочь –
тобой забытая в метро – всё ждёт Аида
и понимает: ничего не видно
и не бывает дна у всех времён –
хотя и всадник блед уже прочтён.

С тобой ли Бог, мой друг? или засада
нам зачтена за выход из детсада,
и небо пьёт в песочнице с листвы,
и не бывает никакой Литвы,
и речь не говорит о возвращенье.
Пылает столб шиповника внутри
у ЧМЗовской пацанвы вечерней,
у бородатой этой мошкары.

Вот неба свет – прими его таким
ломающимся, словно изнутри
его к нам лезет Бог и видит всё
прозрачным, как шары и огород
осенний, голый – будто ангел весь
его покинул, а не улетел,
искать лепить (хоть глиняное) горло
чтоб говорить покинувшему лес,

что входы все в метро, что снег надолго,
что возвращаешься ты, умирая здесь,
что столб внутри – шиповника не стоит,
хоть и сгорает тридцать три часа
подросток в этих вышедших по трое
на поиски для каждого отца,
что в сентябре вокруг одно лицо –
вот неба свет и костяное слово
в тебе текут, рекут тебя сквозь свет –
и плавится свинец, вливаясь в горло.

***

Зеркало запотеет – заглянешь с другой стороны:
кажется, что стоишь ты на глубине Невы,
на глубине Исети или иной травы –
выберут эти сети белые рыбаки.

Будешь лежать на блюде, как на ладонях их,
вывих инакой буквы, оставив как часть кожуры
чашки своей, расплескавшей воздух по берегам,
осколок безводной чащи – только увидишь: там

зеркало запотело – а рукавом ототри –
лице своё не видишь, снаружи и изнутри
всё в казаков играют стрелочки и штрихи,
рыбно на рынке, людно на глубине реки.

***

Распрямленной осени спина
в городе лежит как бы волна
от упавшего в степях метеорита.

Горлом пересчитывал людей –
сбился где-то в окончанье сотни,
дальше начиналась снегирей

стая, что клюёт ранет свинцовый,
утренний, замерзший в зеркалах –
осени спина дрожит уловом,

прибивая словно доски страх
к берегу дождём или приливом.
Распрямленной осени спина

клёны плавников несёт, стыдливо
покрываясь чешуёй до дна,
чешуёй листвы до дна сосуда,

чей уход до брызг благословен –
осени спина плывёт уловом,
и не стыден этой рыбе плен.

Доплывёт и вынет у порога
жабры, крылья, торф и плавники.
Горлом пересчитывая шубы,

дым стоит на глубине реки
и плывёт от нас, по распрямлённой
там, где снегирей стоят полки,

где рыбак на мир неискривленный
всё рыжеет, смотрит
– как мальки.

С другой стороны сюжета

Раскуривал табак и оставались
зарубки никотина между пальцев,
которыми я дерева касался,
когда оно летело – просыпался
в невидимом сюжете. Виден порох,
точней, коробка без углов и линий.
Как помнишь ты – нас где-то здесь зарыли,
а после не достали, не отмыли –
и вот лежим мы, типа мусульмане,
до подбородка приподняв колени,
подумай: в октябре, как в Чуркестане
гул расширяется, как будто бы по вене
плывет корабль похожий на Титаник
и тонет в свете посредине Вены.
Раскуривай табак – не оставайся,
как дерево в невидимом сюжете –
заходит в магазин, в октябрь – поддатый
и только что проросший, как Ареса
дитя – несёт в кармане он Балканку,
и спичку разжигает, как отпетый,
и смотрит в рот воды пока округлой,
и катится вода, как бы колёса,
с обратной стороны воды упругой.
Раскуривай табак – здесь невидимка
(см. начало – то же, что зарубки)
задёргивает свет литературы.
Вокруг земля и светлячки из жести –
и свет, глотает их, из тёмной трубки.

Каринэ АРУТЮНОВА

СНЕГ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

Рассказы

Пока вас не было

Возвращаясь, убедитесь, что все на местах.

Например, в том, что стол стоит на том же месте, люстра висит перпендикулярно потолку, а закладки между страницами не выпали и не затерялись. Пока вас не было, улицы десятки раз заносило снегом, – снег таял и чавкал под ногами, а потом проливался дождем, а небо оставалось таким же серым и сумрачным, каким вы успели его запомнить.

Пока вас не было, много раз звонил телефон, снимались трубки и, возможно даже, иногда произносилось ваше имя. Пока вас не было, почта приносила письма, нужные и второстепенные, а ненужные аккуратно заносила в спам.

Возвратившись, убедитесь, что все на местах.

Потому что четыре недели или даже три – это не слишком много и не слишком мало. Для кого-то – целая жизнь, а для кого-то – один бесконечный день, напоминающий очередь в поликлинике. В обычной районной поликлинике, в которой стены выкрашены в унылый тусклый цвет, а заклеенные окна не пропускают унции воздуха.

Для кого-то это дорога на работу и обратно, в забитом вагоне метро или пригородной электрички, – или серый рассвет, или катышки на одеяле, а, может быть, несчастная любовь или случайное письмо со штемпелем на конверте. Или звонок, как всегда, неожиданный, особенно если раннее утро и поздняя ночь, а вы не готовы.

Убедитесь, что все на местах. Записные книжки, номера. Голоса, лица.

Наши в городе

В детстве я любила Мартина Лютера Кинга и Че Гевару.

Вообще, я любила все прогрессивное.

Сочетание слов – «двадцать шесть бакинских комиссаров» – казалось магической аббревиатурой, понятной лишь посвященным.

Имя одного из двадцати шести было все же известно. Степан Шаумян.
Все они стояли рядом. Плечом к плечу. Степан Шаумян, Че Гевара и Мартин Лютер Кинг.

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве в 1963 году, в 1994 эмигрировала в Израиль. Автор книг «Пепел красной коровы» (СПб, 2011), «Скажи красный» (М., 2012). В «Волге» публиковалась подборка рассказов «Тоска по внутреннему раю» (2013, №3–4).

Со снимков на меня смотрели вдохновенные смуглые лица, – сердце мое успешно совмещало любовь к метисам, мулатам, квартеронам, цыганам и немножечко армянам.

Все мятежное и непокорное находило мгновенный приют в моей душе. Ах, появиться бы мне на свет чуть раньше, чуть южнее, чуть западнее, восточней и северней, – в индейском вигваме, цыганском таборе или вообще в каком-нибудь штате Иллинойс.

Вместо этого угораздило меня родиться в тривиальнейшем из мест на земле, в котором если что-то интересное и происходило, то, увы, без моего участия.

В партизанских схронах и революционных митингах мне бы не было равных.

Единственное, чего я страшилась, были не пули, а, допустим, монотонность летнего дня, условно летнего, но от этого не менее промозглого, опровергающего минимальную возможность прожить его бурно и ошеломительно на каких-нибудь импровизированных баррикадах.

Отчего реальность так безжизненна, бесцветна, постыла?

Отчего в подъезде пахнет вчерашним супом и кошачьими ссаками, отчего вокруг живут все эти неинтересные люди, которым не то что баррикады...

Отчего ни одного из них не зовут Джон, Мартин или Лаура? Правда, в соседнем подъезде живет Давид, но и тот – врач-ухогорлонос, – пожилой и малоинтересный. Добрый, но какой-то совсем не героический. А по двору ходит старуха в обрезанных ботах и гнусавым голосом кричит: – Масюня! Масюня!

Отчего?

Отчего мигают дневные лампы, освещая лица безрадостным светом?

Отчего так медленно ползет соседская старуха? Отчего нелепы ее одежды? Разве знакомо ей нетерпение и жар юности, разве может она думать о чем-нибудь еще, кроме пенсии, кефира и бессонницы?

Ведь так и пройдет бесследно жизнь, скроется за поворотом, как эта жалкая тень...

Праздник

А ночью было холодно, потом горячо, а потом – тепло и сонно, как во втором классе.

Будто всё плохое позади, а впереди только хорошее.

Сломанная рука срослась, и на дом пока не задают много, и боженька (которого как бы нет) меня любит.

Вместо боженьки – дедушка Ленин. Везде, на всех стенах, – в спортзале, и на уроке пения. Добрый ужасно, и не такой уж старичок, между нами, – вполне интересный мужчина. Явно снисходителен к детским шалостям. Прищур, и пальчиком так, укоризненно, но нестрашно, почти как дядя Бусик, родственник моей тёти Ляли.

Вообще-то их двое – Бусик и Абраша, – Абраша и Бусик. Где стол, там и они. Бусик – точная копия Бубы Касторского. Он смешной, круглый, краснолицый, – от голубых глаз его не укрывается ничего. Абраша – построже. Но тоже добрый. Что примечательно, они никогда не появляются по отдельности и за столом сидят рядом, – оба грузные, шумные, но ничуть не страшные.

– А вот и армяне! – кричит Бусик, подпирая животом угол длиннющего стола буквой Т, – и чего на них, на этих столах, только нет, – закуски, горячее, десерт, – тут, главное, затаиться и пе-

реждать, пока огромное блюдо с горячим проплывает над головой, – сделать вид, что ты усердно ешь, сидишь прямо таки с набитым ртом, – а вот и армяне! – кричит Бусик и размахивает вилкой, и живот его подпрыгивает как бы отдельно от него.

Армяне – это мы, наша маленькая семья, и самый главный армянин – мой папа, – мама не в счёт, – она вносит на руках другого армянина – моего новорожденного братца, которого срочно нужно перепеленать.

Бабушка Роза подбрасывает его на руках и напевает, и приговаривает что-то, раскрасневшись, с озорной улыбкой.

Совсем не так давно я узнала, что же такого приговаривала моя бабушка Роза своему армянскому внуку. Если вы не законченный ханжа и вам более шестнадцати...

«Шейне эялах», – ворковала моя дорогая бабушка, подбрасывая моего брата на руках. В ответ на это брат заливисто хохотал и плутовато косил глазом, будто отлично понимал, о чём идёт речь.

Пока гости воркуют над младенцем, я успеваю обежать обе комнаты, порыться в огромной библиотеке и забиться в уютный уголок с новой книгой и каким-нибудь сладким пирожком.

Горячее, ты не ела горячее, – взрослые укоризненно всплёскивают руками, покачивают головами, но недолго, – все знают, что я – не едок, только расковыряю тарелку и всё равно ускользну из-за стола, и замру где-нибудь у этажерки с вожделенным томиком, – Гоголя? Майн-Рида? О.Генри?

Здесь никогда не ругают, и про уроки – ни-ни, – здесь всегда вкусно и тепло, пахнет выпечкой и вишнёвой наливкой, – здесь ещё живы Бусик и Абраша, и дед Иосиф, и бабушка Даша – та, которая танцует на столе, – здесь произносят тосты и украдкой вытирают слёзы.

До понедельника ещё далеко, – я влезаю на стул и обвожу красным грифелем следующую субботу и воскресенье, и все самые главные праздники – мой день рождения, ноябрьские, Новый год...

Это мой главный секрет.

Я живу от праздника до праздника – все остальное время умело имитирую жизнь. Хожу в школу, учу уроки, выхожу во двор – но все это так, пробелы, паузы, которые необходимо чем-то заполнить, усыпить бдительность.

Чью, вы спросите?

Ведь это так несправедливо, – это тягостное ожидание воскресного дня, это томление, бессмысленное заполнение каждого дня и часа.

Нет, что говорить, – будни – не для меня.

Я завидую тем, у кого жизнь, по моему мнению, сплошной праздник.

Артистам, клоунам, акробатам. Писателям.

Когда-нибудь, – мечтаю я, – наступит день, – и мне не нужно будет корпеть над уроками, фонетическим разбором и арифметическими задачками, рассчитанными на абсолютных идиотов.

«Из пункта А в пункт Б» – ну, надо же придумать этакую чушь? Что может быть глупей и бессмысленней для того, кто давно определил себя в великие... ну, допустим... клоуны... или писатели, или даже поэты.

Я снисходительно посматриваю на учителей, – многие из них откровенно неумны, – это, например, если сравнить со знакомыми мне взрослыми...

Они неумны и явно несчастны, – эти старые тетки с шиньонами, крикливые, взвинченные и откровенно не понимающие моих пространных откровений в сочинениях на вольную тему.

Потому что вольную тему я выбираю всегда.

О чем бы ни шла речь в предыдущих двух, – я сглатываю слюну и расправляю лопатки, – вольная тема трепещет и, точно птица, взмывает над партами...

До понедельника ещё далеко, – я влезаю на стул и обвожу красным грифелем все самые главные праздники – мой день рождения, ноябрьские, Новый год...

Холодец

– Покушайте моего холодца, тетя Роза! – соседка Мария на вытянутых руках торжественно вносит громадную тарелку, накрытую салфеткой. Бабушка всплескивает руками, семенит, склоняет голову набок, отказывается, благодарит – в общем, театр!

Дверь за Марией захлопывается – бабушка, еще секунду назад чуть ли не рыдавшая на соседкиной груди, резко разворачивается и тычет кому-то невидимому конфигурацию из трех сложенных пальцев – попросту говоря, дулю.

Бабушка разражается длиннющей тирадой по поводу свиного холодца, – ну, как же, станет она его есть, придется звать кривую Любу из первого подъезда, она, бедняжка, живет впроголодь, и некошерное творчество нашей соседки оценит по достоинству.

Тарелка с холодцом тем временем стоит на кухонном столе, распространяя волнующий аромат. Бабушка двумя пальцами сдвигает салфетку и с подозрением всматривается в желеобразную поверхность с застывшими оазисами жира и яичными желтками, весьма аппетитными с виду.

– Как же, как же, стану я его есть, – ОНИ не дождут! – в голосе бабушки проскальзывают неуверенные нотки (кто такие эти загадочные «ОНИ», остается только догадываться). Она берет ложечку, зачерпывает ну совсем с краешку, – чуть-чуть...

– Ничего, – медленно пережевывает с величайшей осторожностью кусочек злополучного холодца.

– Таки неплохо (в слове «неплохо» ударение на первом слоге).

Несколько дней Мариин холодец занимает место в холодильнике, – приходит кривая Люба, крошечная старушка с плачущим лицом. Бабушка с Любой долго колдуют над блюдом, Люба машет руками, и лицо ее еще больше съеживается, – глаза слезятся, угол рта сползает ниже некуда.

– Побойтесь бога, Розочка, я что, голодная? – Люба, прижимая к груди тарелку, все никак не уходит, и до меня доносятся вздохи, бормотания, жалобы. Сумашедшая семья, больной ребенок, придурошный зять. – Роза, – он по пять часов не выходит из уборной, а вчера бросил в меня стул, а дочка, эта жирная корова, – вы думаете, Розочка, она вступилась?

– Вот, – Люба отворачивает рукав, ее сухая ручонка сплошь покрыта синяками. Бабушка кивает головой. Слава богу, ей тоже есть что рассказать.

Она переходит на трагический шепот, косясь на меня, тихо играющую в комнате (тише, ребенок!), – нет, Люба, не обижают, но, честное слово, я их не понимаю, как это – ни серванта, ни обстановки, ни мебели, – одни книги, книги... я вас спрашиваю, Люба, что, – это можно кушать? С маслом? Меня никто не слушает, – я последний человек, Люба! Мне что, я смолчу, а ребенка (тут бабушка громко сморкается)... ребенка жалко...

Наконец, почти счастливые, бабушка с Любой расстаются.

А через несколько дней новое блюдо с холодцом на вытянутых руках моей бабушки торжественно вплывает в Мариину дверь, – слышны бурные изъявления благодарности, восторга, певучий Мариин голос (Мария с Западной Украины, с выступающими скулами и стройными икрами жгучая брюнетка, состарившаяся и спившаяся на моих глазах).

– Та ну, тетя Роза, та шо вы придумаете такое ?

Удовлетворенная бабушка возвращается в дом, глаза ее блестят, – формальности соблюдены. Накормлены свои и чужие. День прожит не зря.

Карусель

Время от времени она поднимала на меня глаза и восклицала, – иногда восклицала, а иногда выпевала протяжно, смакуя каждую букву, – мирзолзайн...

Я, конечно, понятия не имела, что же такое это самое «мирзолзайн», но ощущения были приятные. Это было какое-то специальное, возможно, даже волшебное слово. Оно, будто кокон, обертывало меня и подбрасывало, – легко, как пушинку, и я, без преувеличения, казалась себе неуязвимой.

Мирзолзайн, – пела бабушка, жонглируя нехитрой кухонной утварью на нашей кухне, выходящей окнами прямо на школу и пролегающий между домом и школой бульвар. Тут у меня все было как на ладони. Весь мир.

Какое колесо обозрения?

По шоссе (между бульваром и школой) весело пролетали автобусы, – однажды и я улетела на одном из них, и, уцепившись в поручень, тряслась, точно заячий хвост, – автобус уносил меня в даль далекую, заповедную, – до сих пор не могу понять, что же вынудило меня пойти на этот отчаянный шаг, согласиться на предложение Юлика, моего полудруга-полуврага, коварно заманившего черт знает куда под предлогом игры в казаков-разбойников, – уже и не вспомнить, в каком тумане возвращалась я домой, и какими прекрасными, вырастающими словно из доброй сказки казались родные пятиэтажки с балконами, увитыми хмелем и плющом, – а вон и наш, синий, на котором стояла, подобная капитану дальнего плавания или штурману, или мичману, или верховному главнокомандующему, – стояла, будто изваяние, приложив козырек ладони ко лбу, кто бы вы думали?

У нее уже и сил не оставалось всплескивать ладонями, выбегать во двор, выпытывать у всезнающих соседских старушек...

Казалось, все вдохи, выдохи, причитания ушли в одно смешное, непонятное слово, которое, как охранная грамота, сопровождало меня в скитаниях по чужому и страшному микрорайону. Наверное, оно сверкало у меня во лбу.

Любимых детей видно издалека. Что-то такое они несут в себе... или носят, – похожее на амулет, зашитый в потайном кармашке.

***

Однажды в нашем доме на Перова завелась жаба. Огромное, пупырчатое, жадное существо тускло-зеленого цвета, с прорезью жадного рта, – с неизменным энтузиазмом оно пожирало всё – медные монетки, серебряные рубли и мятые бумажки достоинством в рубль или даже три.

Мне нравилось трясти ее, вслушиваясь в шорох и звон, и воображать себе несметные сокровища, которые, уж будьте мне покойны, я найду на что истратить! Иногда я пыталась просунуть указательный палец в щель ее рта, но жаба была начеку и не спешила расставаться с богатством.

Она стояла на почетном месте, вытаращив глаза. И ждала. Ее зрачки следовали за каждым входящим. Казалось, еще немного, и она щелкнет челюстью. Она жирела с каждым днем, – белесое брюхо ее раздувалось, а глаза вылезали из орбит. Бедная, бедная жаба!

Предчувствовала ли она свою судьбу?

Свою бесславную и скоропостижную кончину?

Проходя мимо жабы, бабушка жестом фокусника выуживала свернутую бумажку, и, озираясь по сторонам, подмигивала – мне или ей, или обеим вместе, но однажды, когда вспоротая и поверженная хранительница сокровищ лежала на боку, а по столу перекатывались монетки и шуршали рубли, я без труда узнала эти, меченые, свернутые в трубочку...
Их было больше остальных.

Самое смешное, что мне и не вспомнить уже, на что были потрачены все эти копейки и рублики. Кажется, я торжественно преподнесла их маме, ощутив приятную усталость добытчика, хранителя и защитника очага.

Точно еж с наколотыми на колючках осенними припасами, я торопилась избавиться от накоплений, вновь стать свободной и безмятежной.

И это было очень приятное чувство.

Ведь, на самом деле, у меня и так было все.

Все, чего может пожелать девочка, живущая в пятиэтажке с балконом, с которого, как на ладони...

Автобусы, школа, бульвар, очередь, стекающая от гастронома к противоположной стороне улицы, – за живой рыбой или за квасом, или еще за чем-нибудь, – если свернуть плотный лист бумаги, то получится подзорная труба.

Я навожу ее на крыши, окна, людей. Вижу раскрасневшиеся лица соседей, а еще мальчишек из соседнего подъезда, – вечно они трутся у бочки с квасом. Я слышу острый запах хмеля. Пахнет летом, прудом, ряской, горячим асфальтом, прелыми листьями, осенью, первым снегом.

Золотая паутина носится в воздухе, щекочет ноздри.

А вот и моя бабушка, – кажется, уже оттуда.

Помахивая авоськой, переходит дорогу. Щеки ее разрумянились от быстрой ходьбы. Время от времени она поглядывает на наши окна и шевелит губами, – конечно, «на людях» бабушка не дает себе воли и из последних сил сдерживает присущий ей темперамент.

– Ша, я сейчас умру, нет, ну, где вы видели такое нахальство? – что может быть интересней, чем рассказ о двух или даже трех очередях, – не рассказ даже, а сводка с полей, – с количеством павших, раненых, победителей и побежденных. – Вот, – говорит бабушка и вытаскивает из авоськи изможденную курицу с растопыренными желтыми лапами и изогнутой волосатой шеей, – лицо ее светится (не куриное, разумеется, бабушкино).

Меня бабушка как бы не замечает. Вначале – прелюдия. Ритуал. Очень подробный, живописный, – порхающее лезвие ножа, – это на бульон, а это – на котлетки.

Курица – это жизнь!

Кастрюля золотистого бульона и много-много крошечных котлет. Не котлеты, а сплошное удовольствие, я уже не говорю про сладкую фаршированную шейку, – а! – вскрикивает бабушка время от времени как бы в некотором забытьи, – а! – завидев меня, она спохватывается, – ну, что

ты стоишь? А кто будет фарш крутить? – она вытирает руки и выдыхает... Смешное, непонятное и такое длинное слово, но отчего-то лопатки мои расправляются, а ручка мясорубки вертится как карусель.

Навсегда

Мне повезло.

Я застала настоящие дворы.

Помните дворовую стенгазету? Позор пьяницам и хулиганам, бездельникам и тунеядцам. Солидный дяденька-управдом в растопыренном на пузе пиджаке делает «нунуну» кактусообразному человечку в брюках-дудочках (чуть позже – клеш), с носом, исколотым торчащими в разные стороны иголочками. С тех пор я всерьез полагала, что пьянство и тунеядство приводит именно к такой деформации носа.

Я застала дворовую стенгазету, товарищеские суды и синюю школьную форму.

Уже через год она стала коричневой, и надолго. Мальчики еще донашивали синие костюмчики из шерсти и синие же береты, но коричневый цвет постепенно вытеснял синий.

Школьные парты, те, первые, немного липкие от масляной краски, тесные, угрюмые, внезапно исчезли, уступив место изящным и легким, – почти прозрачным. Исчез запах краски, но не мастики, – рыжие паркетины влажно блестели, и это был запах начала года – астры, мастика, влажная тряпица или губка, которую перед уроком полагалось смачивать, выкручивать в туалете, – до сих пор испытываю стойкую неприязнь к мокрым тряпкам.

Ведь мы полагали, что живем в настоящем мире, и мир этот существовал всегда, – парты, дворы, палисадники, доски почета и позора, управдомы в круглых соломенных шляпах, трехэтажное здание школы, грозная фигура завуча – женщины в костюме-джерси, строгом, но вполне женственном, одновременно скрывающем и подчеркивающем крутизну бедер и объем груди, – женщины со сложным именем-отчеством – Лионелла Викентьевна, – со сложным сооружением на голове – этакой медной башней, устрашающе покачивающейся при ходьбе.

Мы полагали, что все это навсегда. Пятиэтажки, бельевые веревки, игры в «квача» и «штандера», в «прятки» и «жмурки».

Некоторые уверены, что прятки и жмурки – это одно и то же, – так вот нет!

Любая девочка, с утра до поздней ночи снующая по двору, назовет вам десять отличий. Все очень просто.

Если вы не стояли, прижавшись спиной к стене мусорки, – если не сидели, затаив дыхание, за дверью подъезда, или под ступеньками, ведущими в подвал, не чертили крестики, стрелки, нолики, – не метили асфальт таинственными знаками – ау, инопланетяне, – только вам под силу понять смысл иероглифов, проступающих сквозь разломы в земной коре, – «...мирнова – дура...» или «Поля – жо...», или...

Если вы не жили в нашем дворе, то вам никогда не понять, чем прятки отличаются от жмурок, а казаки-разбойники от «море волнуется раз».

Игра в «представления» могла длиться часами, – да что там, днями, неделями, – школа была всего лишь досадной помехой, но все-таки, все-таки...

В портфеле помещались – резинка, да-да, настоящая резинка, которую вшивали в обычные трусы, – но длинная, в худшем случае, сшитая из многих маленьких, а в лучшем – цельная, упру-

гая, натянутая – предмет зависти и вожделения, – резинка, и не одна, пупс, ванночка, одежки, набор бумажных куколок, азбука со вставляющимися буквами, – она была вкусной, эта азбука, и абсолютно бесполезной, так же как и натужное «мама мы-ла-ра-му», – все это натужно-мычащее, оно казалось смешным бегло читающей мне, но тем не менее, – азбука, а еще – грохочущий во втором, смежном отделении пенал...

Мы полагали, что все это навсегда, навечно, – короткая школьная форма, старухи из первого подъезда, пыльная коробка со свернутыми лентами диафильмов, клеенка в школьной столовой, – стаканы с киселем, поднос с пирожками, запахи перловки и яблочного повидла.

Я помню утро второго класса, сентябрьское, еще теплое, или день того же дня, уже после уроков, – мне полагалось часа полтора на «проветривание» головы, до приготовления домашнего задания на следующий день, – помню внезапно опустевший двор, шорох осенних листьев, внезапное чувство – тоски? одиночества? предопределенности? – предстоящей зимы, школьных будней, утренних завтраков, дневных обедов, проверок, контрольных, сложений, вычитаний, разборов, собраний, пришиваний и отпарываний воротничков, манжет, – впервые я ощутила укол, не зная еще, не подозревая о дозе, – она будет увеличиваться с каждым годом, с каждой новой осенью будет угасать уверенность в том, что все это навсегда, – лето, качели, царапина на локте, ссадина на ноге, заросли лопуха и крыжовника, стенгазета, мокрая тряпка у доски, паркет, откидывающаяся крышка парты, чернила на промокашке, расщепленное надвое перо и мычание за спиной, – похожее на сон, страшный и одновременно сладкий, – мамамылараму.

Однажды я проснусь в испарине, – мне приснится глубокая старость, – лет двадцать пять, а то и больше, – но нет, ошибка, – ошибка, – и сердце заколотится у горла, просясь наружу, – еще только шестнадцать, – я буду лежать с открытыми глазами, умножая в столбик и в строчку, – складывая, вычитая, деля...

Комод

Все эти добрые рождественские картинки с видом на заснеженную улицу – это же оттуда, родом из детства.

На санках можно было доехать – да хоть куда угодно! Допустим, в прачечную, в гастроном, в мебельный – в кварталах трех, а то и четырех от дома. А если ехать по Перова, а там завернуть за трамвайную линию... Как вкусно скрипели полозья, каким гладким был снег. Так и подмывало зачерпнуть горсть-другую...

Казалось, так было всегда. Скрип полозьев, застывшие в ожидании улицы. Звон трамвая вдалеке.

Там, за каждым светящимся окном – канун. Предвкушение. Смешная уютная суета между балконом, холодильником и сервантом. Хотя слово «сервант» лично мне казалось старомодным. Серванты – это у старушек. Стоило перешагнуть порог – и мир серванта, нафталиновых шариков и стариковского бормотания сменялся другим.

Рев тромбона, рык Армстронга, скороговорка Беко – магнитофонные ленты цеплялись одна за другую, наматывались на пальцы и щиколотки, хлипкие книжные полки кренились, угрожая обвалом. После мерного тиканья ходиков рваный ритм рок-н-ролла.

Смешно, но всего, что было после, я уже не вспомню. Нет, что-то мелькает, кружится... Как щиплет язык от шампанского! Всего этого я не помню.

Зато дорогу...

Не верьте тому, кто скажет, что нам было плохо.

Там, на окраине города, за двумя палисадниками и бульваром, был кинотеатр и птичий рынок, а еще – мебельный магазин!

Много ли человеку нужно для счастья?

Допустим, сервант, а в нем – слоники – ровно семь, – именно то, что может пригодиться скучным зимним вечером, – слоники, фарфоровая пастушка, круглая коробка от монпансье. Пуговицы. Тяжелые, круглые, похожие на конфеты-тянучки, прямоугольные, будто ириски – плоские и тусклые, цвета слоновой кости – для белья. Их можно разложить на столе, – вот эти – важные, – король и королева, – а эти, бесцветные, – всего лишь подданные, мелкая челядь, кухонные адмиралы и их подчиненные. Стареющая фрейлина в пыльном кринолине. Дерзкий безусый паж. В ход идет старый подсвечник, шахматные ладьи, подушечка для иголок.

С какой радостью мы покидаем обжитые места!

Оказывается, там, за мебельным и птичьим рынком, трамвайная линия не обрывается.

Кто знает, как будет там. Кто знает. И, кроме того, сервант – он такой неподъемный, куда без него? Послушайте, но ведь как-то его вносили? Может, под каким-то особым углом? Кто вспомнит, как вносили сервант, детскую кроватку, – покупали посуду, – тарелки глубокие, для первых блюд, и мелкие, а еще блюдца, чайный сервиз – как без сервиза и серебряной ложечки «на зубок»?

Милая, куда подевался комод? Большой тяжелый комод, который стоял в том углу, помнишь?

С такими выдвигающимися ящичками, поскрипывающими в тишине?

Там был габардиновый костюм, дамская сумочка с квитанциями, совершенно новое платье.

Милая, мне казалось, это навсегда. Перевязанные бечевкой связки писем с надписью «хранить вечно». Где они?

Неужели у кого-то поднялась рука? Мне даже вообразить это страшно. Они лежали в дальнем углу комода, вряд ли кому-то могли помешать.

Про Мотю

Расстояние от задницы до глаз огромно.

И ничтожно в то же самое время.

Все взаимосвязано....

Достижения человеческого ума и тяготы телесного низа. Впрочем, отчего только тяготы? И удовольствия тоже.

Забавно и поучительно наблюдать за животными. В них нет диссонанса. Они не подвержены внезапным приступам пафоса. Они всегда голые. Голые и абсолютно искренние.

Как, например, моя такса Мотя.

Если такса Мотя терзает башмак, то отдается этому занятию всем телом и душой. А если изнывает по косточке, то убедительней ее глаз...

Ее вихляющая походка не менее выразительна, чем юркий ноздреватый нос.

Глаза ее бывают скорбными, плутовскими, лицемерными, выжидающими.

А когда Мотя тоскует, с ней тоскует весь мир. Начиная от вздыбленного многократно изнасилованного половичка и заканчивая пропавшими без вести комнатными тапками.

Если вы полагаете, что в жилах Моти течет голубая кровь, то ошибаетесь.

По сути, моя Мотя – мещанка, существо суетливое и беспринципное. И обаятельно жадное.

За мозговой костью она побежит, даже не обернувшись. Причем, глаза ее по-прежнему будут обманчиво преданными, лучистыми, искренними.

Мотя уже немолода. Иногда она выразительно грустит о чем-то явно несбыточном. О каких-то упущенных возможностях и перспективах.

Порой мы грустим вместе.

Я здесь, а она – там, на своем истерзанном половичке.

Говорят, мы похожи. Выражением глаз, суетливостью движений, общей судьбой.

Ну, и расстоянием, разумеется, тем самым, – «от» и «до».

Зато

Зато у нас в подземке продают средство от папиллом и бородавок.

И вообще довольно живо.

Справа – турецкие шарфики, радующие глаз пестротой и многообразием, – слева – мирно посапывающие младенцы кошачьего роду-племени, а неподалеку – толстобокие щенки непонятной, но неизъяснимо прелестной породы. Цитрусовые – тут же, в ящиках, и прибившаяся сбоку старушка с вязаными игрушечками, нанизанными на все десять пальцев отмороженных рук.

У нас весело. Чего только нет! Плотные стручки лука-порея и роскошные, воистину живописные, лопающиеся от избытка сока плоды гранатового дерева. Но это все сезонные радости.

Зато средство от папиллом и бородавок есть всегда! Этот округлый певучий говорок, эта растопыренная у входа женская фигура в пуховике, эта абсолютная уверенность в качестве и надежности товара, – а, главное, – в неизменности спроса.

Пока человечество существует – средство от бородавок актуально.

От бородавок, прыщей и прочих малоприятных штук.

Признаться, я соскучилась. По лицам, голосам, интонациям.

По надвинутым на лбы платкам, по ветхим старушкам, гнездящимся на обочине. По ангельскому свечению глаз в сети правдивых морщинок. По напряженным ладоням, по пальцам с обломанными ногтями, по этой давнишней привычке – терпеть, мириться, не роптать.

– Возьми, дочечка, недорого отдам.

Наши люди вообще, если хотите знать, лучшие.

Легко быть добрым, когда не дует и не каплет за шиворот.

А вот попробуйте на морозе, со смешной пенсией, до которой еще дожить...

Попробуйте улыбнуться смиренной улыбкой, обнажающей беззубые десна.

Попробуйте полюбить все, что вы видите, – перекупщиков, ядреных теток в пуховиках, полуосвещенный переход и стекленеющие лужи, в которых отражаются вечерние огни.

Душа баклажана

Вместо господа бога у нас был Он.

Вполне уютный старичок (в далеком детстве иным он и не казался), всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.

«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться».

Нестройный хор детских голосов вторил на разные лады...

Мы всегда могли задрать головы и убедиться в том, что он существует. Рядом. Всегда живой. Добрый и чуткий. Если и мог пригрозить, – то с отеческой укоризной, с прищуром дальновидных глаз.

Все детские утренники, начиная с новогодней елки и заканчивая днем космонавта, происходили в непосредственной близости от Него. Даже если это была только голова, скромный бюстик, мраморный, бронзовый, любой.

Шаркая чешками, мы приседали, кружились в хороводе, – взявшись за руки, пели и декламировали, кто в лес, кто по дрова.

Танцевать я была мастак. А вот с декламацией дело обстояло из рук вон. Прочувствованные тексты мне не доверяли. Интуитивно ощущали слабину.

И если в костюме снежинки или кабачка я была неподражаема...

Лучше всего удавались мне бессловесные роли. Без идеологического подтекста.

То ли дело Леночка Е. – предмет моего восторга.

Ладненькая, ясноглазая, она четко проговаривала все гласные и согласные, шипящие, рыкающие. Восхищенный зал аплодировал стоя, в то время как я, бессловесный овощ, делала пассы, семенила, притоптывала и раскачивалась, как того требовал сценарий.

По сценарию я была баклажан.

Конечно, это было обидно. Порой хотелось откинуть лиловое забрало, и так же блистая глазами, воскликнуть: – Ленин всегда живой!

Но мне вряд ли поверили бы.

С грустью я провожала глазами тех, кто удостоился.

Из октябрятского значка я выросла, до галстука не доросла.

Тот, первый, купленный в отделе галантереи, – неподалеку красовались пугающие размерами и формой предметы женской гордости, но до этого было еще далеко, и потому равнодушным, хоть и встревоженным взглядом скользила я по всем этим выпуклостям, – мало что могло взволновать меня тогда, в эти предзимние месяцы.

Меня туда не впускали, как прочих, – недостойна, недостойна, – ну да, живости во мне было хоть отбавляй, и на линейке я облажалась, выпалив какую-то очевидную всем дурость, и приближались ноябрьские, – они вселяли хрупкую надежду всем недостойным, – а оставалось нас трое, – я, уверенная (по крайней мере в первой четверти) хорошистка, и еще двое.

Существа из низшего (как казалось мне) сословия, – абсолютные пофигисты, двоечники, неудачники. Маргиналы.

Объединяло нас одно – неблагонадежность. Да, все-таки в среднем у меня был «уд» по поведению, но дневник пестрил хищными росчерками и знаками, выражающими степень крайнего возмущения и угасающей надежды – «опять! Забыла!!!! В последний раз! Почему????»

Я постоянно забывала – дневник, тетрадь, прийти, надеть, пришить, – о, эта утренняя и вечерняя мука – торопливого пришивания, отпарывания и опять пришивания воротничков и манжет.

Я забывала дневник, показать дневник, сдать рубль, сдать пять...

В общем, веры мне не было.

Пионервожатой была длинноногая Людочка, – она так лихо носила прелестную обтягивающую бедра юбку, а галстук так дерзко развевался на юной груди, – о, боги, – я шла за нею по пятам, мечтая хоть на секунду стать такой же, – взрослой, уверенной в себе, собирающей десятки восхищенных взглядов.

Я мечтала о пионерской форме, – я бредила этой юбочкой и рубашечкой, и алой атласной тканью.

– Возможно, на ноябрьские, – небрежно обронила она, деловито цокая каблучками, – и сердце мое преисполнилось.

Вы помните, сколько стоил галстук?

Мечта девятилетней девочки, застывшей у прилавка в галантерейном отделе.

В тот день было холодно, еще не мороз, но конец осени, хмурый ноябрь.

Я шла в распахнутом пальто, с трепещущим, развевающимся, – да, именно так, плещущимся на ветру...

Обряд инициации состоялся. Запах нежилого помещения, свежей мастики, волнения – мы взмокли как воробьи, – последние из могикан, неблагонадежные и неперспективные.

Я шла по красной дорожке.

Каждый шаг отдавался в ушах, в глазах рябило от белого, алого, багрового...

Я ощущала себя... бабочкой, прорвавшей кокон.

Новенький галстук, сданный еще накануне, с прохладным шелестом коснулся щеки.

Я видела себя идущей по главной аллее, входящей в подъезд, – всех соседей, изумленно приветствующих меня, – злобную Ивановну, ее мужа – белоглазого полицая (как выяснилось, он и был полицаем, но это другая история), жирнягу и задавалу Сомова из второго подъезда, а, главное, Женю Розенфельда, который в прошлый четверг засунул мне за шиворот дохлую гусеницу.

Рокот барабанных палочек. Срывающийся голос, – шепот? крик? – мой? Чужой? Общий?

Я опять забыла слова. Я открывала и закрывала рот, умоляюще поглядывая на застывших в почетном карауле пионеров.

Шевеля ледяными губами, я замерла под немигающим бронзовым взглядом.

Ведь даже у бессловесного баклажана есть душа.

Маленькая, лиловая, смешная, она тянется к свету, к торжеству справедливости, она, если хотите знать, за мир во всем мире, – за это... пролетарии... всех... проклятьем заклей...мленный..

К счастью, рокот палочек заглушил все прочие звуки, слова и междометия.

Мои, пионервожатой Людочки, приглашенного по случаю ответственного товарища из гороно...

Он заглушил сдавленное похрюкивание в задних рядах и облегченный выдох по окончании торжественной церемонии.

Киевский двор

Киев – это вам не Одесса. У нас нет Ланжерона, Дерибасовской и бельевых веревок, соединяющих балконы противоположных домов.

Зато в нашем дворе одуряюще пахнет сиренью, жасмином, а в окно упираются ветви цветущего каштана и соперничающего с ним клена, листья которого пока еще юны и влажны, и на солнце отсвечивают изумрудной слезой.

Киевский двор после летнего дождика пробуждается медленно, томно потягивает свой утренний кофе, любуется росой, птичьей братией, сосредоточенно копошащейся в асфальтовых разломах, наполненных темной дождевой водой, пухом облетающих одуванчиков и мелким подножным кормом.

В киевском дворе облетают тополя и одуванчики, а еще – обитает собачка Моня, кургузое, нелепое существо, похоже, совсем не подверженное возрастным изменениям, а возможно, даже бессмертное.

Бессмертная потрепанная Моня (он или она) носится как угорелая, а потом, вывалив лиловый язык, укоризненно поглядывает на прохожих из-под тяжелых век, – я-то здесь живу, с меня лето начинается, мною же и заканчивается, а вы, – кто вы такие и куда идете?

Идут в основном девушки в легких платьях, – именно той самой «летящей походкой», стремительной, подчеркивающей все, что нужно подчеркнуть, чтобы бредущие с холодными пивными бутылками окончательно не уснули по пути, ведущему из ближайшего гастронома, – по узкой тропинке, над которой волшебная ива плывет, точно юная дева с распущенными волосами, тоскующая по прошедшей – уже! – весне, буквально только что, сию минуту.

Не уснули, не застыли, сморенные жаром и влагой, которую отдает земля, выдыхая, волнуясь, пьянея, выпуская нежную младенческую поросль, – из всех своих пор, впадин и отверстий, раскрытых, распахнутых навстречу бесстыдному ветерку, разгоняющему ночную усталость, утреннюю истому и рыхлое, ленивое тепло киевского двора.

О близости

На фоне экстравертного одессита киевлянин сильно проигрывает. Хотя выигрывает на фоне москвича.

Возьмем, например, метро.

В московском метро молчат. Совсем не так как в киевском (в Одессе, кажется, метро нет, поэтому не с чем сравнивать).

Трамваи не в счет.

Трамваи – это вообще отдельная категория.

За поездку в трамвае можно многое отдать.

Люди, которые волею судеб оказались втиснутыми в один трамвай, становятся или врагами, или почти родственниками.

Одна тетенька, довольно пожилая, доверилась мне уже на второй остановке. На пятой я знала о ней практически все. На седьмой меня оштрафовали. Фальшивые дяденьки с фальшивыми удостоверениями.

Я, человек, рожденный в добротные советские времена, на удостоверения с печатями реагирую очень живо. В силу благоприобретенной близорукости я не особо вдаюсь в детали, но сам факт наличия удостоверения производит на меня неизгладимое впечатление.

В общем, на седьмой, как вы поняли, фальшивые дяденьки с лицами профессиональных вымогателей, кладбищенских сторожей и убийц сделали свое черное дело, а вот тетенька, все это время наблюдавшая за этим действом (и это после откровений и почти родственной доверительности), не вымолвила ни слова. Бог ты мой, ведь она видела, как я купила талон, и видела, как рассеянно верчу я его в пальцах, взволнованная историей ее непростой судьбы, и как увлеченно я его ем...

Ну что ей стоило проронить пару-другую словечек в мою защиту?

Зато, когда удовлетворенные псевдокондуктора выкатились, та же самая тетенька выкатила глаза и заверещала, – как же это вы позволили обвести себя вокруг пальца? Ведь кондуктора – фальшивые! И удостоверения у них липовые!

Но я не о том.

Трамвай – это путешествие. Событие. То ли дело – метро. В метро все слишком прилично. Эти, с удостоверениями, к нему на пушечный выстрел не подходят. И зайцев нет.

В метро едут приличные в основном люди. И откровениями почти не делятся. Разве что думают всякие мысли, рыскают по айпадам и айфонам, спят или читают дорожные журналы.

И все-таки в киевском метро молчат иначе.

Московское молчание – оно глубже. Отстраненней.

Выдернуть из этого молчания сложно и неловко.

Дистанция. Слишком много чужих. И своих, но еще более чужих, тоже немало. И тех, кто был свой, а стал...

Может быть, это от ширины вагона зависит?

Киевские вагоны уже московских, и люди, следовательно, друг другу ближе.

Не так, как в трамвае, но гораздо, гораздо ближе.

Снег и все остальное

Оказывается, я все это люблю.

Это очень трудная такая любовь, выстраданная.

Разве все то, что тебя окружает, можно любить? Как-то специально к этому относиться?

К зеленому забору, бельевым веревкам, старушечьему десанту во дворе?

Разве можно как-то особенно любить все, что окружает тебя с рождения? Всю эту более чем реальную реальность, в которой все самое первое, а, стало быть, важное? Слова, шаги, лица.

Разве можно любить то, что дается авансом, – казалось бы, на всю жизнь.

Санки, стоящие у порога, красные валенки в галошах, варежки на резинках, – помните такое хитрое приспособление, из которого так сложно было выпутаться, – вся взмокнешь, пока стащишь шубку, галоши, рейтузы...

Вот и снег, вот и снег. Оказывается, это красиво. А когда зажигают фонари, все светится, искрится, – кажется, будто для тебя весь этот нарядный фейерверк, и такая глубокая тишина, в которой тают любые звуки.

Оказывается, я это люблю. Необъяснимо, необъяснимо.

Очень трудная любовь.

Сложная. Потому что вместе со снегом приходится как-то считаться с холодом, замерзающими птицами и брошенными псами. С людьми, которые не решаются заходить в нарядные супермаркеты, в которых все равно все ненастоящее, пластиковое. Муляжи.

Но зато у меня есть...

Знаете это волшебное слово – зато?

Зато у меня есть тихий ангел – шаркающие звуки шагов из глубины комнаты и это радостное, – але, деточка, я так и знала, что ты позвонишь, уже несколько дней о тебе думала.

Конечно, позвоню, – позвоню и обязательно приду.

В том месте, которое я действительно люблю, круглый стол и часы на стене. Смешная суета вокруг чайника, – детское удивление, возгласы, и такое... тихое, очень тихое счастье, за которым люди гонятся, бывает, всю жизнь, а оно здесь, на десятом этаже высотного дома, лакомится ирисками, шелестит фантами, прихлебывает из пузатой чашки.

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

Рассказы

Десятилетний Генка

Завтра Генке исполнится одиннадцать лет. Генка знал, что мамка ничего не подарит. Пьяная не вспомнит, протрезвевшая вспомнит, но ни слова не скажет, только ругаться на него в этот день не станет. И Генка никому не будет говорить, будет лишь знать, что теперь ему на год больше. Он думал, что ему повезло родиться летом, когда школьники на каникулах – все будут далеки от его дня рождения: и одноклассники, и учителя. Он и Сереге, другу, который его иногда защищает, тоже не скажет о дне рождения, словно нет у него, у Генки, никакого дня рождения, словно он всегда будет десятилетним.

В прошлом году с днем рождения его поздравляла бабушка Лена, она сунула ему в кулачок пятьсот рублей. Он успел купить два мороженых в магазине – себе и Сереге. Кто-то доложил об этом мамкину хахалю Витьке Шурупу. И Витька отнял у именинника первые и последние деньги. Витька Шуруп схватил за ухо Генку и прошептал: «Не твое, щенок, не бери!» Мамка и Витька Шуруп пили и жили на бабушкину пенсию. А бабушка с Генкой жили от огорода, курочек, леса и козы. Генка научился рыбачить. Но рыбы в речке на всех не хватало. Теперь бабушки Лены не стало, она умерла. Кур съели, огород зарос, от козы сохранилась только веревка в сарае. Бабушка своевольную козу на ночь привязывала, потому что дверь в сарае была слабая.

Генке теперь не только день рождения не нравился, но и свое имя не нравилось. Бабушка говорила, что так его назвал отец. Назвал и пропал, и след его простыл, отца. Ребята в школе Генку дразнили: «Генка-коленка, Генка-пенка, Генка-переменка». Бабушка утешала: «Не плачь! Ты не Генка, ты Геннадий». Мальчик не понимал, почему он не Генка, а Геннадий, кто это такой – Геннадий. В школе он боялся сообщать, что он не Генка, а Геннадий.

Кушать сегодня было нечего. На столе среди поваленных кружек, пустых консервных банок, кастрюлек с картофельной шелухой не было ни кусочка хлеба. Только крупицы соли ехидно белели. Мамка спала на кровати мирно, Витька Шуруп храпел на полу. Генка почему-то догадывался, что и мамка скоро начнет храпеть. Генка решил пойти в лес – поесть ягод. Куда, к кому еще пойти есть? Вчера ел у Сереги. Стыдно к кому-то еще идти. И к Сереге стыдно. Да и не хотелось есть Генке сильно. Хотелось выбраться из дома, пока мамка с Шурупом не очухались. С похмелья Витька Шуруп заставлял звать себя папой. Или принимался учить Генку стрелять из рогатки. Витька Шуруп, пока не похмелится, стрелял из рогатки плохо, промазывал. А когда выпьет, начинал стрелять задорно. Любил он стрелять по воробьям, а когда были живы куры, целился и в кур. Иногда Витька Шуруп отвешивал Генки подзатыльники. Не пенделя давал, а любил подзатыльники. А мамка, и трезвая, и пьяная, наставляла хахаля: «Если бьешь, бей сильнее. А так не бей. Чего ты, не мужик что ли?» Может быть, думал Генка, мамка хотела, чтобы Витька Шуруп его убил, чтобы от этого всем стало легче: и мамке, и Генке, и даже Витьке Шурупу. Может быть, мамка так не со зла говорила, а потому что похоже говорил ее прежний сожитель Мага. Мага говорил: «Если бить, то бить сильно. Если резать, то резать насмерть». Магу увезли в милицию, а из милиции Мага уехал на Кавказ.

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Русская жизнь». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Постоянный автор журнала «Волга». Живет в Санкт-Петербурге.

Мамка еще говорила, что лучше бы Генка был девочкой, дочкой, что девочка теперь бы уже могла помогать, сейчас бы уже в дом деньги приносила. А что с Генки взять? Витька Шуруп ржал, ржал громче, когда Генку начинали душить слезы. Генка знал, что у мамки есть еще ребенок, маленькая Генкина сестренка, но где она теперь живет, как ее зовут, было неизвестно, даже бабушка молчала.

Если бы продолжал обитать в поселке таджик Азиз, Генка побежал бы теперь к нему – поесть, послушать. Но и Азиз куда-то из поселка укатил. Азиз обещал, что заберет Генку с собой в Таджикистан от такой жизни. Азиз рассказывал, что в Таджикистане очень высокие горы, быстрые реки, ласковое солнце, что в Таджикистане детей любят, что на скалах растут цветы.

Генка дошел до леса и лег на опушке в траву. Генка любил траву – шорох, запах, щекотание, полосатый свет, муравьев, шмеля, глядящего на Генку покровительственно.

Может быть, Серега сюда примчит на велосипеде, – мечтал Генка. К бабушке на кладбище Генка ходить боялся: там трава была пухлая и листья на деревьях были разлапистые, а кресты были серые, ржавые, гнилые.

Генка решил лежать в траве до заката. Над кронами сосен закат получается тихим, нешироким, убористым. Солнце опускается за деревья стеснительно, украдкой, словно подглядывает сквозь частокол, словно видит тебя и думает о тебе. На закате хорошо спуститься к реке и посмотреть на себя в красную воду.

Изредка лаяли псы. Собаки, думал Генка, все хорошие, даже страшная черная овчарка в коттедже городского богача. Когда Генка подходил к забору, овчарка с другой стороны забора садилась, не рычала, не сопела, а только смотрела сквозь забор на мальчика.

Генка вспомнил, как Серега говорил, что вешаться нельзя, что Бог накажет, что Бог будет таких мучить. Генка думал, что пусть мучает. Бог добрый, пусть мучает. Бог добрый, как бабушка. Хоть он и не бабушка, а дедушка, – улыбнулся Генка. Он видел Бога с бородкой на иконе у бабушки. Но это все равно – что бабушка, что дедушка, если добрый.

Они говорили с Серегой о том, что вешаться нельзя, когда дядя Евгений повесился. Бабушка сказала: «Сунул голову в петлю». Дядя Евгений, вспоминал Генка, был хороший. Пил, но не матерился. И в гробу лежал хороший – помолодевший, душевный и строгий. Бабушка плакала о дяде Евгении без слез, держала Генку за руку, прерывисто вздыхала. Вдруг отпускала Генкину руку, когда поправляла платок, и опять искала в воздухе, а Генка сам поднимал к ней свою ладонь.

Генка решил, что сегодня он сунет голову в петлю. Сделает петлю из веревки от козы в сарае. Мамка с Витькой Шурупом туда не скоро заглянут. Там нет ничего в сарае, кроме затхлой темени, он пуст. Генка помнил, что на похороны бабушки всем поселком скидывались. А его, Генку, может быть, и хоронить не нужно будет, не нужно будет скидываться людям. Будет Генка висеть в сарае долго-предолго.

Генка думал, что и там, на небе у Бога, тоже есть трава, и она также весело колышется, и в ней тоже приятно лежать.

Встреча с президентом

I.

Алексей Алексеевич, будучи бдительным директором, предупредил, какими прийти. Такими и пришли: званными и избранными, женщины – в прическах и приглушенных тонах, мужчины – в серых и синих костюмах и галстуках с глубоким отливом. Накануне так и было объявлено: светлыми могут быть только сорочки и блузки, все остальное – сдержанным.

«А я хотела что-нибудь зелененькое надеть», – на правах супруги Алексея Алексеевича подала голос Танечка. Сотрудники трепетали перед Алексеем Алексеевичем, продолжала перед ним трепетать рефлекторно и Танечка, хотя после их свадьбы прошло уже более года. Последнее время (словно в пику изначальному страху) Танечка позволяла себе вольности – реплики на производственных совещаниях. Глядишь, думали люди, Танечка еще и в серого кардинала превратится, если в некий момент не будет отставлена супругом как из жен, так и из подчиненных.

«Еще чего! – огрызнулся Алексей Алексеевич. – Есть приличия, есть протокол, есть дресс-код. Вы в своем уме? К нам едет не какой-нибудь певун, к нам едет президент».

После Алексея Алексеевича по традиции мог шутливо высказаться лишь его первый зам Николай Ильич, с закоренелым басистым смешком. «Для яркости, вероятно, будет присутствовать наша депутатша», – воскликнул Николай Ильич с ожидаемой эротичностью в тембре.

«Вот именно, – согласился Алексей Алексеевич. – Конечно, будет. Эта вырядится в желтое жабо и зеленые рюшечки».

Начальник отдела Максимов оказался в числе счастливцев. Он понимал, что родился достаточно выразительным для массовки – с приветливой и понятливой физиономией. Когда директор внушал, что избранным ничего особенного не потребуется делать на встрече с президентом, кроме как красноречиво молчать и к месту кивать и улыбаться – деликатно и без раболепия, директор смотрел именно на Максимова. Директор знал, что Максимов будет выглядеть не только типичным работником данного предприятия, но и олицетворением целого гражданского сословия.

К встрече Максимову пришлось потратиться – купить темно-серый костюм и бордовый галстук с призрачными золотистыми прожилками. Максимов приобрел и пурпурный платок в нагрудный карман, но отложил его до лучших времен. Платок в нагрудном кармане носил только Алексей Алексеевич. Даже Николай Ильич на работе ограничивал себя в аксессуарах.

В ночь перед встречей Максимов спал прерывисто. Возможно, потому, что из парикмахерского салона вернулся поздно, и голова была намята и пересушена. Ему было беспричинно тревожно. Максимов не любил людные события. Свободным он привык быть в одиночестве.

2.

Избранных провели через рамку металлоискателя. Для встречи выбрали самое вместительное и по-хайтэковски обставленное помещение фирмы – офис PR-службы. Помещение было в огромных окнах. Теперь все до единого окна, словно для просмотра фильма, были задраены блэкаутными шторами, как парчовыми простынями, как загрунтованными холстами. Стол был стеклянным, громадным, овальным. Спинка одного из кресел была выше других, председательской. Стол облепили телекамеры. Разгуливали журналисты, которых от президентских порученцев отличали смешливость и заспанность. Сотрудники президента были неусидчивыми, переодень их теперь в клубные шмотки, и они могли бы сойти за презрительных тусовщиков. Заметнее других были охранники. Казалось, им не нравилось ни это гулкое помещение, ни эти известные и неизвестные люди, ни это мероприятие. Максимов вспомнил, как директор напутствовал, чтобы ни один из приглашенных не казался бы в этот день угрюмым. Максимов догадался, что директор хотел таким образом вразумить, чтобы ни у кого в этот день не было бы геростратова лица – охрана не поймет.

За столом расселись по табличкам. Максимова разместили между каким-то замминистра и советником Алексея Алексеевича по логистике Сельвинским. Максимов досадовал, что Сельвинский и теперь оставался безвкусным, галстук напялил чересчур полосатый, с перетянутым узлом, завязанным раз и навсегда. Неудобно было Максимову и от плеши Сельвинского, по бокам которой блеклые пряди наползали на уши.

Директор беседовал со своим гипертонически лучащимся московским шефом, главой национальной корпорации, чьей дочерней фирмой и руководил Алексей Алексеевич. Депутатша с высоко взбитыми волосами, с розовым палантином на конопатых плечах, длительно улыбаясь, давала интервью сразу нескольким каналам.

Наконец пробежал свежий шепоток по помощникам, и неизвестно из каких дверей (хотя, собственно, дверь была одна) в зале появился президент. Он приветствовал на ходу: «Здравствуйте, коллеги!» Он пожимал участникам руки, пожал даже Сельвинскому, но до Максимова не дошел полшага. Максимову хотелось понять, какая рука у президента. Именно потому хотелось понять про руку, что он увидел президента по-житейски, рядышком, в профиль и даже со спины. Максимов знал, что ростом президент ниже него. Но в действительности президент оказался еще ниже, нежели предполагал Максимов. Ему понравилось, что президент был одного роста с директором, благодаря чему президент встретился глазами в первую очередь именно с Алексеем Алексееви-

чем. Максимов успел заметить, как был подстрижен президент сзади. Окантовка волос на затылке президента была излишне поднятой, отчего шея президента смотрелась ранимой, как у подростка. Если бы речь шла о простом смертном, можно было бы посетовать: «О, как оболванили!» Волосы у президента стали редкими и мягкими. Волосы даже у стариков бывают младенческими, подумал Максимов. Может, и хорошо, что у президента из-за непритязательной стрижки такая человечная, беззащитная шея.

3.

Оглядев собравшихся, Максимов понял, что самый дорогой костюм был на его соседе, замминистре. Руки замминистра складывал так, чтобы запонки на пухлых, белоснежных манжетах перекликались бы друг с другом. Максимов думал, что замминистра коррупционер. У него и лицо было коррупционера, изменчивое – то убаюканное, то разбуженное.

Президент был одет в синий костюм. Этот синий был насыщенным, напоенным. Президент не любил стильность, и поэтому костюмы на нем сидели не тесно. Крой президентского костюма был таким же, как у нового максимовского. Максимов обрадовался, что хотя бы цветом костюмы разнились. Галстук на президенте был терракотовым. Некоторые эстеты утверждали, что президент так и не научился выбирать галстуки. Было видно, что президента веселили мужчины, зависимые от галстуков.

Алексей Алексеевич в этот день надел свой любимый костюм – бежевато-серый, пиджак у него был с накладным нагрудным карманом. Галстук директор повязал цвета маренго, а платок из кармашка выглядывал в мелкий бархатный черный горошек. Директор полагал, что новые вещи удачу не проносят – к ним надо для удачи привыкнуть.

Милее всех на встрече выглядела Танечка. Казалось, такой молодой и восхищенной она попала сюда случайно, с корабля на бал. Президент поглядывал в ее сторону. Ему нравилось, что за столом присутствовал случайный человек, и этот случайный человек был красивой барышней.

Алексей Алексеевич был доволен поведением жены, радовался, что ее восторженная непосредственность смягчила официоз встречи. Алексей Алексеевич обычно брезгливо насупливался, слыша комплименты в адрес жены. Но то, как любовался ею президент, совсем не раздражало Алексея Алексеевича. Это любование не шло ни в какое сравнение с любованием мужицким или завистливым бабьим. Президентское любование виделось Алексею Алексеевичу благородным, попечительным.

Похоже, думал Максимов, президент догадался, что Алексей Алексеевич порой злится на жену, поэтому президент улыбался Танечке и переводил взгляд без промедления на Алексея Алексеевича и также улыбался ему.

4.

Солировали двое: президент и Алексей Алексеевич. Ораторские способности Алексея Алексеевича были известны Максимову. Его удивляло, как удачливо в директоре уживались горячность и самообладание. Максимов думал, что такой баланс получается у впечатлительных натур при дефиците свободного времени. Свою загруженность директор любил как алиби, кредо, опору. Директор принадлежал к тому разряду докладчиков, для которых заблаговременное сочинение речи не бывает напрасным, которые сформулированные накануне пассажи не забывают, у которых домашние заготовки отскакивают от зубов. Директор говорил так гладко и при этом смотрел на президента, словно на экран видеосуфлера, что собравшиеся могли предположить: Алексей Алексеевич выучил свой текст наизусть. Однако Алексей Алексеевич выглядел таким раскрепощенным, слова его звучали так интонационно уместно, что гости дезавуировали свою догадку: нет, не вызубрил – с ходу шпарит. Максимов же был убежден, что директор действительно выучил монолог заранее. Учил всю прошедшую ночь – с мучительным вдохновением. То, что ночь у него была репетиционной, читалось в глазах Танечки.

Директор говорил о своем выстраданном проекте. Он говорил, что такие стратегические проекты грешно осуществлять без участия государства. Такие проекты обновляют государство. В проигрыше останутся те, кто будет в стороне. Государству опасно быть в проигрыше, поэтому

оно не должно оставаться в стороне. Он говорил о частностях проекта, о деньгах. Он говорил о социальном партнерстве, нравственном климате, культуре, воспитании, общественном доверии, о бесперспективности оппозиции. Он говорил о последних событиях, позволяя себе, вместо этикетной критики власти, предвосхищать ее скорые трудные шаги. Он обострял, забегал вперед, просил прощения за преувеличения и парадоксы. Президент прервал его лишь однажды: «Да вы, батенька, златоуст!»

Гости улыбались: крупные чиновники – непроницаемо, патрон Алексея Алексеевича – со смешанными чувствами (горделиво и недоуменно), депутатша – скептически. Патрону казалось, что Алексей Алексеевич решил идти ва-банк, депутатша видела, что Алексей Алексеевич шантажист, чиновники привыкли так улыбаться.

Когда выступали гости, Алексей Алексеевич тоже улыбался. Вероятно, его раздражало, что на его территории каждый тянул одеяло на себя, что говорили о своем, о привычном: патрон – о головном офисе, чиновники – о сформированном бюджете, депутатша – о гайд-парках. Максимов думал, что Алексей Алексеевич не сдержится и выпалит: «Вот так и становятся оппозиционерами. Ими становятся не только авантюристы, непризнанные гении и безумные властолюбцы, но и отвергнутые патриоты, неприкаянные специалисты, инициативные граждане, задвинутые в дальний угол».

Затем высказался президент. Он тоже понимал, как становятся оппозиционерами. Он обнадежил Алексея Алексеевича: «Я возьму с собой ваши бумаги, Алексей Алексеевич, посмотрю их. Уверен, коллеги согласятся со мной, что предложения Алексея Алексеевича любопытны. Полагаю, что таким проектам следует давать зеленую улицу». Алексей Алексеевич торжественно засиял.

Наступило время вопросов и ответов. Пока президент отвечал, Максимов думал о политике. Он думал, что власть в нашей стране не знает, какой она теперь должна быть. Она не может стать такой, как на Западе, в Америке, – размытой, формальной, не персонифицированной. Сама ротация власти делает эту власть на Западе непоколебимой. Ротация держится на вековых институтах с законом, правами человека, частной собственностью, технологическим первенством, статусом-кво «золотого миллиарда» и двойными стандартами. России же не устоять без лидерской власти. Есть еще власть Китая, теперь структурно напоминающая обезличенный западный тип власти. Остальные народы и государства не имеют абсолютной власти. Западу удалось поставить в неудобное положение само понятие «личная власть», которое теперь без пометы «анахронизм» стыдно употреблять. Наша верхушка понимает, что личная власть в глазах глобализированного люда теперь посрамлена (понимает, что посрамлена не вполне заслуженно и более того – с умыслом). Наша верхушка и рада бы заменить личную власть иной управленческой формой, но иной формы, кроме как западной демократии, такой формы, чтобы признавалась тем же Западом эффективной и прогрессивной, в мире нет. Но именно западная форма власти и губительна для России, потому что в России нет того, на чем стоит Запад. Россию, думал Максимов, без личной власти ждет крах, а с личной властью России прочат революцию. Вот наша верхушка и в затруднении, вот она и в замешательстве. Или – как бы в затруднении, как бы в замешательстве. Максимов догадывался, что западным президентам бывает по-человечески обидно: они-то находятся на своем посту один-два срока, а какие-нибудь восточные падишахи, включая российского, сколько угодно долго. Причем они-то, западные, *находятся* у власти, а те, тот же российский президент, действительно властвуют. Разве не обидно?

Максимов думал, что властелинам тоже бывает обидно. Потому что атакуют их с соблюдением всех приличий, цивилизованно, вероломно: прыснут что-нибудь, дунут, подсыплют – через год человек от рака загибается.

Максимов вспомнил, как знакомый оппозиционер пошутил: мол, будешь на встрече с президентом, не упусти свой шанс: если не сможешь вцепиться ему в горло, если не сможешь плюнуть ему в лицо, то хотя бы крикни: «Уходи, надоел!»

Максимов смотрел на президента, сидящего невдалеке, и тот ему нравился как обыкновенный, непьющий, толковый, добродушный, с юморком русский дядька. За что в него плевать, за

что прогонять? Максимову не хотелось, чтобы президент увидел его мысли, не хотелось, чтобы от этих мыслей человеку стало противно. Максимову почудилось, что президент, скользнув вдруг взглядом по Максимову, понял его. Максимову даже померещилось, что президент словно подбодрил его: давай, Максимов, не дрейфь, делай, что задумал, чего от тебя ждут, я и это вытерплю. Какое-то мгновение Максимов чувствовал, что его подмывало учинить теперь скандал, стать героем, цареубийцей. Он посмотрел на директора, директор смотрел на Максимова.

Последний вопрос задал сослуживец Максимова, юрист, – о духовной сумятице в стране, падении нравов. Президент улыбнулся: «Вот вы законник, а говорите как священник». Максимов понимал, что президенту важно думать о душе, но говорить важно про уровень жизни. Максимов думал, что в России правитель шутить должен грубовато, но поучительно.

5.

Чай ни президент, ни гости пить не остались. Директор пошел вслед за президентом. Максимов решил отхлебнуть чая и съесть печенюшку. Рядом с ним начал пить чай и Сельвинский. Максимов услышал голос PR-менеджера Рябовой: «А вы чего тут сидите? Нам пора работать». Максимов с Сельвинским привстали. Рябова медоточиво уточнила: мол, нет-нет, вы, Сельвинский, сидите, а этот, мол, что здесь сидит? Максимов догадался, что PR-менеджер была расстроена, ибо ее, хозяйку этого помещения и не последнего человека в компании, проработавшую в ней десяток лет, на встречу с президентом не пригласили, в отличие от выскочки Максимова. Сельвинскому же позволительно было пить чай в пику Максимову и как старейшему сотруднику фирмы, который уже никому дорогу не перейдет. Максимов не мог припомнить, когда еще Рябова так открыто выражала неприязнь к нему, напротив, она всегда с ним доверительно сплетничала и казалась союзницей.

В коридоре мимо Максимова прошел и не ответил на его приветствие коллега Крючкин. Максимов понял, что у коллеги Крючкина та же обида, что и у Рябовой. Максимов решил в следующие дни с Рябовой продолжать здороваться, а от коллеги Крючкина демонстративно отворачиваться. Максимов знал, что вскоре дружелюбный коллега Крючкин, остыв, начнет, широко улыбаясь, протягивать Максимову руку первым. Максимову казалось, что обида в коллеге Крючкине останется до конца жизни не на Максимова и не на директора, а на президента, а Рябова не простит этот день Алексею Алексеевичу. Максимов не думал, что встрече с президентом можно завидовать. Максимов, как ему виделось, на месте коллеги Крючкина не завидовал бы. Подтрунивал, иронизировал, валял дурака.

Максимов помнил, что коллега Крючкин в разговорах в курилке обычно занимал сторону оппозиции, клялся, что президента скоро сметут, дело, дескать, за малым. Значит, не сметут, полагал Максимов, судя по коллеге Крючкине.

6.

Максимов возвращался домой без ажитации, неспешно. Обычно он двигался с нервной быстротой, а теперь ему хотелось плестись.

Он думал, что и среди его подчиненных в его отделе есть люди, так или иначе оппозиционно настроенные, – две-три женщины и один парень. Женщины были экзальтированными мамочками. Парень чувствовал себя не в своей тарелке, не мог смириться с тем, что на работе в интернете отключили доступ и к ЖЖ, и к Фэйсбуку, и даже к «Эху Москвы». Парень, раздражаясь и не таясь, подыскивал себе другое место. Максимов говорил ему, что он такое место не найдет, что там хорошо, где нас нет. Парень усмехался и твердил, что найдет.

Максимов думал, что легче всего называть оппозиционность заразой, детской болезнью. Он думал, что оппозиционность в крови. В крови не только прогрессистов, фантазеров, кристально честных бунтарей, лжецов, хамов, ерников. Она в крови у всех. Она даже – в президенте. Только бы она не слепла, не чудила, не захлебывалась рвотными массами.

Михаил НИЛИН

В ОФИСЕ ВИСИТ (ФОТО)

тавтофони́я. Издеваетесь. (Китай)

* * *

1.
жизнь продолжается
удалась
ты должен

преодолевая не поддаваться

На Харитона-трахальщика
в бане (повышенный разряд)
видели Лилю
Людмила по-прежнему в пассаже
бежит в туалет заскочит
за тобой скучала
торговля ноль
приезжие
в июле даже чуточку хуже

* * *

* * *

2.
думаю, да
там было
в тамбуре
баллоны

лабораторный

Вентили. Тугая медь. Латунь? Их запах.

окно во двор многоворотной
с баком на столбах
(тьма в стойлах, слабые огни)

М.Нилин (1969), москвич, частнопрактикующий клинический психолог, судебный эксперт и преподаватель психоанализа и смежных дисциплин. Публиковался в журналах, альманахах, антологиях, а также издал за свой счёт несколько сборников стихов. В переводах стихи выходили на западноевропейских, украинском, удмуртском, японском языках. В «Волге» печатался в 2008-м (стихи в №3–4) и в 2012-м (пьеса в №1–2).

автобазы

(вид)

melanogaster

кастрируем
стерилизуем
в нежном можно
рентгеном

всюдный funebris
розовоглаз
В работу не брали
(не годится)

из радостей –
разное
купание – что ни ночь
секс
ну с кем

топлесс –
хоть как
тёплое море

холодные животы
звон галечника, скрежет
окатан –
понятно,
а как так – плоский?

* * *

* * *

3.
кочевая...
– Очень вами благодарны
...степь

мёртвая охота

подвигается, давясь тенью, кузов
скифы
под балдой ли
водят глазами

пробегают лимбом
солнцем-луной засвеченные виды

вроде бы обрыв и «в мареве море»

травостой, возня, задевает днище

голые люди
пахнет быками
отсыпают –
въезжая на подводах –
ни ругани
ни понуканий
курган

да нет
холодом
(Манхаттан)
далеко –
ледник
пологий подъём «Явленья Христа народу»
над ним –
ночью и в течение дня туча

оводы –
на быках
как стеклянные вставки в сирийск. бляхе

* * *

* * *

4.
я-то пахидерм, а запах
(старой матери)
Хамдамов
когда-то мне
на эту тему
натолкнул на мысль
вылетело
содомит
Дремотное (нет, в метро) состояние
сполна не помню – подробностей –
дискретно

* * *

* * *

5.
...на задворках
шинно-галошного
(«Вулкан»)
производства

а не «Великан»?
или

На вывеске

как полагается
наковальня

* * *

* * *

6.
сновалка
(из буфетной коридор)
шасть

рядом

потёрлась задним предметом у двери
хитры при том простоваты
вот

(часто) в помещении, надо заметить, шорох
электризация
ткань не желает прилечь,
как если б ею было прикрыто лениво-увёртливое
тело

томно
ну да
немоглось
привыкли (вы) руки распускать
не люблю
употребляли ублюдки
разобраться

божеское дело
на лужку (бережок)
на табурете неблагопристойно –
наскоро морилкой –
гроб

кто – Катя,
обе-две (Лиза) в платьях

солнце

растительность чуть желтит на просвет

дёрн –
под ним чёрно-карий перегной
а они на каблуках

* * *

* * *

7.
которые Тельцы, те злятся

* * *

* * *

8.
засиженный рай тира

* * *

* * *

9.
Луна низко над Курским вокзалом

* * *

* * *

10.
розовый тон,
сообщаемый воде в миске помидором

* * *

* * *

11.
[из «Азбуки»]

артишок
а что
картошка
тоже
в ней, понимаете,
крахмал

пыхтит под пестом

какой парит –
октябрь
поречье
ночь, туман

луна
(в иллюминаторе самолёта)

от стекл. сводов ГУМ'а:
Я есмь Сый

и:
Вынай, вынай –
с сеновала

* * *

* * *

12.
Греф и Кудрин –
сановники из семей несколько культурных –

в неразберихе и рецессии
служившие престолу как следует быть
оба
сформированы, верить Соловьёву,
бурливой атмосферой минувшего царствования

преждевременное и даже неверное суждение

А жена
перед не задёрнутым окном
уже раздевшись
подолгу стоит голой

К станции идёт народ
смена охранников
различимо шумят берёзы

аберрация (слуха),
иллюзия
бог ты мой
стеклопакеты

шум
– это кажется –
лиственный к осени –
в изв. отношении изменился

В углу территории –
плешка от снесённого строения,
костёр
свои ребята?
пиджаки на обработанных от клеща сосёнках
у кого и брошены так
станут мокрыми от росы
а муравьи –
заготовки (за ночным временем) прекращены? –
в ночной духоте муравейника (спят)
в ходах и залах темно –
разве железы или что там светляка –
дежурный свет
скудное освещение
как от старинных лампионов
метрополитена

* * *

* * *

13.
в садах кизил

* * *

* * *

14.
чехи с ляхами
седяху

мочат в очередь усы

пора,
сволочи,
ночевать,
перевернуть
золочёную, заметно помята, чашу

шатко встали

с тёмным пламенем прозрачной пластмассы щётки,
разобрав, потянулись перед сном чистить зубы

а меня
Рамон
умру...
Рамирес
из дверей (футболист) пальцем манит

я не лягу с ним на овчину
вроде чёрного по белому огня Торы

выпуклая грудь у мужчины клёво

матка боска
Антон-грамматик
я б тому
с удовольствием (без доказательств)

а так
векшей
веверицей
ёкая коготками

иди, иди отсюда

со смоляным блеском, с малосмысленным глазом

шоркая
(тарификация посекундно)

ходом
дохая
вверх

колодец дровяного лифта

солидол –
помертвелый отлив –
нарост отвердевший

мимо клубных покоев

(весело зелены ломберные под лампой)

мимо номеров
тюремных ярусов
(матерятся)

куда,
там летом –
вниз головой как попугаи
в клетке зеркальце
всё это продуто

а ну снег пойдёт.
Под роялем?
светильный газ на подтанцовках

(попугаи)
над погостом в жару
медным веком
и закат, скажи, в зелени
прожекторами стадиона

* * *

* * *

15.
это история о том,
как с треском
старик Стросс Кан

израильтяне
(отказал в займе)
заинтересовали,
любопытно,
слабый пол,
разжились
(в Париже)
(суперски, не вопрос)
стариковск. спермой

мотивировали –
ради ДНК –
подругу деньгами?

40, Сорбонна
(образование)

мать-сербка
дед с др. стороны –
не знала – иудей

из Одессы
идейный
лев. взглядов

Позвонила женщина,
(служащая):
– Обяжете,
если согласитесь переговорить с доктором
(фамилия)
– С доктором?
– Соединяю.

замотанный, вежлив.
Клиника в сельск. местности,
далеко.
По деликатности дела могу ли
рассчитывать, что пригласите домой.

Ну, не знаю. Убедительно.
Уточняют. Диагноз. Чей. Онкология?
короче
безусловно
голый смысл
Небом клянусь, деталей не помню.

Квартирка вроде харьковской моей на взвозе
кухня
(условно)
спальня
гостиная
стиль студио

нет ванны
душ
поддон – поддающийся
(прогибающийся)
убьёшься

гель – горький – якобы с афродизиаком

* * *

Феликс ЧЕЧИК

***

освобождение суля
ещё мертва природа
в последних числах февраля
тридцать шестого года
но вдребезги разбитый лёд
форелью серебристой
уже по волковке плывёт
в кладбищенскую пристань

***

молодо зелено глухо и пьяно
сеть золотая в бриллиантах капкан
две половины пустого стакана
не променяю на полный стакан

переливается через и даже
край навсегда превращается в дно
где в незнакомом до боли пейзаже
время со смертью теперь заодно

***

Человечество подразделяется на
две, как минимум, части, дружок:
кто в неполных 13 блевал от вина,
кто ходил в переплётный кружок.

Две, как минимум, части, сливаясь в одно,
образуют единый народ:
мастера – мастерят, пьют другие вино,
попадая в такой переплёт.

Ни о чём не тужа, никого не виня,
припеваючи, в общем, живут,
и в едином порыве кладут на меня
все, живущие там или тут.

Феликс Чечик родился в 1961 году в городе Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, стажировался в институте славистики Кёльнского университета (проф. В. Казак). Автор пяти поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат «Русской премии» за 2011 год. С 1997 года живет в Израиле.

Не в обиде. Ничуть. Не такое прощал, –
тех жалея и этих любя.
А за то, что я пил и кружок посещал –
я и сам презираю себя.

***

полесские старухи
глядели на меня
с любовью как на сына
когда у них гостил
отогреваю руки
у вечного огня
полесье палестина
и аистиный клин

***

весенней сирени
осенних гвоздик
цвета посерели
и голос затих
единообразный
для праздничных дней
на площади красной
колонны теней

***

в преддверии грозных
событий пока
не выросли крылья
и хрупок хитин
два божьих навозных
счастливых жука
утроим усилия
и улетим

***

С опозданием на
полчаса или час
наступила весна
и оттаяла нас.

И увидели мы
под наркозом весны
грязно-белой зимы
разноцветные сны.

Даниил БЕНДИЦКИЙ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КРИКОВ

Повесть

1.

Всё это, если взмахнуть руками и попытаться мысленно обнять, – лес, море, штранд[1] – Отец называет «святыми местами». – Здесь мы гуляли вдвоём в первые месяцы после нашего переезда, но потом отчего-то перестали.

Около часа я иду босиком по берегу и по привычке смотрю вниз. – Вот в полуметре от меня лежит мёртвая медуза. Я медленно опускаю на неё ногу, затем раздавливаю – прозрачное желе растекается по стопе. – «Главное, – говорил Отец, – преодолеть страх, а вообще, давить медуз полезно. Полезно для ног».

Я тут же представил себе восточную немку лет пятидесяти, с обвисшей грудью, загорелую, руки в боки, как она злобно смотрит на меня и говорит: «Вы это зачем сделали?»

Отвечаю:

– Ну, имею я право раздавить немецкую медузу?

Вдруг передо мной появляется девушка. Она удивлённо меня разглядывает, потом отворачивается и делает вид, будто не замечает. – Мне становится стыдно, иду дальше.

По меньшей мере, глупо просто так подлавливать людей, когда они задумаются и начинают плести вслух какую-то ахинею – правда, я слышал, что эти люди больны.

2.

Я проснулся. – Открываю глаза и вижу на полу всё тот же заголовок из газеты. Каждый раз хочу прочитать эту статью, но нет сил протягивать руку. Я прилип к подушке, с бодуна болит голова, в стакане с водой – от сушняка – плавают пыль и волоски.

Поваляюсь ещё чуть-чуть.

Минут через двадцать опухшая рожа посмотрит на меня из зеркала и скажет, что сегодня я должен многое успеть: «Начни с себя. Пусть будет небольшой автобиографический скетч. – Накатаешь маленький сценарий, возьмёшь, наконец, камеру и снимешь что-нибудь о себе». – Но ведь Отец правильно говорит: «С чего ты взял, что ты кому-то интересен? Вот сожжёшь себя на площади, может, кто-то и заинтересуется». – Меня, как обычно, бросит в попсовые рассуждения, что я должен разобраться в себе, и, разумеется! – чтобы научиться снимать, нужно сначала понять людей.

Отражение ответит: «Потрясающе! Подскажи, где ты это взял?.. Кстати, а твой короткометражный Кафка со знакомыми студентами из театрального училища, которым ты всё говорил: «das glaube ich nicht», «не верю», в духе Станиславского – случаем не полный треш?

---

[1] *Штранд (Strand) – пляж (нем.).*

Даниил Бендицкий родился в 1985 году в Нижнем Новгороде. Закончил архитектурный факультет Берлинского Университета искусств (Universität der Künste). Публикации: «Волга», «День и Ночь», нижегородский поэтический альманах «Среда поэта», «Еврейская газета» (Берлин), «Междугородная еврейская газета» (Москва), сетевые журналы: «Сетевая словесность», «Топос». Подборка стихотворений в антологии «Четвёртое измерение. Русские поэты в Германии» (СПб.: Алетейя, 2008). Лауреат премии «Дебют» в номинации «Молодой русский мир» (2008). Живет в Берлине.

Ты неудачник, которого не берут на режиссуру из-за откровенно плохих работ. Говоришь друзьям: «Да мне на самом деле ещё рано, очень рано», но, оказывается, ещё и сваливаешь поражение на пространство – ведь «оно ежедневно сжимает тебя в своих тисках»! – Я убеждён, что у каждого города есть своё настроение. – Этот портовый город существует только для того, чтобы тосковать.

И всё-таки какая глупость, что «лучше жить в глухой провинции у моря»! Сам-то Бродский годиков пять в провинции на социале[1] жил? – Нет, а кто виноват, что я здесь торчу, и что мысли у всех одни: в Вестдойчланд[2] или хотя бы куда угодно, но только прочь, прочь отседа?

Мы опять сидим в баре и глушим Hefeweizen[3]. Это, кажется, уже четвёртое. Я разглядываю янтарную жидкость на свету, и тут Саша Панов выдавливает: «Когда Творец распределял сумасшедших, он набрал их в солонку и рассыпал над землей. А в этом месте у солонки отвалилась крышка...»

Творец всё правильно сделал.

И ещё – этот город давно начал вымирать. – Из бывшей Восточной Германии не бежит только ленивый.

Мы снова взяли по кружке – «Когда волнуется желтеющее пиво...»[4] – а между тем приговор суров: я опять раскачивался целый день, но сценарием даже и не пахло. – Есть правда трофей с пляжа: светло-коричневый доннеркайль[5].

Потом я возвращался домой на ночном автобусе. По дороге от остановки мне навстречу шла невысокая девушка в такие же слюни, как и я. – И она привязалась:

– Сама я не местная, вечером гудела у друзей на квартире, вышла на улицу подышать свежим воздухом и не могу вспомнить, куда идти. Помню только, что рядом была телефонная будка. – На девушке белый сарафан, и я случайно касаюсь её твёрдой груди локтем.

Я показываю ей спящий микрорайон: огромные дворы, стиснутые длинными панельными домами, улицы, жёлтые телефонные будки.

– Нет, не здесь, – говорит она равнодушно, и мы идём дальше.

Попутно Алесса рассказывает, что живёт с родителями в Нойбукове[6], по выходным работает в кафе, а если хочешь – так неожиданно – может достать кокс. – А сколько он стоит? – Называет цифры, от и до.

Бродим целый час. Я, наконец, зеваю и предлагаю остаться у меня. – Мы берём на заправке двухлитровую бутылку дешёвого красного вина и в моей комнате раздавливаем.

Затем мы ложимся в постель – Алесса закрывает глаза, и я начинаю приставать к ней под одеялом, но она уставшим голосом шепчет, что хочет спать. – Я засыпаю, тут же просыпаюсь – лезу опять – она отбивается, и снова вырубаюсь. – А уже под утро, когда я всё-таки забрался к ней в трусы, она вдруг сказала: «Хорошо, только прими душ». И я радостный пошёл в ванную – огромные капли били по телу, а когда вернулся – Алессы не было, не было на столе и телефона с кошельком, дверца шкафа была открыта – нет, камеру она с собой не прихватила. – Наверное подумала, что мне она нужнее. (Очень смешно!)

Я надевал носки на мокрые ноги и говорил себе: «Только не хлопай дверью, не разбуди Отца», – и выбежал из дома. – На автобусной остановке одинокий алкаш испуганно ответил, что никого не видел, то же самое бросили и на заправке. Но я вспомнил, что Алесса говорила о Нойбукове – с двумя кафе и тремя ресторанами, как её там не найти? – в субботу я занял денег и поехал.

---

[1] сокр. от Sozialhilfe (нем.) – социальная помощь для безработных.

[2] Вестдойчланд (Westdeutschland) – Западная Германия. (нем.)

[3] Hefeweizen – нефильтрованное пшеничное пиво. (нем.)

[4] «Когда волнуется желтеющее пиво». Сергей Гандлевский

[5] Доннеркайль (Donnerkeil) – немецкое народное название гладко отшлифованного камня у Балтийского моря.

[6] Нойбуков – город в земле Мекленбург-Передняя Померания.

И я увидел её в кафе «У озера» – Алесса показалась мне совсем маленькой, какой-то бледной. Подошёл к шефу: «Можно на минутку вон ту, прям на чуть-чуть». Он ответил: «Только недолго, ладно?»

Алесса вышла на улицу и спокойно посмотрела на меня. – Я вежливо попросил всё вернуть, но она сказала, что ничего не отдаст. «Как это?» – «А это залог». Я спросил: «Какой ещё залог?» – «За сексуальное домогательство. Я, кстати, в девятом классе учусь, если не знаешь». (Привет, самодовольный Набоков и неудачный фильм Лайна!) Но я даже глазом не моргнул и перебил: «Слушай, девочка, ты хоть знаешь, что такое сексуальное домогательство?» – А она говорит: «А давай ты это лучше шефу объяснишь?» – «Давай». – «Ну, пошли, посмотрим, кому он поверит. Может, ты со мной не заговаривал на улице, и вина не покупал, в постель не тащил? Забудь, короче», – поворачивается и идёт.

И пока я думаю, что сыграть пьяную потеряшку, ломаться и потом что-нибудь украсть – это «хорошо продуманный план» (тогда зачем говорить, где живёшь?) – шеф уже спрашивает Алессу: «Кто это?» – а она по-актёрски закатывает глаза: «Да один придурок пристал после дискотеки», – и ставит пустые стаканы на поднос как ни в чём не бывало. – «Так, пошёл отсюда», – говорит огромный осси[1], и, кажется, он даже готов меня ударить.

И я отступаю.

Что, хлопнули Алёшу Поповича да по могутной спинушке? – Ай да байка! Ай да сукин сын! Назови это так: «Алесса на шее» – будет дешёвый детективчик. Лёня Езерницкий хлопал бы сейчас в ладоши: «Нет, ну она же персик, а? Ну персик!»

По законам жанра – тут же чернеет небо, ливень лупит по деревьям. И я уже слышу слухи гемайнды:[2]

– Ви слыхали, нашего Сёму посадили!

– А шо он сделал?

– Он изнасиловал немецкую девочку!

– Шо ви говорите, немок же можно.

Сочинитель тупых еврейских анекдотов. Семён, ты обречён – это замкнутый круг.

Вспоминаешь те листовки в транспорте? – «Разыскивается преступник, убивший мужчину на концерте Red Hot Chili Peppers. Игорь Кривошеев, 1982-го г.р. Родился в Саратове...» – Каждый раз ты смотрел на ту чёрно-белую фотографию и представлял себя на его месте.

В течение нескольких недель я жду полицию, семейного позора, но пока тщетно. И я решаюсь цивилизованно бежать. – Как по заказу, сейчас время поступлений в вузы. Я отправляю документы везде, где не нужен низкий средний балл[3], и меня зачисляют в Свободный Университет Берлина на исторический. – Но ведь Отец правильно говорит: «Куда ты поедешь, идиотик ты жопощёкий? Какая к чёрту история?»

Между нами я и сам в себя не верю.

3.

«Экая славная минута!» – задвигает за кадром хриплый мужичок. – Теперь расскажи о свободе, новой жизни, воскресении из мёртвых, наконец. – Продолжай эпизодами, пусть всё скачет, как при перемотке, а диктор может дальше сипеть в микрофон.

В Берлине я поселился в общежитии – оно так спряталось за деревьями, что с улицы его и не увидать. – У нас здесь такое местное развлечение: слушать под окнами хрюканье кабанов (лучше – кабанья). Ночью они выходят из Грюневальда в поисках жорева, а к утру уже вспахан газон.

Когда скучно – меряю площадь комнаты ступнями – получается ровно десять вдоль и двадцать поперёк. – Да только б не напачкать, здесь всё стерильно – белый пол, белые стены, белая мебель. – Потом не отмыть.

---

[1] Осси (Ossi) – прозвище восточных немцев. (нем.)

[2] Гемайнда (Gemeinde) – община. (нем.) Здесь: разговорное название еврейской общины среди эмигрантов.

[3] В вузы Германии поступают по среднему баллу в аттестате.

На общей кухне, среди завалов, беру (попробуй сначала отыщи!) карту города. – Тыкаю пальцем наугад и, если раскачаюсь, – я точно буду там. – Так я собираю будущий фон. – Вот отпечаток плюща на доме, бесконечные переходы, бородатая каменная морда открыла пасть и держит на языке лист куста рододендрона, другие кадры – привязанные к ограде кроссовки, по озеру плывёт лодочка с мотором, два белых креста на лужайке.

Случаются, однако, среди таких поисков и несчастья – на Унтен дер Линден, возле Исторического Музея, любовался Шпрее-Матушкой, пока не пристали напёрсточники – разве они ещё не вымерли? – и тут же проиграл пятьдесят евро. Как так, шарик же во втором стаканчике был!

Короче, Склифосовский, что ты скажешь Отцу? – Да я уже придумал! – Первое университетское задание: подготовить небольшой доклад об истории своей семьи. Для правдивости пересказываю слова своей «однокурсницы»: «а моя бабушка говорила, что при Гитлере было всё не так уж и плохо». – Отец ловится на удочку:

– А на Остфронт она не хочет? Хотя бы санитаркой?

Через два дня я получил от него длинный имайл, суть которого сводилась к тому, что поскольку русский язык не годится для общественных наук, история России умеет только врать.

А закончил он вдруг так: «...Вот я наболтал всякого, но что дальше – предугадать не может никто. Может, было бы интереснее, если вместо досужих рассуждений просто описал, например, красивую турецкую девушку. Вот это и была бы история! Или – говорить о берёзках давно не считается хорошим вкусом. Ну а я видел на берегу Остзее[1] такую! рощицу, чувство – не передать!»

Сколько это может продолжаться? Думаешь уехал и что-то изменится? Фиктивная учёба, с по́нтом сниму, наконец, фильм. – Ну же, работай! Кто тебе мешает – за ядра держит? – Подожди, подожди, завтра наверняка начну.

В понедельник я поехал в русский магазин за какой-то ерундой и шутки ради прихватил с собой эмигрантскую газету. Помнится, одна на первой полосе сообщила о выходе последнего номера – разумеется, из-за отсутствия прибыли – и обвиняла своих читателей в том, что им, видите ли, на африканских детей пожертвовать два евро не жалко, а на газету жалко.

Пообедать решил в мензе[2] – тут недалеко, всего в двух остановках.

А ведь мне по сюжету – конечно же! – нужен случай.

И вдруг на террасе, за столиком, сидит она – круглолицая, с чёлкой, закрывающей лоб, – кромсает картошку с рыбьим филе. – Я молча сажусь рядом, протягиваю газету и прошу прочитать статью голосом дикторши с ОРТ.

Настя только потом признается, что сначала действительно подумала, что я режиссёр.

– Я ищу голоса, – добавил я.

Она начинает сбивчиво читать, я перебиваю, прошу начать заново и наблюдаю, как в уголке её рта собирается соус.

Дальше начинается любовная история, которую из-за пошлости хотелось бы пропустить.

Вот ведь бывает – только от одной убежал, другая охмурила.

И как тебе такой эпизод для фильма: парень с девушкой обнимаются на мостике. Камера движется вверх. – Работник сцены – условно Вася – сидит в валенках на металлической конструкции и посыпает влюблённых пухом из мешка. Идёт снег.

– Я люблю тебя, как одна душа поэта только любит, – говорит парень.

В этот момент с ноги Васи съезжает валенок и падает на голову девушки. – Вот это режиссёрская находка! А как смешно-то, да?

4.

Через месяц я переехал к Насте.

Когда знакомился с её родителями, так им и заявил: «Я тоже здесь буду жить». – А они даже не удивились, кажется, просто не расслышали, что я вякнул – и это был мой первый провал.

---

[1] Остзее (Ostsee) – Балтийское море. (нем.)

[2] Менза (Mensa) – студенческая столовая. (нем.)

По вечерам все вместе смотрели русский ящик и пытались вспомнить: «чёрт, как же этого актёра-то звали... он ещё в этом играл, как его...», в титрах мелькали фамилии с предательскими окончаниями «ман», «вич», «ский», что жутко раздражало главу семьи. – Когда же ящик вырубали, Виктор (по аусвайзу[1] Вильгельм) Викторович рассказывал об их бывшем доме с большим окном, через которое – ещё по плану деда – можно было вынести гроб. Ирина Андреевна (Мать) встревала исключительно с разговорами о еде. Мы молчали.

Из-за – скажем так – сомнительной запеченной курицы, щей с кислой капустой и блевотного – я его просто ненавижу (тогда зачем ел?) – холодца и проч., проч., проч. меня стали мучить дикие боли в животе. Отец говорит: «Попытайся написать задницей на стуле слово “спагетти”. Говорят, помогает». – «По-русски написать?» – спрашиваю. – «Да что ты, от русского языка у тебя живот ещё больше будет болеть!»

И тут же добавляет: «Твоя боль – это ещё цветочки, ты ещё не настрадался. Как ты хочешь снимать фильмы, если ты не сидел, если тебя не пытали, если ты, в конце концов, не служил в армии?!»

Ах да, мы живём, чтобы любить, чтобы страдать. Или как там? – Должна же быть трагедия, тогда и будет цеплять!

«О, великий собиратель историй...» Помнишь ту пластинку – «Али-Баба и сорок разбойников», – которую ты гонял по несколько раз в день? – Прислонись же ухом к бледно-жёлтой сетке на колонке и слушай Мустафу, почтенного сапожника.

Сорокалетний чеченец Рашид услышал в баре русскую речь и подсел за наш столик. Он тараторил без остановки, видать, очень хотел выговориться. – В первую чеченскую войну русские разбомбили его квартиру, убили брата, Отца, кого-то ещё – «Ну, бэспрэдэл, понимаэшь?» – Рашид вышел с оружием на улицы Грозного, а спустя несколько лет очутился в восточно-немецком ганзейском городке в статусе беженца.

Аня Гейдрих написала в своей анкете на сайте знакомств, что считает самой выдающейся исторической личностью – всё-таки думаю, что в шутку – своего однофамильца[2]. Так мы с ней и списались. – Спустя год после её переезда в Германию один знакомый зашёл к ней одолжить пару дисков. Он закрыл за собой дверь, потом бросил её на пол и изнасиловал. «Самое страшное, – говорила она, – сначала никак не могла вспомнить телефон полиции, а когда вспомнила, не могла сказать по-немецки: “Меня изнасиловали. Приезжайте!”»

Марину из Даугавпилса, фамилию забыл, тоже занесло «не туда» – затёрлась с сатанистами. Поражает спокойствие – за чашкой кофе рассказала, как однажды они всей компанией поехали на какое-то поле. Там поймали корову, зарезали её и стали пить кровь. У Марины после тех глотков поехала крыша, и ей понадобился целый год в психбольнице – кстати, в очень живописном месте, – чтобы вновь превратиться в застенчивую эмигрантскую девушку.

Ну, конечно, не хватало только этих эмигрантских слёз! Расскажи, как тут всё плохо и что ты мечтаешь по-шукшински обняться с берёзками. Ведь ты этот эпизод тоже вставишь?

Вопрос: «Настя, неужели и у тебя что-то было?»

Ответ: «Когда мы только приехали, ещё выплачивали деньги на одежду, учебники, подарки на вайнахтен[3]. Папа все деньги снимал с карточки и прятал в старом дипломате. Я об этом узнала. А у меня, понимаешь, вообще ничего не было. Стала потихоньку красть и покупать себе сапожки, юбки. Папа, когда это увидел, избил меня ногами в коридоре. Мама стояла в стороне и плакала. Я вся в синяках потом была, три недели в школу не ходила».

Странно, а вроде с виду такой тихий, миролюбивый мужик. Ещё мне сказал: «Евреи тоже люди».

---

[1] Аусвайз (Ausweis) – паспорт. (нем.)

[2] Рейнхард Гейдрих – (1904-1942) государственный и политический деятель нацистской Германии, начальник Главного управления имперской безопасности, Обергруппенфюрер СС и генерал полиции. Один из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса». Был убит в Праге.

[3] Вайнахтен (Weihnachten) – рождество (нем.)

Так вот, а что у тебя?

Что у меня? – Кока-кольное детство, летние каникулы в Крыму, похабный мат с одноклассниками, выпивка. Кажется, всё.

Действительно, о чём ты вообще хочешь снимать?

Короче, камера уже трясётся (это такой художественный приём?), а мы ещё не у цели. – Давай дальше! Шнеля, шнеля, ох, как шнеля! – Перемотаём плёнку немного вперёд.

От безделья родители-хищники постоянно набрасывались на Настю. Диагноз здесь прост: ярость безработного эмигранта – вполне естественное явление. – Напряжение ещё больше нарастало, когда я вставлял в спорах свои пять копеек, но меня лаконичным образом тормозили: «Так, подожди».

В этой маленькой квартире нам всем не хватало пространства. – Поиск отдельного жилья – «чай не в совке живём!» – казался очень муторным делом. Мы ютились с Настей в её комнате и старались не высовываться – лишь бы избежать случайной встречи с родителями, иначе скандалы вспыхивали на ровном месте.

Но а когда в семье чуть ли не впервые наступило временное перемирие, я показал Виктору Викторовичу камеру и рассказал сюжет будущего фильма. – Молодой «художник» создаёт шедевр, который, разумеется, никто не понимает, и тут происходит трагедия... (Постой, постой, это что-то новое!)

Ладно, хватит тебе стебаться, не такой там сюжет.

Отец Насти тут же спросил меня в лоб: «То есть ты хочешь быть режиссёром как Михалков?» – «Примерно», – ответил я.

5.

Впрочем, к всеобщей истерии даже я смог подлить маслица в огонь. – Однажды потащил Настю в загс, а потом признался, что хотел лишь понаблюдать за её реакцией, и повернул домой.

Отец в таких случаях, морщась, говорит: «Знаешь, мальчик, от твоих шуток в сортир охота».

Настя же обиделась и не разговаривала со мной несколько дней.

Нет, ну а как ты хочешь быть режиссёром, если не провоцируешь людей? – Так, говорю тебе в первый и последний раз: «Чем хуже режиссёр, тем больше у него суждений о том, как надо снимать и как себя вести».

Господи, избавь меня! Пусть удача сама свалится с неба, а то я сам, кажись, не справлюсь.

Спустя пару недель после истории с загсом Настина Мама попросила меня донести сумки из магазина. – Уж и не знаю почему, я вдруг вспомнил по дороге свою слегка шизанутую соседку по общежитию – датчанку – каждый день громко распевавшую на кухне датские песни. Ирина Андреевна в ответ рассказала о местном «Русском сообществе», в котором она работала около десяти лет назад. Там тоже, оказывается, хватало психов:

– Я как-то предложила: «Давайте спросим наших женщин о любви, потом устроим вечер с чаем, поговорим...» Пошла, значит, сперва к одной бабке. Она мне стала рассказывать, как её в Сибирь в вагоне для скота везли. Говорит, мол, Сталин был против «сослания» немцев. А потом, представляешь, заявляет: «Гитлеру надо было сначала всех евреев уничтожить, а уж потом на Россию нападать!» Я говорю: «Ладно, всё, бабуля, я пошла...» Потом одна была. Я к ней прихожу, а она говорит: «Вот видишь, они у меня были». Показывает на верёвки, у неё там из дверей верёвки торчат. Говорит: «Они опять приходили». Я: «Кто?» – «А вот они». Значит, у стены стоит такая стопка книг, а между книгами просунуты нитки. – «Ну вот же, вот! Тут всё ровно было. Видишь, они сдвинули». Я говорю: «Да кто приходил-то?» – «Да они». Я её про любовь давай спрашивать, а она мне всё: «Видишь, приходили, надвигали всё». Она то ли с Байкала, то ли чёрт её знает откуда. Запуганная какая-то. Не знаю. Я ухожу, а она мне: «Подожди, я тебе подарок хочу сделать». Ушла в другую комнату, приходит с маленьким таким блокнотиком. Говорит: «Вот, держи. У моей дочери муж был, да вот сбежал. Блокнот от него остался, вчера случайно нашла». Я говорю: «Куда он мне?» – «Бери! Муж дочки оставил, может тебе пригодится. Он-то сбежал, ему не надо».

– Два идиота на одну семью – это многовато, – вставил я, правда, мне показалось, что эту фразу я уже где-то слышал. Только не помню, где.

Вечером мы ели запеченную картошку с мясом, выпили вина – у меня, как всегда, дико разболелся живот. Я пошёл в нашу комнату – лёг, а Настиной Маме хотелось поговорить. Она стала искать детские фотографии в ящике и наткнулась на маленький блокнотик:

– А, вот он. Тебе нужен?

Чёрный блокнот сжимает резинка, внизу, между страницами, протиснулся тряпичный язычок – закладка. Я нечаянно поцарапал блокнот ногтём и тут же подумал: «улики». Хотя какие тут могут быть улики?

Ирина Андреевна протянула мне стопку фотографий, но я на них не обратил никакого внимания, чем прежде всего обидел Настю.

Я открыл блокнот, пролистал несколько страниц, и мне стало смешно. – Это совершенно невозможно читать. – Если существует искусство распознавания почерка, как это там называется – кажется, графология, то я им владею.

Я совершенно чётко могу сказать: он писал в разном положении – сидя, лёжа, стоя; в разных местах – дома, на улице, в транспорте. Первые три страницы написаны по памяти, в один присест, очень быстро – оттого тут всё так криво. Что ещё? – Я о нём ничего не знаю. Блокнот и ручка у него всегда были с собой.

Вот они, первые записи, выборочно:

«В С-Бан[1] (на Bellevue) зашла пожилая женщина на костылях и громко сказала, что хотела бы прочитать свои стихи. Запомнил строку: «Но они-то наверху там знают...» Содержание – страдание, одиночество, тоска, боль. Женщина читала с закрытыми глазами, с хорошо поставленным голосом. Если бы я её не видел, сказал бы, что стихи пошлые. Там всё одни клише. Клише на клише. Только вот когда перед тобой «такой» человек – веришь. И кажется даже, что стихи-то нравятся. Женщина сказала, что для неё любая улыбка – очень дорога, и поэтому она от всей души рада. А народ улыбался, стихи слушал с интересом. Некоторые даже дали ей деньги».

***

«Негр на остановке Westkreuz. Что говорил – не помню. Он ходил босиком по станции – пятки сверкали – и громко орал. Кажется, он был в какой-то длинной национальной африканской одежде с яркими узорами. На остановке стояло человек двадцать-тридцать – все молчали. Только один негр кричал по-немецки».

***

«Платформа. Жуткий холод. Мимо меня проходит мужик в синей куртке и белых спортивных штанах. Бормочет что-то ругательное. Подъезжает С-Бан. Мужик машет машинисту, потом делает резкое движение в сторону поезда – хочет под него прыгнуть? Я захожу. Мужик за мной. Через пару остановок мужик встаёт и начинает ходить взад-вперёд по вагону – запахло потом. – «Вот сволочи... меня это так бесит!» – говорил с акцентом, прокуренным голосом. Люди оглянулись – потом опять читать, говорить друг с другом».

6.

В самом начале, на первой странице блокнота, я пропустил небольшое вступление: «В будущем постараюсь записывать сюда любого человека, который в этом городе разговаривает сам с собой, с другими, с кем-то ещё?» – Предположим, что это формула (и – форма существования таких людей?) На пятой странице автор впервые называет их «больными» и даёт определение: «больной – это а) глотка города, город говорит через больных. б) больные пытаются что-то до-

[1] *С-Бан (S-Bahn) – городская электричка. (нем.)*

нести до города – какую-то мысль, боль etc». Признаюсь – прочитал этот блокнот пару раз, но так до конца и не понял, что же работает на самом деле – что-то одно или всё вместе.

«На Friedrichstraße ждал У-Бан[1]. Возле скамейки стоит толстый мужик в чёрном пальто, на голове шапка, торчит как хохолок, в руках гитара. Мужик играет перед пожилой парочкой. Рядом смеются девочки – им лет по двенадцать. Он разворачивается к ним и начинает петь. Хотя это были скорее звуки. Дикие. Мужик сильно кривлялся, подпрыгивал, пел (кажется по-польски), правда однажды он совершенно чисто по-русски сказал: «Путин, Распутин...» что-то ещё, потом смачно харкнул на пол. Девочки продолжали хихикать. Я попытался запомнить ещё какой-то звук, слово – не запомнил. Сейчас сижу в вагоне, было это несколько минут назад».

Итак, чтобы город говорил или чтобы говорить с городом, нужно обязательно быть больным? Значит, есть круг «избранных»? – Можно легко поверить в фантазию автора на тему разговоров больных и города, можно поверить и в то, что он осознанно искал сумасшедших, однако мания бросаться на любого, у кого вдруг зашевелился рот, приводит к одной явной «несостыковке» – он пишет: «Я видел человека, который наверняка должен говорить». – Описывается мужик «придурковатого вида», который всё время кивал и улыбался, но молчал. – Что значит «наверняка должен говорить»? Тоже потенциальный больной и тоже заслужил здесь место? Но почему он тогда молчит?

***

«Tempelhof. Старик в чёрном был полностью увешан сумками и пакетами. В них я ничего приглядного разглядеть не смог. По-моему, там было тряпьё. Старик встал у рекламного щита и очень громко заорал. Это был ужасный, пронзительный крик – наверное, от усталости и злобы».

***

«Вспомнил случай на Zoo[2]. Худенькая девушка с плеером, в солнечных очках стояла на платформе и громко пела. Песня, видимо, закончилась, и она вдруг потянулась руками ко всем, кто ждал поезд: «Огромное вам спасибо! Спасибо!» (Я – певица, вы – мои поклонники!) Это такой способ репрезентации. На лице довольная улыбка. Песня была попсовая, на английском, по-моему».

И лишь всего один раз, на предпоследней странице, появляется реальный больной – такой, каким «принято его считать»: низкорослый, с приплюснутым лицом, огромной челюстью и маленькими пухленькими пальчиками. Он так и пишет: «даун в футболке немецкой сборной жутко скрипел зубами, будто стекло резал. Невнятно объявлял остановки метро синхронно с динамиком».

Определение больного так и остаётся непонятным. Можно упростить – «мужик», «женщина» и проч.

7·

Условно говоря – «разговоры» больных с городом, хотя скорее их общие голоса, – он называет «криком». Без объяснений, как само собой разумеющееся. – Идея такова: «В крике города хранится ключ, шифр». (Ага, тайна.) – В этом, безусловно, есть что-то эмоциональное, поэтическое.

У Эмиля Верхарна, например, есть цикл стихотворений, посвящённый индустриальному городу. – В «Городах-спрутах» Верхарн слышал звуки в порту, на вокзале, улицах, заводах:

---

[1] У-Бан (U-Bahn) – метро. (нем.)

[2] Сокращённое название остановки Zoologischer Garten.

Гул, гам, тревожный крик – тоскливо день уходит;
Приходят с ночью вновь шум, крики, маета...[1]

Отец читал мне эти стихи в детстве.

А где слышит «крики» наш автор? – «Больные кричат только в транспорте и на остановках». – Как мы видим, пространство заведомо ограничено. Но вот вопрос: если бы он провёл целый день в каком-нибудь гетто-районе, что бы он там услышал? Какой там «крик»?

«Около трёх-четырёх раз видел девушку с собакой. Эта девушка – единственная больная, которая (буквально!) «играла в крик». Она всегда пыталась изобразить боль, страдание: «Я сегодня ничего не ела. (Пауза. Хватается за бок, сгибается.) Пожалуйста, если хоть у кого-нибудь... мне сейчас очень трудно говорить...» Голос наигранно дрожит. Потом она якобы стряхивает слёзы, но носом не шмыгает. Исполнив роль, она медленно идёт по вагону, тихо подгоняя свою собаку: «Пойдём, Чарли, пойдём». Девушка очень хорошо поняла принцип игры: только если дотронуться до нашего «я» – на неё кто-нибудь да обратит внимание. И действительно, пассажирам нравится это представление – ей дают деньги. Сочувствуют. Но это фальшивый крик. Девушка – самая простая попрошайка, она ничего не знает о крике города».

***

«Ехал в метро. На Potsdamer Platz зашёл мужчина средних лет. Куртка нараспашку. Он подсел к группе девушек и с улыбкой сказал, что должен их зарегистрировать. Мужик достал из внутреннего кармана куртки маленький листочек и сделал какие-то записи. Лицо мужика – как у маньяка, ещё чуть-чуть и слюни потекут. Он всё говорил одной девушке: «Ты её вот так толкни, вот так», – и сам её в бок легонько подталкивает».

И ведь он серьёзно считает, что городу есть что сказать. Больные – это посредники. А их крик – послание к жителям.

Но дальше – ещё смешнее, безумнее: «Город глух, и в то же время он очень громкий (...) Время и место крика всегда случайны (...) Больные взрывают эмоциональное пространство». – Чувствую, что кто-то из нас уже давно залез в дебри.

Кстати вспомнил, в том имайле Отец писал: «Русский язык способен передать только художественный образ, но не мысль», а одна из его коронных фраз «Унтерменш из Восточной Европы не умеет структурировать» здесь более чем уместна. – Меня и самого воротит от размышлений на русском языке.

Русский язык – это яма, из которой не выбраться. Пора заканчивать.

8.

С каким бы трепетом автор не относился к «больным» и как бы тонко он не анализировал их «крики», всегда найдётся человек, который ко всему этому останется равнодушным. – Вот одинокий паренёк разъезжает по городу и описывает людей, которые что-то говорят. – Отец наверняка скажет: «Ну и чяво?» На это «Ну и чяво?» рационального ответа нет.

Можно разъяснить истории, описать структуру записей, рассмотреть соотношение деталей, но очевидно, что после прочитанного внутри нас должно что-то произойти, «ёкнуть». – Жалость, сострадание? – Да что-то не ёкается[2].

«Напротив меня сидел пожилой мужчина: очки в золотой оправе, красный шарф, в ногах кожаная сумка. И – с записной книжкой. Из написанного я ничего разобрать не смог, вряд ли он

[1] *Эмиль Верхарн. Города. Перевод Ю. Денисова.*

[2] *Слизал вступление Набокова о «Превращении» Франца Кафки.*

писал по-немецки. Мне почему-то вдруг показалось, что этот мужик мой двойник. Он посмотрел по сторонам, пробубнил себе под нос и что-то записал. Может меня? На Französische Straße он убрал свою тетрадь в сумку и вышел. Кстати, а вдруг он меня уже обогнал?»

Давайте всё-таки снисходительно отнесёмся к его труду. – На тридцать пятой странице автор сам делает поблажку – и с ней мы справедливо согласимся – «мои записи – это всего лишь черновая работа». – Что ж, поиск, а не декларация заготовленных решений – уже что-то.

«У выхода из вокзала стоял мужик с огромными пакетами и говорил о либидо. Он же как-то поднимался на эскалаторе и читал нараспев текст по-французски. В последний раз я его видел в метро. На голове арафатка, в руках пакеты. Лицо красное, в пятнах. Алкоголик? Мужик пародировал арабский акцент. Фразы повторялись: «Арабские цэркви всэгда квадратни», «Нада быт экзатычны». Говорил, что «мы» (мусульмане) скоро тоже будем отмечать, а пока евреи празднуют Хануку у Бранденбургских ворот».

А вообще, всё это тянет на типичный «социальный проект». – Собрать истории про каких-то «больных», написать о них книгу или даже снять фильм. – Поставить им таким образом памятник. (Немцы это любят!)

На презентации выступит модератор: «Вам удалось услышать страдающий голос города. Хочется сказать спасибо за проделанный труд...» – Хочется сказать, так говорите! Модератор, конечно же, западный немец – круглые очёчки, седая бородёнка, серый костюм. Деликатный, очень вежливый.

Отец считает, что западные немцы даже по-другому пахнут.

Кстати о вони. – Известно, что у болезней бывает специфические запахи. Автор вполне мог написать: «запах крика», но даже и это мы бы ему простили. Так ведь? Впрочем, мы лишь в очередной раз пытались угадать, о чём он думал. Не более того.

9.

После прочитанного мне вдруг вспомнилась одна фраза Отца. – «Я вшив и болен. Das war's[1]», – он, когда окончательно понял, что никаких перспектив в Германии у него нет. – Это был приговор самому себе, но, по-моему, Отец особо не расстраивался. К тому же мы могли отвлечься – путешествовать – и тогда мысли о «болезни и вшивости» его покидали.

Одна из наших первых поездок была в Любек. – Ещё задолго до переезда Отец написал в анкете, выданной посольством Германии, что хотел бы жить именно там. Свой выбор он объяснил так: «Думал, что в Любеке до сих пор сохранился дух Томаса Манна». (Тут, надеюсь, без шуток.)

Отца можно понять: при той нищей российской жизни конца девяностых узкие улочки, Мариенкирхе да марципаны казались выходом из безнадёжности, и как же теперь к ним не прикоснуться, коль тебя спросили? – Пожелание Отца зачеркнула бабушка и исправила на другой ганзейский городок в бывшей ГДР, в котором жила моя тётя. – Так туда мы все отправились и до сих пор живём.

И уже тогда любая наша вылазка начиналась с препирательств, а заканчивалась непременно ссорой. – В Любеке, в Доме Будденброков, счастливый Отец предложил после двухчасового просмотра ещё раз пробежаться по всем комнатам, а мне надоело, хотелось, наконец, выйти в город, но Отец был неумолим. – В бешенстве я схватил его за рубашку и случайно оторвал пуговицу, на что Отец вскрикнул: «Ты чо, скотина, охренел?!»

Происходило это в винном погребе Маннов, там, где, кто ещё помнит, хранилось вино мальвазия. И я вдруг подумал: «Здесь ходил с бутылкой задумчивый Томас Манн, а теперь русские евреи рубашки друг другу рвут. Что бы это могло значить?» – Пуговица выскользнула из моей руки и упала на пол.

---

[1] *Das war´s – всё, это конец. (нем.)*

Мы вышли разгорячённые из Дома Будденброков, потом молча гуляли по городу, пока не наткнулись на Госпиталь Святого Духа и буквально раскрыли рты. – В этом огромном кирпичном доме с пятью башенками жили нищие и больные. Им было уготовано одно из центральных мест города. – Тут тебе и социализм, и репрезентация. Это семьсот-то лет назад!

Если позволишь, я ещё немного поразмышляю по-русски, ладно? – О, Боже, только не это, прошу тебя!

«Современные» больные растворяются в городе, точнее – их привыкли прятать. – Город считает, что больным вредна суматоха (на самом деле город пытается уберечь себя), поэтому сегодня больницы находятся в тихих местах и обносятся стенами.

Эта бредятина пришла мне в голову, когда я сам оказался в больнице. – Неделю назад у меня сильно разболелся живот, поднялась температура – терпеть силов моих дамских не хватало. – В итоге меня отвезли в больницу и ближе к вечеру удалили аппендицит.

Вот и пришло страдание, столь необходимое для творчества. Может сейчас-то и прорвёт? – Впрочем, Отец всё равно скажет: «Ляжки лопнут, хоть они у тебя и толстые».

Я медленно сползал с больничной койки и, сгорбившись, выходил в коридор – проходившая мимо медсестра советовала: «Держите спину ровно!» – Легко сказать! Сама держи спину ровно, дура! – Живот с адской болью тянуло вниз.

Через пару дней я уже мог спускаться во внутренний двор больницы, в одиночество – здесь никто меня не видел. – И какая же была радость, что скрываюсь от города! – Получил то, о чём мечтал?

Я вернулся в палату и тут же уснул. Меня разбудила Ирина Андреевна – она погладила мою ногу. Я открыл глаза, и Настя, уже со слегка выпуклым животом, сказала:

– А мы прифли к папочке.

И потом всё время говорила детским голосом.

Сам тому не удивляясь, я задвинул пошлейшую речь, что, мол, нужно держаться, быть вместе – и до того растрогался, что даже прослезился.

Стоп. Хватит здесь сопли разводить, поменьше сентиментальности, ути-пути и проч.

Пусть пока Настя с Мамой побудут в кадре, а затем они сами медленно удалятся.

И вот ты снова один. – Белые стены, койка, поднос с чашкой, открытое окно, за которым качается ветка. На подоконнике выцарапаны имена Aschenbach и Pferdem ller – хотя в кадр это не попадает.

Давай что ли уже финальный рывок!

10.

Я иду босиком вдоль моря и разглядываю мелкие камни. – Местные жители так привыкли медитировать, чтобы избежать тоски. – Пора привыкать к их обычаям.

Вон там, чуть подальше, лежит корявое брёвнышко (эх, с него-то и надо было начинать!) – Сколько раз мы на нём сидели с Отцом и пили баночное пиво «через тяг»! – Затягивались сигаретой, делали глоток и выпускали дым. Улица учила: так быстрее даёт по шарам. – Но нам-то куда было спешить?

За эти десять немецких лет Отец намотал у моря «расстояние до луны» – каждый день он гуляет здесь один и фотографирует: рощицу, закат, море... – При всей «слащавости» этих мотивов бросается в глаза лишь одно – монотонность пространства, доводящая до отчаяния. – Хоть кричи – тебя никто не услышит.

Во входящих сообщениях сохранился его смс: «Много ль поймёшь из шипучего такта, как кардиолух не слышит инфаркта?»

Попробуй, передай всё это! – А Отец ведь смог!

До отчаяния дошёл и я, когда Настя неожиданно переметнулась на сторону своих родителей – отныне все стрелы летели только в меня. – Добили жестокие слова Ирины Андреевны: «Мужик нынче обмельчал». – Произошло это почти сразу после родов Насти, когда я был не в состоянии

в чём-то помочь – но не я ли сжимал её руку, когда акушерка кричала: «Weiter! Weiter!»[1], не я ли перерезал пуповину, похожую на резиновый шланг для полива огурцов?

Меня выжили из квартиры, и спустя ровно год я вновь мою свои ноги в морской воде.

Знаешь, всё-таки не хватает тебе какого-то щелчка, чтобы – ага, вот оно как! У немцев это называется Aha-Effekt.

Хорошо. Тогда вдруг – ну, разумеется, выкрутился! – всё резко меняется. – Мне ударяет моча в голову, и я бросился снова бежать – уже во второй раз. (Не много ли?) – Я «ломанулся» к остановке, потом ехал в автобусе до вокзала с закрытыми глазами (да ладно?) – лишь бы не видеть депрессию панельного города. Сел в поезд (открыл глаза?), а по дороге из окна разглядывал детали: сено, укутанное брезентом, заброшенные дома с выбитыми окнами, пляшущие деревья, скамейка на лужайке, коряги, следы от машин на сырой земле, гнёзда, чистое небо – и так почти три часа до Берлина.

Я вышел на главном вокзале, сел в С-Бан, и мне уже становилось страшно – как меня примут? И – что потом?

Со мной зашёл рыжебородый мужик в зелёной бундесверовской куртке. Он прислонился к двери и совершенно спокойно заговорил: «На каждую нашу жертву найдётся ваша жертва. У нас есть обученные бойцы, и их бомбы ждут вас. Вас всех разнесёт в клочья, ублюдки. Чтобы всё было по-честному – вы у нас убили, мы у вас. Только попробуйте, твари, отнять моего ребёнка, я каждого убью. Я возьму топор, и буду рубить вас до тех пор, пока не останутся мелкие кусочки».

Пассажиры его не замечали, уткнулись в окна, молчали.

А, может, не слышали? – Да я прям как те два ангелочка из «Неба над Берлином», которые читали мысли тоскующих жителей! – Только чего уж мне выбирать и ценить невечную жизнь, коли я и так смертен?

Вот и дом, в котором я когда-то жил. – Позвонил в домофон – открыли, даже не спросили, кто. – Уже не плохо. (Решили, что почтальон?) – Я поднимался по лестнице и думал: выйдет Виктор Викторович – пинком спустит вниз, Настя – хлопнет дверью.

Открыла Ирина Андреевна.

Ровное дыхание, смотреть в глаза, спокойно изъяснить суть дела – я приехал за блокнотом, вот и всё!

А она будто этого только и ждала – тут же упорхнула на поиски.

Что же в это время происходит за стеной? – Глава семьи развалился на диване перед включённым ящиком. Дочь набивает «вконтакте» очередной бородатый статус вроде: «Что нас не убивает, делает нас сильнее». А малыш крепко спит. О нём-то я не спросил.

Позволь мне последнее изречение: «Нужно быть сволочью, чтобы стать режиссёром». – Отец парирует: «Что ж, первое условие ты выполнил, со вторым, мягко говоря, не уверен».

Ирина Андреевна вернулась через минуту и протянула блокнот.

И я сказал:

– Решил сделать на себя – любимого – пародию.

– Что? – сморщила лоб.

– Ун пети пароди... Как будет «на себя» по-французски?

– Семён, ты больной что ли?

– Примерно, – съязвил я.

И закрыла дверь.

И к чему было притворяться, что блокнот якобы чужой, и мне случайно его дали в руки? – Всё это притянутая за уши история. – Отец мудро добавит: «Не считай других глупее себя». – Кажется, ты сам уже запутался.

Раскрой свой блокнот, разыщи больных и снимай. – В морду, небось, не дадут. А сюжет уж сам найдётся!

---

[1] *Weiter! Weiter! – Дальше! Дальше! (нем.)*

И пусть он будет таким, как страшный сон: Действие происходит в подземном городе-утопии, в духе «Метрополиса» Фрица Ланга. Главный герой – молодой хмырь – едет в поезде с целью отыскать Отца.

Вагоны забиты. Лица людей угрюмые. Остановка. Все до единого выходят на площадь и собираются вокруг постамента, на котором мужик – посол – задвигает речь: «46. Нет, лучше 94, 115». Затем загорается красная стрелка – переход на другую линию. – Поезд трогается. По дороге пассажиры обсуждают услышанное, но герой в мыслях об одном – Отце.

Опять остановка. На этот раз вещает другой посол – бабка – её внимательно слушают: «Дающему воздастся... Бог дал, Бог взял...» – Загорается зелёная стрелка. Значит налево. Опять в поезд. Обсуждение.

И каждый раз – на очередной остановке – новый посол, новый абсурд. – Очевидно, что все эти послы-ораторы манипулируют жителями – бессмысленно передвигают их из одной части города в другую. – А парень всё дальше удаляется от Отца.

Но вдруг – такая случайность! – он встречает его на остановке. – Отец как заколдованный слушает посла. – Сын предлагает бежать в «святые места», в то счастливое время, к брёвнышку, на котором они когда-то сидели у моря, ведь должен же быть здесь выход! Но Отец покорно движется в сторону красной стрелки, на новую линию, в этот адский круг, в котором они оба в итоге и растворяются.

Вполне такой голливудский сюжет, на троечку.

Отец подскажет: «Снимай так, чтоб ни одна сволочь не могла придраться!»

В конце концов, я пытался передать голос города, но на самом деле – я лишь хочу, чтобы услышали меня. – Имею право!

И всё-таки фильм надо было заканчивать хэппи-эндом, с пошленькой надеждой. – Господи, ну когда же жизнь-то, наконец, начнётся снова? Ведь здесь фатерлянд мой новый, Мать его ети!

07.09.2012

Михаил ОКУНЬ

ДИКОЕ ПОЛЕ

Рассказ

В начале девяностых годов Сперанский эмигрировал в Канаду. Женился на русской, родилось двое сыновей. Со своим инженерным дипломом (впрочем, на «новой родине» не признанным) нашел непыльную работенку в небольшой фирме – установка водяных фильтров на дому, замена в них картриджей. Так и тянулась жизнь ни шатко ни валко. А каких-либо особых амбиций Сперанский никогда не имел.

Но однажды, вскоре после новогодних праздников, в его квартире раздался резкий телефонный звонок. Звонила двоюродная сестра Сперанского из Петербурга:

– Ты должен срочно приехать! Видишь ли, как бы это сказать... В общем, твоя мама сошла с ума!

Сперанский остолбенел.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что всё началось с каких-то песнопений, которые мать постоянно слышала, хотя ближайшая церковь находилась в нескольких кварталах от дома. Потом она стала подолгу стоять на кухне у вентиляционной отдушины, внимательно ловя некие важные сообщения «по федеральной связи».

Затем пошли небывалые истории о каком-то жильце с восьмого этажа, матерные песни которого она вынуждена слушать круглые сутки. Этот страшный жирный парень целыми днями валяется голый в своей квартире среди шкур и перьев убитых им и пожираемых сырыми животных и птиц, вымазанный в их крови и собственном дерьме. А для удовлетворения похоти к нему приходят две ужасные женщины, старые уличные потаскухи.

Дальше в ее рассказах как некое противостояние мерзости и разврату возник священник, который пообещал, что от церкви по его распоряжению ей подарят новые телевизор, холодильник, стиральную машину, заменят газовую плиту. Позже сделают ремонт квартиры, а затем и вовсе переселят в большую квартиру в центре, «подобающую ее статусу». Священник, назвавшийся Николаем Васильевичем, также предложил матери руку и сердце и пригласил в свадебное путешествие в Париж.

– Я сначала даже подумала, что работают черные риэлторы, – добавила сестра, – но потом всё поняла...

Кончилось тем, что три дня назад под утро мама ушла «на голоса», назначившие ей встречу, из дому, в одном халате, оставив квартиру открытой. Ее увидели соседи стоящей у мусорного контейнера неподалеку от дома и с трудом вернули домой. Затем она заперлась в квартире и двое суток не подавала признаков жизни. Пришлось взламывать двери.

– В общем, срочно вылетай! Сейчас она одна в квартире, и неизвестно, что ей опять придет в голову.

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах «Волга», «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин) в номинации «Малая проза». С 2002 года живет в Германии.

Сперанский понял, что именно в эту минуту привычный уклад жизни обрушился, как ветхий барак в российской глубинке. Надо ехать, что-то предпринимать...

– Как ты обо всем узнала?.. – безнадежно спросил он.

– Сначала из разговоров с нею по телефону стало ясно – что-то не то творится... А потом, когда ушла из дому, соседи позвонили. Я к вам домой ездила, когда квартиру пришлось вскрывать. А мне из Колпино – сам понимаешь, не ближний свет. Да и под семьдесят уже, если помнишь...

Последние фразы Сперанский постарался пропустить мимо ушей.

– А что врачи? «Скорая» была?

– Даже две – обычная и психиатрическая.

– И что?

– Ну что... После ее ночного выхода в первый раз вызывали. Укололи снотворное. Может, потому и не реагировала ни на что два дня. А позже психиатры с другой «скорой» сказали: зачем мы ее будем брать? Старушка восьмидесяти пяти лет, для окружающих неопасна. Мол, у нас двадцатилетние психи с ножами бегают. Хотя, как сказать, – неопасна... Вон, весь подъезд засуетился – может газ включить, взрыв устроить. В общем, надо тебе ехать!

– И всё-таки, отчего это, какой диагноз?

– Сказали – сенильная деменция, сопровождаемая психозом.

– Сенильная деменция?

– Старческое слабоумие. Обратного ходу, говорят, нет. Но жить можно.

– Но почему именно с нею? У нее всегда был такой трезвый, ясный ум, без иллюзий...

– В последнее время усилился склероз сосудов мозга. К тому же – одиночество...

– Я вылечу ближайшим рейсом. Только на работе договорюсь.

– Ключ от новых замков возьмешь у соседки снизу. Я ей пару тысяч дала, чтобы пока хоть немного приглядывала.

«Боинг» приземлился в Пулково-2. Ранние январские сумерки уже упаковали окрестности. Со своим небольших чемоданом Сперанский решил добираться до дому не на такси, а «демократичным» путем: автобус – метро – автобус. Почему – и сам себе не мог объяснить. С удивлением узнал, что от аэропорта до метро «Московская» по-прежнему ходит всё тот же тринадцатый номер.

Не без трепета вошел он в этот роковой номер. Автобус был древним, еще львовского автозавода. Когда он тронулся с места, что-то в двигателе начало с готовностью завывать.

Сидячего места Сперанскому не нашлось – остановка у аэропорта не была конечной, автобус шел из авиагородка, находящегося дальше.

Он жадно вглядывался в пассажиров. О, эти тётки в столбообразных шубах и меховых тиарах! – они, похоже, на родине вообще вне времени.

Немало было среднеазиатских парней – то ли таджиков, то ли узбеков, одетых в одинаковые темные куртки и черные вязаные шапочки.

Он вспомнил, как один его знакомый, тоже бывший ленинградец, возил юную племянницу показывать родной город, в котором она ни разу не была. Первым же вечером она с недоумением спросила: «Откуда здесь столько мексиканцев?!»

Местности Сперанский не узнавал. Вся она была заставлена ярко сияющими стеклянными трехэтажными «бараками» со стандартным содержимым: первый этаж – автомойка, второй – офис какой-нибудь фирмы с забубённым названием, третий – совершенно пустой, светящий цветными плафонами «элитарный» ресторан.

Выйдя из автобуса, Сперанский вошел в метро. Оно показалось ему неказистым и потертым. Первоначальный блеск «подземных дворцов» заметно потускнел. Детство Сперанский провел в центре Ленинграда, в районе станции метро «Владимирская», с ее мощным мозаичным панно под названием «Изобилие», изображающим единение народов СССР. А на стеклянные колонны станции «Автово» они с одноклассниками даже специально ездили смотреть как на чудо.

Выйдя из метро и ожидая автобуса на Охту у Финляндского вокзала, Сперанский заметил прямо у остановки вход в заведение с гордым названием «Рюмочная №1». Немного поколебавшись, он зашел и заказал сто граммов водки. Первая стопка на родине. С возвращением!

С трепетом повернул он ключ в замке и вошел в квартиру. Свет был выключен. В слабом свете уличного фонаря он разглядел маму. Она, понурившись, сидела на кровати.

Включил свет. Мать недоуменно и тревожно взглянула на него. Вздернутые брови, чужой взгляд...

– Здравствуй, мама! Узнаёшь?

Она неуверенно кивнула.

В квартире царил беспорядок. Фотографии в рамках были сняты со стен и валялись на полу. Некоторые снимки были вынуты из рамок и порваны в клочки. Кроме фото, по всей квартире были разбросаны старые документы. Как и одежда, вывернутая из шкафов. Посреди большой комнаты мертвым зверем валялась черная каракулевая шуба. С трудом Сперанский навел хоть какой-то порядок.

В последующие дни он понял, как трудно постоянно находиться вместе с человеком, пусть и родным, который, мягко говоря, не в себе. Мать практически не разговаривала с ним, ни о чем не расспрашивала, ничем не интересовалась. Она жила какой-то своей, отдельной жизнью. Допоздна бродила по квартире. Иногда останавливалась у входной двери и кричала неким незримым врагам: «Только попробуйте сунуться, у меня топор!» И действительно, Сперанский обнаружил припасенный в прихожей кухонный топорик для рубки мяса.

Он попробовал показать ей привезенные видеозаписи последнего семейного новогоднего праздника. Она равнодушно посмотрела с полминуты и попросила выключить плеер.

На все уговоры и увещевания Сперанского мать не обращала внимания. Смотрела на него прозрачным непонимающим взглядом и молчала. Она почти ничего не ела, не мылась, не чистила зубы.

Так прошло два дня. А на третий Сперанский, придя в полное отчаяние, запил, как не запивал уже много лет, с отъезда из России.

Дни и ночи слепились для него в один ком. Он пил водку, запивал ее шампанским, доползал до дивана. Спал. Потом вставал и шел за новой дозой.

Затаривался Сперанский в маленьком магазинчике прямо напротив подъезда, оборудованном в будке из бетонных плит, бывшей когда-то частью местной помойки. У населения он носил название «Мусорный бачок». Спиртное там, несмотря на запрет продажи с одиннадцати вечера, можно было, не таясь, купить круглосуточно.

В ночное время продавцом в «бачке» работал молодой казах, вполне сносно изъяснявшийся по-русски. Однажды Сперанский неожиданно для себя разговорился с ним. «Кайрат» – представился продавец. «Помню, помню, – подумал Сперанский. – Был такой футбол: „Кайрат“, „Пахтакор“...» Он разоткровенничался, рассказал о себе, о несчастье с матерью.

Оказалось, что Кайрат знает ее. Именно к нему январской ночью зашла, дрожа от холода, сухонькая старушка в домашнем халате. «Я включил печку, дал ей чаю».

Сперанский, разгоряченный алкоголем, стал усиленно благодарить. Кайрат перебил его: «Если за вашей матерью приглядеть надо – есть тут у меня одна девочка-узбечка. Только что из «Пятёрочки» уволили, на кассе работала. Хорошенькая». И, подумав, добавил: «Если что еще надо, она может...» Сперанский, охолонув, поинтересовался, сколько же эта мастерица на все руки возьмет за уход. «Немного, тысяч тридцать – сорок в месяц» – ответил продавец. И простодушно добавил: «Вы же в Канаде живете...»

Решив, что разговор пора заканчивать, Сперанский к видимому разочарованию Кайрата попрощался, подхватил пластиковый пакет, тяжело звякнувший бутылками, и отправился восвояси.

Эх, жаль, нет уж тех водосточных труб. Пнул ногой – загрохотал лед...

Наконец, Сперанский взял себя в руки и в надежде получить хоть какую-нибудь помощь отправился в районный психоневрологический диспансер.

«Ваш адрес? – спросили его в регистратуре. – Врач участка – Гольдштейн Саул Ефимович. Сегодня прием как раз с двух, кабинет номер восемь. Подождите пятнадцать минут».

Сперанский сел у кабинета. Он оказался первым. Через несколько минут очередь за ним заняла высокая девица модельного типа в обтягивающих джинсах. Сперанский пригляделся к ней. Покоя она не знала. Темные очи девушки сверлили стену напротив. Пухлые губы поминутно кривились. Длинные черные волосы будто шевелились, как змеи на голове Медузы Горгоны. Она сводила и разводила колени, внезапно резко подавалась тазом вперёд-назад. Сперанский почувствовал себя свидетелем какого-то виртуального соития с невидимым партнером, которому пациентка доктора Гольдштейна отдавалась со всевозможной страстью. «Эк ее забирает!» – подумал он.

В этот момент в кабинет прошел, открыв дверь ключом, маленький крепкий старичок в светло-коричневой дублёнке с меховым воротником, которая была писком моды восьмидесятых. Через пару минут он, уже облачившись в белый халат, выглянул в коридор и пригласил первого по очереди.

Это и был врач-психиатр Гольдштейн. Судя по возрасту, пенсию он заработал уже давненько, но продолжал оставаться на посту по причине, вероятно, мизерности оной.

Саул Ефимович сдержанно выслушал Сперанского, предложил изложить всё сказанное в заявлении на имя главврача и добавил:

– Вы очень поможете своей матери, если приведете ее в диспансер на осмотр.

– Но я не могу этого сделать! – вдруг сорвался Сперанский. Его задела эта нарочитая, как ему показалось, сдержанность врача. – Она меня совершенно не слушается. Не хочет одеваться, выходить из дому. Что мне делать?! Вы можете осмотреть ее на дому?

Доктор Гольдштейн остро взглянул на него, и в этот момент, возможно, подумал, что и самому просителю уже весьма скоро потребуется психиатрическая помощь. Но, как истинный профессионал еще от советской психиатрии, продолжал сохранять спокойствие:

– Это входит в мои обязанности. Но когда именно я побываю у вас – не могу сказать. Например, сегодня я принимаю до восьми, завтра утренний прием, а во второй половине дня – хозрасчётный. Попробуйте позвонить через пару дней.

– Но мать явно нуждается в срочной помощи! – воскликнул Сперанский. Но, памятуя о прошедших в запое днях, сбросил обороты и тихо добавил:

– И так уже несколько дней потеряно...

– В таком случае, требуйте вызова психиатрической «скорой». Найдите аргументы. Вы имеете право!

Сперанский распрощался и вышел. Навстречу, мимолётно улыбнувшись ему, в кабинет проскользнула одержимая бесом секса юная модель.

Придя домой, Сперанский позвонил по «03» и попросил связать его с диспетчером скорой психиатрической помощи. Ему ответил бодрый мужской голос. И, пожелав матушке Сперанского прожить до девяноста лет и дольше, стал убеждать, что в их выезде в данном случае нет необходимости: «У нас молодые люди с ножами бегают, а тут тихая старушка, никого не трогает. Ну, несёт чепуху, – и что в том?..» «Да, слышал я уже про этих юных психов...» – вспомнил Сперанский. И как последний аргумент упомянул топорик – с непреодолимым чувством, что совершает подлость, – ведь с топориком он маму не видел. Но это сработало. «Скорую» обещали прислать.

Через полчаса раздался звонок в дверь. Сперанский открыл, и в прихожую вдвинулись, всю ее заполонив, шкафообразный врач и два таких же санитара. Зашли в комнату матери, лежащей на кровати. Субтильные табуреточки из некогда дефицитного набора чешской кухонной мебели, предложенные Сперанским медикам, жалобно застонали под их увесистыми телами. Врач попросил Сперанского выйти из комнаты и начал беседу.

Из коридора Сперанский слышал вполне толковые ответы мамы на стандартные вопросы о годе, месяце и дате, а позже ее раздраженный голос: «Не хочу я больше с вами разговаривать!»

Потом врач вышел к Сперанскому и завел вполне ожидаемую песню о том, что забирать пациентку в больницу особых оснований нет, для себя и окружающих она неопасна. Нужен постоянный уход, лечение и наблюдение психиатра.

– Я был сегодня в районном ПНД, просил мать осмотреть. Но врач сказал, что надо вызывать «скорую», то есть вас.

– Это кто ж там такой? – спросил врач, и, услышав фамилию, сказал: – А-а, ну этот жопу от стула не оторвет...

Разговор зашел в тупик, и тогда Сперанский вновь завел речь о топорике...

Мать услышала его слова и твердо сказала:

– С топориком я не ходила!

– Ну ладно, как знаете! – многозначительно сказал врач и дал команду санитарам – одевать и выводить.

Дальнейшее Сперанский вспоминал с тяжелым чувством. «Мама, надо ехать!..» –тянул он. Санитары переглянулись, один из них сказал: «Уговаривать можно до бесконечности!» – и они начали действовать: насильно поднимать и одевать мать.

Она сопротивлялась, не хотела просовывать руки в рукава. Пнула ногой табуретку. Та поехала и врезалась одному из санитаров в колено. Он чертыхнулся. Врач, а вслед за ним и Сперанский, подключились к процессу.

На выходе, уже смирившись, мама попросила надеть ей на голову берет, лежащий на гардеробной полке.

– Куда едем? – спросил Сперанский в машине у одного из санитаров. Тот нехотя назвал больницу.

– А, на Удельной... – вспомнил Сперанский.

В народе она носила название «Скворечник».

Машина тронулась. Мать, лежа на носилках, вела себя беспокойно, пыталась встать. «Мы ведь и привязать можем!» – пригрозил санитар.

Она всё делала Сперанскому какие-то знаки, просила: «Запоминай дорогу!» А потом, приподнявшись, безнадежно сказала: «Всё, сынок, завезут нас на дикое поле!»

Ожидая приема больничного врача, они с мамой, тесно прижавшись, сидели в одном помещении с сотрудниками бригад «скорой». Доносились обрывки разговоров:

– Ну, как у вас сегодня?

– Откачали три суицида. Нормальные шизофреники-наркоманы...

В приемном покое молодая улыбчивая докторша профессионально-утешительным тоном задавала матери вопросы: «От кого же вы всё время защищаетесь, Анна Ивановна? Говорите, пробираются ночью, хотят завладеть документами и отобрать квартиру? А что за жених у вас появился? Уже не помните? Ну, ничего, ничего...»

И резюмировала:

– На девятнадцатое отделение.

Мать переодели в больничный халат, выдали тапочки, сняли колечко и крестик, отдали Сперанскому. Он поцеловал ее на прощание.

Уходя в сопровождении сестры, она, уже в дверях обернулась и строгим голосом спросила Сперанского:

– Зачем ты меня сюда привез?!

Следующий день был впускным, и Сперанский отправился в больницу.

Проходу непосредственно на отделение к больным предшествовала встреча с лечащим врачом. Перед Сперанским в кабинет врача зашла девушка с какой-то бумагой. Когда она вышла, Сперанский пристал к ней с расспросами. Девушка без затей поведала ему, что ее бабушка уже

давно лежит на этом отделении, а теперь ее оформляют в интернат, места ждали полгода. Сейчас собирают документы, вот принесла врачихе справку о пенсии.

Сперанский поблагодарил девушку и вошел в крошечный кабинетик.

– Ирина Петровна! – резко сказала полная женщина лет сорока. – Представьтесь, пожалуйста, полностью!

Сперанский назвал себя.

– Кем и кому вы приходитесь?

– Сын Анны Ивановны Сидоровой.

– Ясно. Она поступила к нам вчера. Что-либо определенное пока сказать трудно. Приходите на беседу на следующей неделе. Вопросы?

– Каковы перспективы?

Ирина Петровна взглянула на Сперанского немного насмешливо:

– Она пробудет у нас недели три. Какой она была – уже не будет. Ждите ухудшения состояния – главное, чтобы оно шло как можно медленнее. Такие больные одни жить не могут, главное – внимание, терпеливый уход. Важна социальная адаптация.

– А если поместить ее в какой-нибудь интернат?..

Ирина Петровна будто даже обиделась:

– Вы как-то отстраненно говорите! Во-первых, нужно согласие самого больного. А во-вторых, этим занимаются органы социального обеспечения. Их представитель придет и спросит у вашей матери, понимает ли она, что ее выпишут из квартиры, что ее пенсия будет переводиться на счет интерната – и это, фактически, уже окончательно...

– Что касается отстраненности – простите, но я здесь долго не был... Последние годы живу за границей...

– Но родились-то вы здесь! – воскликнула Ирина Петровна.

«Да уж, – подумал Сперанский, – это как родимое пятно».

Он промямлил:

– Но мне тут в коридоре одна девушка сказала, что врачи больницы занимаются оформлением...

– Какая девушка?! – ничего подобного! Мы занимаемся только одинокими, да и то не всеми.

– Но я скоро уезжаю, отпуск кончается...

– Вот как? – ну, это ваши проблемы.

И, секунду подумав, добавила:

– Впрочем, платные интернаты закроют глаза на согласие пациента.

– И сколько стоит пребывание в таком интернате?

– От тридцати тысяч в месяц...

Разговор был исчерпан. Сперанский подошел к двери отделения и постучал. Крепкая нянечка лет пятидесяти открыла ему дверь.

Взору Сперанского открылся длинный коридор, по стенам которого стояли стулья. Все они были заняты старухами в серых одинаковых фланелевых халатах. Моложе восьмидесяти никому из них на вид не было.

Впрочем, сидели не все. Одна ходила по коридору взад-вперед почти строевым шагом. Другая, хитровато улыбаясь, танцевала. Еще одна ходила за медсестрой и клянчила: «Сестра, сестра! Ну, когда же починят унитаз? Уже два дня...» «Что я могу сделать?! – отвечала та. – Я говорила сестре-хозяйке». Кто-то из сидящих у стены старух выкрикнул: «Меньше срать надо!»

Наконец, Сперанский увидел мать, безучастно сидящую в конце коридора. Он подсел к ней и сказал: «Вот, привез зубную щетку, пасту, расчёску. Мама, а где твои очки?» – «Выбросили на помойку! – ответила она. – Я из окна видела, как по двору несли». – «Ну, это вряд ли... Я спрошу у сестры». Мать внезапно наклонилась к его уху и прошептала: «Сынок, здесь все сумасшедшие! Все...» – «Но и у тебя...» – Сперанский осекся. «Ты хочешь сказать, что и у меня что-то с головой? – нет, у меня всё в порядке!»

С полчаса посидели. Сперанский стал собираться. «Что тебе привезти?» – «Ничего не хочу!» – «Ну, может, хоть мандаринов?» – «Хорошо, принеси...»

Сперанский поднялся и, не оглядываясь, пошел к выходу. Его обогнала танцующая старуха:

– А вы к нам на восьмое марта приходите! У нас всё начальство будет!

– Обязательно приду! – ответил Сперанский.

На выходе он спросил у сестры, куда делись очки мамы.

– На вещевом складе, – ответила она. – Забираем всё стеклянное.

– Но у других я видел...

– Значит, им уже можно, врач разрешил.

Не слишком уловив логику ответа, Сперанский покинул больницу.

На обратном пути он зашел в кафе неподалёку от дома, заказал котлету по-киевски. Две худенькие крашеные девчонки за соседним столиком хихикая пересчитывали мелочь. На вторую чашку кофе им явно не хватало. Одна из них подошла к его столику:

– Молодой человек, не могли бы вы...

Сперанский оценил комплимент и протянул сотенную бумажку. Через две минуты девчонка честно принесла сдачу и остро глянула ему в глаза. Сперанский всколыхнулся было, но сразу остыл. «Оставьте себе», – сказал он, и, не доев котлету, которая была какой угодно, только не «по-киевски», двинулся к дому.

Сперанский стал жить один. Ходил обедать в столовую, эксплуатирующую ностальгию по советским временам – с блюдами тех лет, но ценами далеко не равнозначными. Вечерами листал непрочитанные книги, накупленные в конце восьмидесятых, во времена «возвращенной литературы». Рылся в письменном столе, который ему к небывалой радости купили еще тогда, когда он пошел в первый класс. Находил милые забытые вещицы – сломанные перьевые ручки, коробку с шашками, карманную монетницу, старую немецкую готовальню из золингеновской стали... Листал пожелтевшие записные книжки. Выуживал из них номера телефонов и даже безуспешно пытался дозвониться до кого-нибудь из давних знакомых, о которых не вспоминал почти два десятка лет.

Спал плохо. Засыпал поздно ночью, просыпался в шесть-семь утра. Да и сон был тревожный, поверхностный, – чудились скрипы, тихое шарканье...

Продолжал присматриваться к окружающей жизни. Из увиденных вывесок ему особо запомнилась «Планета секонд хэнд». А из строк с многочисленных «бордов» – следующий «шекспир»: «Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о карьере в сфере нефти». В троллейбусе удивила инструкция от МЧС: «При обнаружении, что салон находится под напряжением, следует покинуть его прыжком». Сперанский оглядел пассажиров и не обнаружил ни одного, способного «покинуть прыжком».

Время от времени Сперанский включал телевизор. Российское телевидение он за эти семнадцать лет не смотрел ни разу.

Он вглядывался в лица дикторов, поражался количеству оговорок и грамматических ошибок в титрах. В развлекательных передачах было полно новых фриков, но и старые не сдавали позиции: ставшая еще более вульгарной и безаппеляционной «женщина, которая поёт» («Скорее, которая не умолкает»), ее прежний и нынешний мужья. К певцу Мармеладзе добавился его брат, композитор и продюсер, заикающийся и моргающий, как цветомузыка. И вообще, с экрана не сходили некие известные продюсеры от попсы с бритыми бильярдными шарами голов. Одного из них на пятидесятилетие чествовали не слабее, чем когда-то лауреатов сталинской премии. Впрочем, и забудут потом так же прочно, как тех...

В день полной ликвидации блокады, «Ленинградской победы», 27 января, Сперанский посмотрел прямую трансляцию с Пискарёвского мемориального кладбища. Камера то и дело задерживалась на мэре города, бывшем генерале КГБ (хотя, говорят, бывшими они не бывают) с внешностью белогвардейского офицера. «Понятно, мёртвые каши не просят. Лучше бы побывали

на девятнадцатом отделении „Скворечника“ и подарили старухам по банке компота», – крамольно подумал Сперанский.

В эти же дни он извлек из почтового ящика поздравление матери с этой датой от районного начальства. Открытка с соответствующей картинкой, стандартный текст, исполненный типографским способом: «бессмертный подвиг... отстояли любимый город... своим жизненным примером... крепкого здоровья...» «Весьма вовремя...» – усмехнулся Сперанский.

Были и интеллектуально-познавательные передачи, из которых Сперанский узнал немало нового. На круглом столе, посвященном блокаде, историк с окладистой бородой утверждал, что чуть ли не решающую роль в прорыве сыграли офицеры НКВД. Сперанский поразился: это как же, перестали долбать по головам допрашиваемых рукоятками пистолетов, взяли их, как положено, вылезли из кабинетов и пошли на немецкие танки?!

И, разумеется, очень много было человека с блеклыми голубыми, глубоко утопленными глазками и всепонимающей ухмылкой. Типа вы еще ничего не сказали, а я уже заранее знаю, что вы скажете; знаю, что скажете какую-нибудь чепуху, и в два счета дам вам понять, какой вы, однако, идиот... Когда-то был «брежневизор», а как теперь ящик называть?

Неотвязно думал Сперанский о внезапной болезни матери. Психоз, сенильная деменция... Во всем, во всем виновато одиночество! Когда ему было семь лет, мать с отцом развелись. Ради сына она больше не вышла замуж. И теперь, очевидно, выплыло наружу подспудное желание обрести надежного защитника, опору. Вместо ушедшего отца, вместо него, уехавшего...

Откуда в ее разум влез весь этот кошмар?! Что за демоны в нем поселились?

Бытие немного скрашивали ежевечерние звонки жены из Торонто.

Следующий впускной день в «больнице закрытого типа» был через неделю. Сперанский застал мать лежащей в большой палате. Он прикинул – около пятидесяти коек. По двое сдвинуты вплотную, затем узкий проход. Никаких тумбочек. В углу «параша» – унитаз без стульчака.

На руке у матери была кровоточащая рана, которую она боязливо прикрывала рукавом халата. Он спросил, откуда. Мать ткнула в одно из стоящих тут же грубо сваренных металлических кресел на колесиках, с дырой посредине сиденья: «Вот, зацепилась».

Сперанский подозвал сестру, та смазала рану зелёнкой. «Почему мама теперь в этой палате?» – спросил ее Сперанский. «Она у нас была „коридорная“, но начала падать. Ее перевели сюда – это наблюдательная палата, больные под постоянным надзором».

Действительно, в углу сидела плотная молодая медсестра. Взгляд у нее был какой-то остановившийся, но при этом неуловимый. Черная радужка сливалась со зрачком. «Глаза – как два дула», – подумал Сперанский. Время от времени надзирательница покрикивала на пациенток, называя их по фамилиям.

У входа в палату на тумбочке, под надзором другой сестры, стоял чайник с водой. Время от времени старухи просили налить воды. Это был, как понял Сперанский, целый ритуал. Некоторым хранительница чайника отказывала: «Ты, Муханова, только что пила!» Залёживаться не давали – тех, кто мог сидеть, рассаживали на лавки вдоль стены.

Принесенную передачу Сперанский вынужден был сдать при входе на отделение. Но несколько мандаринов он припрятал, и теперь стал кормить ими мать. Она попросила дать ей его очки, надела их. Стала расспрашивать о младшем сыне, попросила прочесть какие-нибудь стихи. Он удивился, начал путано читать Блока, целиком ничего не помнил. Но это ей было не столь важно – она цеплялась за строки, как за спасательный круг: «Открыл окно. Какая хмурая столица в октябре!..» Он сказал: «Ты, мама, наверное, здесь единственная, кто интересуется стихами». Она улыбнулась. Производила впечатление вполне нормального человека. Только время от времени тревожно взглядывала в окно за его спиной и что-то быстро шептала.

Старушка на соседней, вплотную придвинутой койке прислушивалась к их разговору и жадно смотрела на мандарины. Мать протянула ей один. «Сладкий! – сказала та, быстро его съев. – А ко мне пока не пришли...» – «Обязательно придут!» – заверил Сперанский.

– Как тебе здесь спится? – спросил он мать.
– Хорошо, хорошо, хорошо. Всё хорошо.
– А во сколько отбой?
– Рано. Уже в семь загоняют. Им пить скорей надо...
– Каждый день пьют?
– Каждый...
– А почему ты падаешь? – голова кружится?
– Не кружится. Пол ходуном ходит!
– Как это?.. – опешил Сперанский.
– Ты что, мне не веришь?!

Появились две медсестры и стали смазывать пролежни у лежачих больных всё тем же раствором «зелени бриллиантовой». Одна старушка как в забытьи повторяла фразу: «Папа, приди!..» Надзирательница пробурчала: «Ну, что заладила? Не один же папа тебя воспитывал...» Слова эти неожиданно дошли до сознания больной, и она сменила рефрен: «Мама, приди!..»

Входили посетители – сыновья и дочери пациенток, сами достаточно пожилые, лет пятидесяти-шестидесяти. Доставали свертки и пластмассовые коробки со снедью. Стеклянные банки были под запретом – это Сперанский уже знал.

– Сынок, сними свитер, здесь жарко, – сказала мама.

У Сперанского защипало глаза: на больничной койке, среди нескольких десятков полубезумных старух, она думала о нем. И вообще, в больнице у нее проявилось то, прежнее... Вот и стихи...

Он пошел выбросить мандариновые корки. Ему указали на небольшую комнатку, где стоял мусорный бак. Там курили две тётки в грязных белых халатах – видимо, труженицы пищеблока. Одна взглянула на корки и ехидно пропела:

– Вы бы что-нибудь посущественнее матери поесть принесли. Сосисочки, пюре... Они любют...
– Да хоть бифштекс с кровью! – огрызнулся Сперанский. – Не хочет она ничего!

Он почувствовал, как быстро слезает с него налет «гражданина мира», свободного и независимого, – словно тонкая пленка позолоты с анодированного корпуса его давних стареньких часов «Ракета», которые он обнаружил в глубине ящика письменного стола. И обнажается под нею потемневший от окисления простой металлический сплав.

Перед уходом он зашел к Ирине Петровне:

– Почему мама стала падать?
– Синкопальные состояния, идет от сосудов мозга. Это дело невролога. Я назначила консультацию на послезавтра. А в субботу извольте к нам в десять утра – будем вашу мать выписывать.
– Уже? – опешил Сперанский. – Вы же говорили – недели три, а прошло немногим больше недели...
– Острое состояние мы сняли, а дальше ваше дело – ухаживайте, лечите. Рекомендации я дам. К тому же вы в прошлый раз сказали, что скоро уезжаете. И кто в таком случае будет ее забирать?
– Хорошо, в субботу ровно в десять буду. Спасибо, доктор!

Сперанский вышел на улицу. На плечи его внезапно пала усталость. Дышать стало трудно. Ему вдруг вспомнилась служба в армии, необыкновенно жаркое подмосковное лето 1969 года. Словно опять он облачен в тяжелый прорезиненный ОЗК – общевойсковой защитный комплект, и в противогаз. А впереди предстоит шестикилометровый марш-бросок с полной выкладкой.

Поскальзываясь, он добрел до Удельной, зашел в закусочную со среднеазиатским уклоном. Среди пиршества шурпы, самсы и чебуреков выбрал скромный пирожок с капустой и стакан чаю. Плюхнулся за столик. Ему захотелось поскорее вернуться в квартиру и лечь. Но способ для этого он выбрал неудачный. Более того, как оказалось впоследствии, роковой.

Выйдя из забегаловки, он увидел стоянку маршруток. А на табличке одной из них – названия знакомых улиц, находящихся в двух шагах от его дома – улица Тухачевского, шоссе Революции. И неосмотрительно уселся в раздолбанный микроавтобус.

Он полагал, что транспортное средство должно являться средством скорейшей доставки пассажира из пункта А в пункт Б. Но касательно совсем незнакомого ему «института маршруток» он всерьёз ошибался.

Маршрутка стала забирать совсем в другую сторону, нарезая круги по «ГДР» – «Гражданке дальше Ручьев». Проспект Художников, проспект Просвещения, какая-то Тимуровская улица... Конечная цель уходила всё дальше.

Так прошел час. Громады домов наваливались на маршрутку, но она юрко выскальзывала из-под них, не поддавалась. И, казалось, не осталось уже ни одного закоулка, куда бы она ни залезла. В загробный мир Сперанский не верил, но в какой-то момент ему показалось, что если он всё же существует, то путь туда должен быть именно таким. А таджик за рулем, в таком случае, – современный Харон.

У станции метро «Гражданский проспект» гигантский пук воздушных шаров в руках у продавца – в виде крокодилов, драконов и просто каких-то уродов – словно символизировал кошмар этого маршрута.

Наконец, миновали железнодорожную станцию Ручьи. Сперанский вздохнул с облегчением. Однако рановато. На мосту через пути у Пискарёвки их ждала основательная пробка.

Выбравшись из нее, маршрутка вырвалась на просторы. За окном потянулся парк, который Сперанский в молодости так любил. Метров через сто можно было выходить. Еще минут десять – и он дома.

Показалось позднее зимнее солнце цвета прокисшего лимона. Из музыкальной школы выбегали дети, радуясь свободе. Увидев в парке мальчика, догоняющего маму на лыжах, Сперанский расчувствовался: «Как мы с мамой когда-то в Токсово...»

Через два дня он заберет мать из этой психиатрической клоаки. До отъезда останется еще три дня. Обслуживать себя она уже не сможет. Он найдет ей хорошую сиделку, заплатит сколько нужно.

Ну а дальше... Дальше надо начинать трудный процесс воссоединения семьи, забирать маму к себе. Сбор документов, хождение по инстанциям, – просить и кланяться, кланяться и благодарить... Но ничего, другого пути уже нет. Всё обязательно будет в порядке!..

Громкий звук сухого сглатывания оторвал его от оптимистических мыслей. Взглянув вперед, Сперанский увидел, что на них лоб в лоб летит самосвал. А их водитель, вылезший на встречную полосу, впал в полный ступор и только сухо глотает воздух. Через мгновение стёкла брызнули, и передняя часть микроавтобуса, с мерзким скрежетом складываясь в гармошку, поехала на Сперанского. Она остановилась перед его носом. Он почувствовал сильный удар по ногам и потерял сознание.

«...Вы меня слышите? Вы понимаете меня, господин... э-э... Спуеранси? При вас был найден канадский паспорт...»

Сперанский разлепил веки и увидел над собой круглое добродушное лицо. Мужское или женское – он не разобрал. В обеих ногах чувствовалась тупая несвобода.

– Понимаю...

– Как транскрибируется ваша фамилия по-русски? Вы в больнице. Вам повезло! Отделались множественными переломами ног.

– Да, мне повезло, – прохрипел Сперанский.

И понял, что вынести его с дикого поля смогут лишь высшие силы.

Январь – июль 2013

Сергей СОЛОВЬЕВ

***

Конец сезона. Снег на перевале.
Смерть делит сердце в темноте
бог знает с чем, с каким-то трали-вали,
танцуя на крови, как на воде.
И дом, в который я заложен, тише
той крови, странный разговор
ведет с собой, приподнимая крышу,
как шляпу, от каждого порыва с гор –
они стоят во тьме, как ку-клукс-кланы,
на море глядя в прорези для глаз.
Для нас, хотел сказать. Как раны
с тобой мы светимся. Ты жизни не далась,
а я не взял тебя поверх нее. Но время
еще нас терпит. Мог бы. Ты могла б.
Кабы не пламя, темя, семя, бремя...
Я снюсь тебе. Как свет мне снится мгла.
И ближе нет, чем мы. Уже не слышен
ни сердца крик, ни шепот лжи.
Во мгле, на холмах тех, чуть ниже
ключиц твоих, ладонь моя дрожит.

***

Что ты делаешь со словами – они у тебя ничего не помнят,
разве у них болит? Как во сне, примеривают личины,
то людьми рукодельными пробуждаясь, то цирковыми пони.
И вся светится, перешептываясь, эта выделка без овчинки.
Если б они нас видели, но ведь ты их лишила зрения
и приложила палец к их приоткрытым губам – зачем?
Они ж ничего не чувствуют, просто бегут по арене,
выдохнутой чуть в сторону, будто незримую на плече
скрипочку держишь. Но не волнуйся, они не выдадут
ни того, что в тебе происходит (да и происходит ли?),
ни меня с тобой. Если нет у них – можешь выдумать
им сердечки, пусть постукивают, как в раю на родине,
друг о друга. Будь спокойна, это тонкое твое кружево

Сергей Соловьёв родился в 1959 году в Киеве, окончил филологический факультет Черновицкого университета, учился живописи в киевской Академии Художеств. Автор 12 книг, последняя из них «Адамов мост» (М: Русский Гулливер, 2013). Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Урал» и др. В «Волге» публикуется с 2010 года.

не из крови, и слова – не о нас: видишь, как хорошеют
в пустоте, чуть мерцающей. Это гнезда кукушкины
слов, мы лежим в них – подкидыши воображенья.
Не волнуйся, никто не заметит. Собой заворожены,
люди любят глядеть, как в огонь, в эту ряженую пустоту.
Пой – не больно словам нежилым, красотой припорошенным.
Не спасает она, а, как стыд, приливает к лицу.

***

Я знаю, ты места себе не находишь.
Нет связи. Не то что меж нами – совсем.
Меж левой и правой рукою, как Китеж,
ты тонешь. И я над тобою – вода в колесе.
Чем ближе, тем дальше. Мы живы? Нет связи.
И каждая вещь не в себе, как душа.
Так долго искал нас в мерцающей вязи
времен этот случай, и свел, не дыша.
Но что это, где мы? – Земля, мой хороший –
довольно бессвязный и длинный рассказ,
где на полуслове оборвано все, что
отмечено жизнью – от бога до нас,
а все остальное – жужжит и долдонит
об этом. И счастье так тоненько воет – поет,
и чувство меж нами слепою ладонью
все водит на ощупь и не узнает.

***

Ой, рэчанька, рэчанька, чаму ж ты ня поўная?
Чаму точишь ты бережок молчанья?
Это дрожь в тебе, тишь любовная,
или мун чайлд?
Он все шьет водяной иголкою
с ниткой белою – молоко ли
арабеской плывет по голому,
или тело твое такое?
Письменами ль оно обрамлено,
оберегами, реченька-маша,
а во взгляде дрожат кораблики,
серебра мурашки,
да? Одними губами пела ты
в эту жизнь, в ее проем,
и стемнело, лишь нитка белая
за невидимым кораблем.

***

Помнишь, реченька, как во тьме мы слушали Шнитке
с рыжим барбосом, немножко людьми и тремя котами?
Мать-природа проверяла уроки, но не исправляла ошибки
ни у нас с тобой, ни у сада, который немного картавил,
поскрипывая, как мебель чеховская. Видна была бы
дачка его и три сестры, кабы не ночь. И море лунное
виниловое шуршало иглой за крайней дорожкой. Лапы
он тебе положил на колени, барбос, и ты, улыбаясь, руны
читала в янтарных его глазах. А хозяин дома приплясывал,
путаясь в очертаньях, как в лишней одежде, Гендель
Наумов звали его – тот, о которых Платон: прекрасное –
трудно. Улица Крымская, дом, а точнее, карасс – 13. Лето
пело свое тю-тю. А еще был психолог с версту ростом:
он, полуголый, склонялся над нами, как на ветру тополь,
и облетал словами – редкими и последними, купоросного
цвета глаза окуная в тебя, меня... Да, такой хронотополь
киевский, слегка заторможенный, как после соитья
с чем-то неизъяснимым. Слушали Шнитке, пили внебрачное
с этим милым названьем «бастардо», распускалось на нити
все в тебе между сердцем и животом, путалось, пряча
себя, и, как в детской игре, я узор этот с пальцев на пальцы
пытался собрать, только нити скользили, а пальцы немели,
твоими защемлены, да? Только дождь барабанил о панцирь
притихшего грота, в котором мы были, вернее, которым, и еле
белело сплетенное тело в его глубине, и никак не сраталось
ни мертвой водой, ни живой, и все звало, искало кого-то –
в себе ли, друг в друге ли, сквозь ли друг друга? – осталось
понять. И проснуться. И Шнитке по саду ходил, как по нотам.

Наталия САННИКОВА

***

Можно ли так любить, расстаться и выжить,
жить, будто счастье возможно *(оно возможно!)*,
утром вставать, пить кофе, идти на службу,
будто бы боль утихнет *(она утихнет)*,
снова учиться вглядываться прохожим
в лица, шутить с хорошенькой секретаршей,
думать «зачем я здесь? по какому праву?»,
помнить о том, что было, не пробуждаясь,
вечером по привычке писать в блокноте,
публиковать в каком-нибудь интернете,
думать «прочтет, возможно» *(прочтет, возможно)*
и ненавидеть всенощно глупое тело
за то, что оно все помнит *(оно все забудет)*,
но покупать ему снова еду, одежду,
может быть, даже возить его к теплому морю,
где вы вдвоем когда-то *(море все то же,*
небо, земля и звезды не изменились –
как они могут? зачем они это смеют?),
по возвращении встретить еще кого-то
и разрешить себе жить наконец, влюбиться,
будто бы отпустило *(да, отпустило)*.
Или вот я, которая не страдала
по-настоящему *(впрочем, разок страдала)*,
перед тобой ни в чем я не виновата,
перед другими – может быть, но не слишком –
что я могу тебе написать в открытке? –
только «люблю и помню». *Люблю и помню.*

***

Нет у меня ни голоса, ни языка.
Много ли, мама, выпито молока?
Если меня ты все-таки родила,
то отчего же на руки не брала?
Глядя на белое, слушала, где шаги,
но не могла я вымолвить: «Помоги!
Не укрывай меня, милая, потеплей,
просто прижми покрепче и пожалей...»
Так я училась слышать и не смотреть,

Наталия Санникова родилась в 1969 году, окончила факультет искусствоведения и культурологии УрГУ. Публиковалась в журналах «Урал», «Воздух», TextOnly, в двух выпусках «Антологии современной уральской поэзии». В 2003 году вышла книга стихов. Живет в г. Каменске-Уральском Свердловской области.

зубами в свое вцепляться, не отпускать,
и никого двуногого не жалеть,
кроме лишенных голоса и языка.
Только веселый кто-то легко сказал:
– Что же ты терпишь, глупая? Покричи.
Ах, он раскрыл, неведомый, мне глаза!
Ах, от какого ящика дал ключи...
Так я кричу и въяве, и по ночам,
устно и письменно, утром и ввечеру.
Как вы меня заставите замолчать?
Может быть только если когда умру.
Так я тебя держу из последних сил,
чтоб пожалел, не выронил, не забыл,
чтобы ты каждый миг – и в последний миг –
был воздаяньем за голос и за язык.

***

И вот восходит звезда и поет во тьму.
– Кому ты поешь? – я спрашиваю. «Никому.
Это мое, присущее, музыка сфер.
Ты – родилась и выросла в СССР,
мама твоя – комсомолия, папа – свердловский рок,
дороги твои на запад, окна все – на восток,
ты в них видишь меня, говоришь со мной –
отвечай: хорошо ли тебе одной?»
Что я отвечу звезде, если все – тщета:
совесть, любовь, истина, красота...
Если три четверти жизни живешь во тьме,
если детей родишь, чтоб отдать зиме,
если вдыхаешь воздух, а в нем зола,
нет той страны, которая родила,
правды нет на земле и покоя нет.
Плохо ли мне одной? Не скажу, мой свет.
Может быть, до меня и не было ничего,
мыслю сей мир и так же убью его.
«Нет, – говорит звезда, – ты не поняла.
Ты же спала, а я тут всегда была.
Я никому пою, я для всех горю,
но только с тобой отныне я говорю.
Слышишь меня?» – говорит, говорит, поет.
Солнце встает, – отвечаю, – день настает.

Концерт

Лучшие умирают, и остаемся мы
Олег Дозморов

1.
тех, кто не умирает,
жизнь отбирает

америка англия украина
восемь лет я не вижу сына
слышишь, москва, выходи уже в скайп общаться
вечером, днем и ночью не забывайте чатиться
не убирайте руки с клавиатуры
бывшие земляки, мастера культуры
граждане мира, френды, добрые люди
музыки и любви никогда не убудет
на этом свете
значит, нельзя прощаться
не прекращайте чатиться
будьте как дети

2.
это сонатная форма, фуга, потом квартет
ваша вторая скрипка плетется опять в хвосте
ваше allegro molto
ваше па де труа
дальше в программе полька
и прочие номера
думаете, к финалу
легче пойдет смычок?
надеяться может какой-нибудь новичок
росо а росо
знаете, жизнь жестока
привыкнете мало-помалу

3.
полноте веселиться
годы уже не те
мадам, облетели листья
и кофе весь на плите
все, и родные лица
скроются в темноте
полно же веселиться
годы уже не те
годы – они как воды
течь не умеют вспять
что же еще сказать?

coda
запах ребенка и глаза кабирии –
вот точки отсчета
вот правда
а слова ни от чего не спасают

Катя и Лена, купите телевизор

И говорится то, что не говорится
даже под страхом смерти, а то ты не знала:

наши слабые голоса и зыбкие лица –
все переменится, излечится, исчезнет под звон металла,
здесь поживет и откатится гулом меди.
Мы никуда не едем, сегодня еще не едем,
завтра будет неважно, не страшно, никто не вспомнит,
чей или мой это голос звучал под небом.
Все остановится, смолкнет, пустой ладонью
небо накроет притихший дом.
И только потом
проявится звук валторны и запах снега.

Что остается? Телевидение – величайшее из искусств
правды и лжи, голоса, Лена, и крупного плана, Катя.
Я не увижу, какая из вас надевает платье,
которая ищет перчатки и не находит,
(просто оденьтесь, пожалуйста, по погоде).
Дом, где есть телевизор, не станет пуст,
выучится говорить, как во сне, что снег
не остановится, ветер не перестанет.
Кто же уйдет и проститься забудет,
кто уедет в гремящем насквозь составе –
все это будут разные люди
или один человек –
просто не говорите, особенно никому.
Или как знаете – я пойму:
это кино, кино, кроме него ничего никогда не будет.

***

Жили у нас две лягушки.
Одна, шустрая пестренькая Люся, была дочкина.
А другая, белая хроменькая Шура, – моя.
Когда мы их покупали, никто не заметил,
что одна лягушка хромая,
потом увидели, но рыбы и земноводные
(так написано в магазине) обмену не подлежат.
Они прожили у нас неделю, а потом
папа уехал в командировку
и оставил аквариум заботам дочки.
Через пять дней вернулся, глядь –
а Люся едва живая.
Дочь прибежала в слезах:
– Мама, знаешь ты, что случилось:
умирает моя Люся!
А папа ругает ее,
мол, ты взяла на себя ответственность
за маленькое существо,
и вот – вода в аквариуме испортилась,
и лягушка твоя погибнет.
Дочь прижимается ко мне в горе и ужасе:

– Мама, я виновата!
Почему именно моя лягушка погибла?
Неужели она почувствовала,
что я не смогу о ней позаботиться,
и не захотела больше мучиться?
Говорю: – Не плачь, ты не виновата.
Ты слишком мала, чтоб отвечать за других,
я сама за тебя отвечаю.
– Нет, это моя вина, мне доверил папа аквариум!
И тут я вдруг говорю (потому что в шоке):
– Сегодня ночью в соседнем буквально городе
сгорели люди, больше ста человек.
– И кошечки? И собачки? – спрашивает она, замирая.
– Не было кошечек и собачек,
были чьи-то родители, дети, братья и сестры...
– Мама, почему мы так поступаем! –
кричит дочь, заливаясь слезами, –
Почему мы топчем тараканов, зачем убиваем пауков –
может так оказаться, что у них скоро будут детишки...
Почему мы никого не жалеем, мама?!
Так нельзя, мы должны беречь тех, за кого отвечаем!..
Я ее обнимаю, целую и смотрю украдкой новости.
Завтра она утешится и привыкнет, что веселая Люся
больше не плещется возле хромой лягушки.
Папа почистит аквариум, все его обитатели выживут.
А в больницах, где много врачей и аппаратуры,
будут долго еще умирать обгоревшие люди.
Те, кто за них отвечает, ничего не смогут поделать –
ни президент, ни министры, ни доктора, ни родственники.
Я ничего не смогу поделать.
Но вот чего я совсем не понимаю:
зачем ты пугаешь в гневе мою малышку?
Что ты мучаешь слабое детское сердце?
Если учишь ее отвечать за живую тварь –
научи ее прежде быть сильной,
чтоб суметь защитить всех любимых, слабых и жалких.
Вот правда: ты здесь за все отвечаешь!
За меня, за нее, за лягушек и таракашек.
Так вольно же тебе обвинять и наказывать,
умножать наше горе, когда уже некуда...
Защити нас хотя бы от самого страшного!
Ничего не получится, – говоришь, – сами давайте, не маленькие.
Ишь, повадились – умирать, чтоб не мучиться...
Мы, между прочим, так не договаривались.

5-20.12.2009
Каменск-Уральский – Пермь

Марина ПАЛЕЙ

***

в омуте самое жуткое то, что он круглый
оборотневый коловрат – хоровод, хоровод
там мириады таких же, как ты; пластмассовой куклой
всякий беззвучно орёт

голова, голова, голова срывается с круга,
разлетается мелкими звонами цепь орбиты
зацеловывает взасос белая центрифуга,
но потом отпускает – прахом, метеоритом,

чёрным выдохом леса – глупый ли ты или умный,
только без боли, пожалуйста, только без боли
...в омуте самое жуткое то, что он круглый
есть ли в омуте дно? – да хоть бы и не было что ли

Рыба

оставшись одна, как есть, за бортом,
рыба не станет хватать кислород перекошенным ртом,
потому что именно за бортом – ей самое место,
потому что лишь в океане – она и есть рыба,
то есть – сама для себя глыба

с подлунными, как и с придонными, рыбе неинтересно,
она бессловесна,
поскольку ни с кем, что не странно,
у неё нет общего языка,
по бокам головы – в две резаных раны –
цветут у рыбы два красных цветка –
и не тесно
лишь в океане;

даже зная, что существует Бог (например, кит),
она себя глыбою именно за бортом ощутит,
где если уж буря – так буря! – не буря в стакане

да: рыбою – глыбою – на глубине – в океане

Марина Палей родилась в Петербурге, с 1995 года живет в Нидерландах. Многочисленные публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Урал», «Нева» и др. Четырнадцать книг прозы издано в России и восемь – за рубежом. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, французский, нидерландский, норвежский, словацкий, словенский, эстонский, латышский языки. Финалист премий «Букер», «Большая книга», им. И.П. Белкина (дважды). Лауреат «Русской премии»-2011 (роман-притча «Хор»).

***

ты не хочешь, чтобы я говорила – и правильно:
вот – мясо-тело, его и надобно есть
только всё равно тело моё отравлено
тем, что жалость к тебе в нём есть

ты хмуришься, что глаза у меня иудейские,
не такие, как у панянок Днепра
но именно я обиды твои дикие, детские
переплавлю в Диканьские вечера

ты яришься, что дышу я в своём мифе-обмороке
тряпку в угол бросил – живи! – я и живу
только я всё равно обращу её, знаешь, в облако
всё равно с тобой по небу поплыву

Маргарита ГОЛУБЕВА

Сефардская колыбельная

Это я – немного бедного пепла
и имя цветка,
проросшее из песка.
Ночь пришла и ушла,
седьмая заря ослепла,
сожгла осеннего мотылька.
Вместо рта – сухое дыхание,
вместо рук –
не могу до тебя дотронуться.
А ползти по чужой земле,
ворошить траву.
Закрываю глаза – а вдруг заберут и их?
ступни давно на безымянных полях.
Опускают деревья головы в синеву –
звезды их держат или висят на них.
Где ты идешь и держишь июльский дождь?
Теплая плоть, нераздельный ломоть...
А вместо голоса – я тебя не зову.

***

Кычет ласточка
доброму человеку:

Маргарита Голубева родилась в 1993 году в Москве, где и живет по сей день. В 2009–2011 годах училась на филологическом факультете МГУ, ныне переходит учиться в ИФИ РГГУ. Стихи публиковалась в «Волге» (2012, №7-8).

«Я тебе принесу звезду».
Небо – синее молоко –
проливается на ходу.
На лету летят искры,
идут пустые трамваи,
звезды висят далеко.
Только скоро похолодает –
в двор не ходи да лови за хвост
каждую искорку, аю-баю.
А что еще делать – не знаю.

***

Вот я оставила щи на плите,
только ты никогда не придешь.
А если придешь – ищи меня в темноте.

В Московии, в райском саду,
зелено – и вода, и в небе черным-черно.
А когда я умру, попаду
не к другим, а туда,
куда попадает умершее зерно.

Александр БАРАШ

***

Очень много неба и пряной сухой травы.
Может быть, даже слишком для небольшой страны.
Иногда возникают пароксизмы памяти, а потом
и они уходят, как пар и дым.
Я не хочу быть понят никакой страной.
Хватит того, что я понимаю их.
А тут при жизни разлит засмертный покой –
как до или после грозы, когда мир затих.

***

Что ты видишь в окно
меж «собакой и волком»?

Александр Бараш родился в 1960 году в Москве. Поэт, прозаик, эссеист. В 1985–1989 годах издавал (совместно с Н. Байтовым) литературный альманах «Эпсилон-Салон». С 1989 года – в Иерусалиме. Автор четырех книг стихотворений, последняя – «Итинерарий» (М.: НЛО, 2009), романа «Счастливое детство» (М.: НЛО, 2006), книги переводов израильской поэзии «Экология Иерусалима» (М.: Русский Гулливер, 2011). Лауреат премии Тель-Авивского фонда литературы и искусства (2002), премии журнала «Интерпоэзия» за лучший стихотворный перевод (2011). Автор текстов группы «Мегаполис».

Золотистое дно
голубого осколка.

Скоро ставни зажмурим,
закурим, вздохнем.
Разновидности тюрем:
одиночество, дом.

Есть другая возможность –
пуститься в бега.
Все равно по подложным
и на милость врага.

***

Поскребись указательным
в этот узор на стекле,
роковой, как цитата из классика
на ассирийской стене.
Едкий клей на ресницах,
лапша на ушах.
Как приехать обратно – откуда
не уезжал?

Сон в сидячем вагоне.
Душа затекла.
Если очень вглядеться,
отражает изнанка стекла
полупрофиль героя,
глядящего в это стекло
по дороге домой,
в занесенное пылью село.

Виктор ЛИСИН

***

коснулся одуванчика

пение
снега

девочка альбинос

Виктор Лисин родился в 1992 году в Нижнем Новгороде. Публиковался в журналах «Лампа и Дымоход», «Новая Литература», «Ликбез», «Новая Реальность», «Графит», «Вокзал», в альманахе «45-я параллель» и на сайтах «Полутона» и «Новая литературная карта России». Участник фестивалей «ГолосА», «Стрелка», «Речет», «Бу!фест», Недели молодой поэзии в Москве.

сказала
мне

папа

***

помню
первые альстромерии поцелуев

маленький колокольчик
на
форме
школьного сторожа

ландыши маринки
ландыши

на
похоронах маринки

она всегда говорила цветы растут к людям

говорила
люди
всегда
прорастают цветами

***

внутри пчелы жужжащий снег и сад снегирь

Кирилл ФРОЛОВ

ПЫЛЬ

Рассказ

Когда я пришел к Алечке в тот день, она плакала.

Это не было чем-то совершенно необычным, ибо плакала она часто. Она плакала, когда наши проигрывали в футбол. Когда они выигрывали, она тоже плакала, но от счастья.

А еще она плакала, когда читала книгу, в которой описывалась несправедливость, когда смотрела фильм, в котором герой или героиня – особенно если они были молодыми и красивыми – умирают в конце, в начале или в середине сюжета.

Один раз она почти безостановочно плакала три недели, потому что ей казалось, что жизнь вдруг внезапно стала заканчиваться, и хотя все вокруг еще молоды и красивы, совсем скоро они состарятся и умрут. Она включала телевизор, смотрела на молоденьких футболистов, и у нее начинало щемить сердце – ведь она знала, что молоды они всего лишь на смехотворно краткий срок, и совсем скоро к ним подкрадутся старость и смерть. Наконец родители решили покончить с этим и отправили ее на три недели в Крым, чтобы она там поплавала в море, позагорала, отъелась у тамошних крымско-татарских родственников, ну и, может быть, познакомилась с каким-нибудь молодым и красивым. Алечка поела родственной пахлавы, выкупалась в Черном море, загорела и вышла замуж за молодого и красивого рок-музыканта – смуглого и угрюмого непризнанного гения. И страх неминуемой старости и смерти временно отступил.

А в этот день Алечка плакала по-особому – как-то тихо, почти незаметно, но как-то безнадежно и горько.

– Я мыла полы, – объяснила она.

Алечкины родители познакомились, будучи студентами филологического факультета Калининского пединститута. Ее мама была местной жительницей, чьи родители перебрались в Калинин, сбежав из колхоза в карельской деревне под Лихославлем. Оля с детства любила читать книжки русских классиков, перечитала всю школьную библиотеку, начала сама писать рассказы, и поэтому решила стать учительницей литературы, для чего и поступила на филфак. Каждое лето она ездила в деревню к бабушке – в болотистый клюквенный край, где все говорили на причудливом и звонком языке тверских карел. Она ходила с бабушкой в лес за грибами и ягодами и всей грудью вдыхала сырой и прохладный хвойный воздух густого леса. Она ковырялась с бабушкой в огороде и слушала радостный грохот картошки о дно ведра. Она любила прикоснуться к спелой грозди красной смородины, а потом съесть ее прямо с куста. А вечерами бабушка сидела с соседками на завалинке и о чем-то беседовала, отмахиваясь березовой веткой от комаров и повторяя волшебное слово «А-вой-вой-велле!». Оля слушала старушек и запоминала их на всю жизнь.

А на первом курсе Оля влюбилась в смуглого, кареглазого, молчаливого и грустного Рустама, который неведомыми и неисповедимыми путями набрел на этот случайный город, приехав из Узбекистана, куда во время войны были сосланы его родители – крымские татары.

– Я готова пойти за ним на край света! – призналась однажды Оля своей подруге Райке, тоже начитавшейся Тургенева.

Кирилл Фролов родился в 1978 году в Кишиневе. В 2000 году окончил факультет романо-германской филологии Тверского государственного университета. Работает преподавателем английского языка. Ранее не публиковался.

Так и пришлось ей поступить по окончании института – новобрачных вместе распределили в молодой узбекский город Навои учить тамошних детишек русскому языку и приобщать их к великой русской литературе. Оля ехать не хотела – ей не верилось, что ни в одной сельской школе поблизости не нужен был русист. Она попыталась поплакаться о своей судьбе в кабинете проректора, но ей объяснили, что остаться она может, но только одна, а ее грустного мужа надобно отправить обратно домой, в Узбекистан, и что его с тем условием в институт и приняли.

И потянулась долгая, временами упоительно счастливая, временами до слез печальная жизнь. Оля много работала – учителей русского языка в Навои не хватало. У нее появились дети – две красавицы дочки, все в отца. Дочки росли, ученики тоже. Незаметно в Олину густую темную косу стали проникать тоненькие беленькие прожилки. Но одно оставалось неизменным – чувство временности пребывания в этом пустынном краю. По вечерам, перемыв все полы и протерев всю мебель от мелкой песчаной пыли, Ольга Петровна любила рассказывать своим дочерям и соседкам-ученицам о том, как некогда каталась она на санках со снежных горок, как горели у нее щеки, когда она забегала в дом с морозного воздуха, как летом после дождя она собирала в лесу здоровенные подберезовики, как осенью она ходила с родителями по болотам за клюквой. Она говорила увлеченно и красиво, а соседские девочки силились представить себе, что такое подберезовик, и мечтали его когда-нибудь увидеть.

Когда Союз начал болезненно умирать, Алечкина семья оказалась совсем близко к эпицентру его агонии.

– Пора ехать домой, – сказала мама как-то утром. И всем в этот момент стало очевидно, что она права.

Дальнейшие дни, прожитые в Навои, были посвящены поиску жилья в Твери, поиску покупателя для местной квартиры и прочим вещам, которые сродни сидению в зале ожидания. Вроде бы ты и занят чем-то – ну, в буфет там сходишь, расписание изучишь, книжку почитаешь – но целиком ты не здесь, ты весь в ожидании, и не придаешь значения людям и явлениям вокруг тебя. Так было и с Алечкой в те дни – и даже месяцы. Вся ее предыдущая жизнь представлялась ей бесцельным блужданием в жаркой песчаной пыли, а жизнь в далекой бабушкиной Твери казалась ей новой, сочной, пышущей яркими цветами и сочными ягодами, яркими впечатлениями и яркими новыми людьми.

Так и случилось с ней, когда она приехала в Тверь. Она быстро стала популярной в классе – с ней дружили девочки, она нравилась мальчикам. Она научилась кататься на лыжах и ездила по выходным с друзьями в лес. В лесу бывало так тихо, что слышен был стук собственного сердца. А свежий снег искрился на солнце. А весной лес наполнялся пением птиц, нежными и яркими цветами, прохладной темнотой. От всей этой новой и безысходной красоты щемило сердце, и непрошенные слезы сами собой сначала теснились в горле, а потом бесстыдно лились по щекам.

Вскоре школа закончилась, и Аля без труда поступила в университет. Стало еще больше подруг. Стали приходить в гости новые юноши. Они воодушевленно беседовали с Алечкой о книгах, фильмах, музыке, о футболе; рассказывали ей смешные истории и очень хотели ей понравиться. Аля ходила в театры, в походы, на дискотеки, смотрела по телевизору футбол. Она неслась по этой жизни без оглядки. Она словно бы глотала ее большими глотками, не всегда успевая хорошенько распробовать букет.

Но однажды июльским утром она проснулась в очень странном настроении. Ей было очень грустно с самого момента пробуждения, и грусть эта была не сладкой печалью умиления, не грустью от переполненности жизни, которая так свойственна молодости. Это была глухая, равнодушная пустота. Через некоторое время Аля догадалась, что чувство это было как-то связано со сном, который приснился ей под утро. Она силилась его вспомнить, но не могла, и лишь чувство безутешной опустошенности преследовало ее. Она без удовольствия запихала в себя завтрак, выпила чашку горячего кофе и решила убрать свою комнату. Рассовав по полкам книги и кассеты, она набрала в ведро воды, взяла тряпку и стала – по приобретенной еще в детстве привычке – протирать пол.

И вдруг, приподняв голову, она увидела знакомую с раннего – еще бессловесного – детства картинку. На солнечной полоске, тянущейся из окна, плясали, играли, резвились пылинки. Как давно она не видела их! Крошечной девочкой, еще не знавшей, что это просто пыль, она любила наблюдать за игрой этих существ. Но где были эти существа все это время? Почему не попадались они ей на глаза? Они словно пришли к ней в это утро из детства, где их было так много и где мама жадно и сердито гонялась за ними с мокрой тряпкой.

Аля положила тряпку в ведро и закрыла лицо мокрыми руками. Привычные слезы напрочь забили ей горло, но не спешили прорываться наружу. Она закрыла глаза, и сон, который снился ей предыдущей ночью, явственно встал перед ней. Ей снился жаркий и песчаный, пропитанный ослепительным солнцем город ее детства. Он ни разу не снился ей с момента ее переезда в Россию. Он казался ей забытым и ненужным, как старое платье, как сломанная игрушка. А теперь он возник перед ней, жгучий и сияющий, обжигающий босые ступни, которыми она уже не пробежит по нагретому мягкому раскаленному песку в своем дворе.

Сидя на полу у ведра с водой, Аля тихо и безоглядно плакала, беспощадно предаваясь воспоминаниям о далеком детстве в забытом городе. Пробегая тропинками памяти, она увидела свои подружку Гульку, с которой они играли и болтали о планах на будущую нескончаемую жизнь, пока на них не обрушивалась внезапная южная ночь. В густом сумраке начинали роиться здоровенные бабочки, поднимали свой треск сверчки, на балкон выходила мама и оглашала окрестности раскатистым учительским голосом:

– Аль-фи-я-а-а-а-а-а!

Денис БЕЗНОСОВ

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ – ИРОНИЧНЫЙ И СЕРЬЕЗНЫЙ

Сергей Бирюков. Звучарность. – М: ОГИ, 2013. – 112 с.

Новая книга Сергея Бирюкова, подобно предыдущим, по своей структуре избегает четкой хронологии и опирается исключительно на внутреннюю композицию. В «Звучарность» вошли стихотворения разных лет, как публиковавшиеся в малотиражных мадридских изданиях – «Sphinx» и «Полет динозавра»[1], – так и не включавшиеся прежде ни в одну книгу. Отсюда многоплановость получившегося текста, очевидное разнообразие стихотворений, собранных под одной обложкой, которые парадоксальным образом срастаются в единое, монолитное строение.

В период с 1980-х по настоящее время (приблизительно такой диапазон представлен читательскому вниманию) поэтическая манера Бирюкова постоянно и существенно менялась. Вопреки расхожему мнению, мы далеко не всегда имеем дело с футуристической репликой, однако так или иначе авангард здесь всегда присутствует. Известно, что существует некоторый ряд авторов, которых принято относить не то к пост-, не то к нео-, не то еще к какой-нибудь сомнительной трансформации авангарда. Предшественником обыкновенно считается т.н. исторический авангард, который в свою очередь (в худшем случае) ограничивается футуризмом, преимущественно гилеевского образца, или (в лучшем) темпорально растягивается до обэриутов. Так, пост- / неофутуристы / авангардисты, среди которых числят Сергея Сигея, Анну Ры Никонову-Таршис, Елизавету Мнацаканову и мн. др., чаще всего воспринимаются как верные продолжатели традиции, заложенной около ста лет назад, не как реформаторы, а именно продолжатели, работающие в пределах конкретной стилистики, беспрекословно соблюдающие ее правила. Однако здесь присутствует существенное упрощение: зачастую перед нами не столько следование традиции, сколько ее переосмысление посредством ее же методов – работа с дробленым поэтическим комплексом.

Именно так действует Бирюков, и действует достаточно последовательно. Футуристическая поэтика, равно как и поэтика западного авангарда (в частности, дадаизма), играет в его текстах крайне важную роль, но, так сказать, не единственную; кроме того, предстает она в весьма измененном виде. Она прорабатывается таким же образом, как любая другая традиция. К тому же поэт всегда ироничен и (что немаловажно) самоироничен, таким образом, далеко не всегда удается с легкостью разобраться, что здесь всерьез, а что нет. Так подается и авангардный эксперимент – одновременно серьезно и иронично, – так же автор работает со всей футуро-дадаистской традицией, т.е. скорее травестирует свою к ней принадлежность, нежели послушно ее продолжает: «мне вчера буквально сказали / что футур-проект в провале // короче футур-проект / был и вроде уже и нет // <...> ужели впрямь футур-проект / опять в провале / кык тугда / коагды газетная молва / порочила на все лады / певцов футурной ерунды...»[2].

Под сомнение ставится не только вышеупомянутый «футур-проект», но и высказывания, опровергающие его состоятельность. Иными словами, остается под вопросом, кто на самом деле прав, а кто – нет. Дело не в том, что сам поэт не определился с ответом, дело в том, что он сознательно избегает какой бы то ни было дидактики, равно как и лирических излияний, от которых порой не так-то просто отказаться: «и снова Я – лирический поэт / отваги полон ты отвергнутый романтик / то бишь бог знает кто и с боку бантик / но только ты другого рядом нет» («Романтическое»).

Кроме того, выбирая нарочито упрощенный язык, поэт также иронизирует над обиль-

[1] Бирюков С. Sphinx. – Madrid: Ediciones del Hebreo Errante, 2008. Бирюков С. Полет динозавра. – Madrid: Ediciones del Hebreo Errante, 2011.

[2] Здесь и далее цитаты из стихотворений (кроме специально обговоренных) приводятся по изданию: Бирюков С. Е. Звучарность. – М: ОГИ, 2013.

ной заумностью теоретиков, пытающихся деактуализировать любую традицию и, разумеется, этот самый «футур-проект» (см. в этой связи текст «Доклад о поэзии»: «доклад о поэзии / надо произносить / как доклад о поэзии / а совсем не доклад / о повышении яйценоскости / кур...»[1]). Отсюда сознательная интонационная двоякость некоторых бирюковских заглавий, имитирующих и / или пародирующих научные, данные по примененному в них методу: «Теоретическое», «Концептуальное», «Побудительное», «Раз-решительное», «Семиотическое», «Самокритическое», «Мифопоэтическое» и др., а также, скажем, «Компаративизм», «Нелинейность», «Реконструкция» и др. Уже на уровне заглавия трудно разобраться, серьезен автор или нет: действительно ли следующий за названием текст продемонстрирует раскрытие вышезаявленной темы или это очередной игровой момент, через который абсурдируется научность.

Похожим образом, опять-таки вооружившись иронией, Бирюков в «Теоретическом» развенчивает вполне традиционную парадигму поэзии о поэзии, которая, надо сказать, встречается и у самого автора (см., например, «Отвлеченные стихи-и»[2]):

стихотворенье написать нельзя
нельзя сложить из строчек сожаленье
но можно голосом по воздуху скользя
предстать пред небом
как его творенье

закончено.
Вы ждете продолженья?
Киоск закрыт.

Снова снижение интонации – патетика первой строфы вливается во вторую и сразу же прерывается, осекается поэтом. Очевидная (само)ирония и не менее очевидная трагичность, как в известном ответе Чехова на вопрос «А кого вы больше любите – греков или турок?» – «Я люблю – мармелад...». Бирюков играет с интонациями, постепенно запутывая читателя, будто прячет от него истинную точку зрения лирического героя, а вместе с тем – и свои собственные взгляды. Далеко не все требует артикуляции, многое можно оставить без объяснения.

Далее в книге мы встречаем еще более остроумные и опять-таки ироничные стихи – например, парафразы очень (если угодно, даже слишком) известных строк:

нет я не Брюсов
я другой
хотя и Брюсов – Ломоносов
и брови выгнуты
дугой
а не углом
и не боюсь я
что молодость
меня обставит
а вот писать
поди заставит

инаааче

Как бы текст ни прятался за смеющейся интонацией, это вовсе не обыкновенная шутка, каламбур или что-то подобное. Ирония маскирует довольно болезненное рассуждение о неизбежном изменении, когда сторонняя молодость «писать поди заставит». Что касается лермонтовской строки: кажется, она уже успела стать своеобразной мантрой русской поэзии, наподобие первых строк «Евгения Онегина», ее можно повторять бесконечно, произвольно меняя слова. Кроме того, здесь встречается характерный для бирюковской поэтики прием – превращение имени собственного, хорошо узнаваемого, в маркировку комплекса ассоциаций, связанных с ним, или же наоборот – лишение имени всех ассоциаций, превращение его из собственного в нарицательное. Начало стихотворения может трактоваться двояко: с одной стороны, этакая смена маркера – Брюсов вместо Байрона (один большой автор вместо другого), с другой – просто подстановка подходящего по слогам имени. То же самое дальше: сопоставление Брюсова с Ломоносовым – это либо соотнесение двух влиятельных когда-то литераторов, либо опять-таки некие обезличенные слова, попадающие в размер парафраза.

Таково пространство бирюковской поэзии – мы никогда наперед не знаем, имеет ли значение то или иное слово или же его лишили вся-

[1] *Бирюков С. ПОЕΣIΣ ПОЭЗИС POESIS. Книга стихотворений. – М.: Русский Гулливер, 2009. С. 104.*

[2] *Там же. С. 9-10.*

ких привычных функций, или же лишили нескольких, а какие-то оставили. Мы находимся в лабиринте, где каждый поворот поставлен под сомнение, поскольку может быть *не всерьез*. Именно так реализуется поэтический эксперимент – на уровне значения конкретного слова, потом – фразы, составленной из таких слов, а вовсе не посредством очевидного, на первый взгляд, наследования футуристической традиции – *оттуда*, пожалуй, взят только формальный инструментарий, впрочем, немало взято автором и из «классического» XIX века.

Другой любопытный прием, встречающийся во многих текстах «Звучарности» – создание заведомо абсурдной ситуации со своей внутренней логикой, которая внутри этой ситуации воспринимается как вполне нормативная. Взять, например, условно сюжетное стихотворение «Стрекоза на лбу Бретона»: «стрекоза ударилась / о лоб Бретона // кто был сражен: / стрекоза или Бретон?!», далее лирический герой (или некто, рассказывающий ситуацию) размышляет над этим вопросом, приходя внезапно к выводу, что «Сражен Ман Рей / верНей // он был поражен / схематизацией идей», однако, в итоге оказывается, что стрекоза ударилась о лоб, и ее «глаз / отразил как раз». Но финал все подвергает сомнению: «хотя не факт / что именно такт!». В этой странной и вместе с тем забавной ситуации все выстроено по законам неподвластной нам логики; здесь тоже наука подвергается иронии, потому сраженный персонаж и поражается схематизации идей. Быть может, эта ситуация потому и абсурдна, потому что является воплощением такой схематизации.

Возможно, именно такой предстает любая схематизированная ситуация? А таким предстает научное рассуждение («Запись на полях научконф»): «...утром / не означает / никогда / больше / не означает / легко / бегом / не означает / никогда / утром / не означает / меньше...», – у которого всегда один и тот же туманный, никому не помогающий вывод: «(что ж, все вышесказанное / вероятностно!)». Все вероятностно, значение любой мысли вариативно, значение любого слова и любого высказывания тоже вариативны, а их значение вероятностно. Серьезность и ирония Бирюкова, персонажа, которому принадлежат эти поэтические монологи, – вероятностны, т.е. налицо сплошной парадокс лжеца.

Все сказанное в этой и любой другой бирюковской книге сказано с некоторой долей скептицизма, потому как осмысливается буквально в момент прочтения. Здесь поэт, как любопытный ученик, отказывается принимать услышанное на веру, но всегда принимается за свои собственные рассуждения, не имея представления, к чему они его приведут. Он взаправду создает собственный язык при помощи освоенных инструментов чужого и своего прошлого («инструменты поэзии / быстро забросить / в походную сумку...»). И сквозь него размышления преломляются, смещаются, проговариваются «инаааче», постепенно приобретая уникальный осязаемый облик.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ЛУЧШИЕ ВИДЫ СКВОЗЬ ЭТОТ ГОРОД

Владимир Безденежных. Верхняя часть. – Нижний Новгород: Книги, 2013. – 80 с.

О «сложном пути автора» или – значительно сужая тему – о его «непростой журнальной судьбе» принято говорить в отношении поэтов, присутствующих в литературе давно. Желательно – несколько десятилетий. Бывают, однако, примечательные исключения. Вот, например, нижегородец Владимир Безденежных, только что выпустивший в родном городе свою дебютную книгу.

Несколько лет назад в редакциях многих столичных и хороших региональных журналов приходилось слышать: «Безденежных? Да, это очень интересно. Обязательно будем публиковать. Ну, как-нибудь. В перспективе». Спустя определённое время тон высказываний переменился, не перестав оставаться вроде благожелательным: «Володя Безденежных? Хорошо, да. Но ведь опять будет про Волгу, про Оку, про свой город. Про водку. Не заметно какой-то эволюции, а старое у него всем известно».

Это «всем известно» в отношении стихов Безденежных звучит несколько парадоксально: издания, представленные в Журнальном зале, не напечатали пока ни единого его текста. Но вот, скажем, в социальных сетях стихи эти

выкладывают порою люди, от поэзии далёкие. Точнее – далёкие от профессиональных занятий литературой. Тут надо благодарить и собственно Интернет, и фестивальную культуру, позволяющую представлять авторов из нестоличных городов заинтересованной публике.

Впрочем, откроем книгу. Собственно, уже заголовок не разочарует никого: ни поклонников творчества этого поэта, ни тех, кто рассуждает о его тематическом однообразии. «Верхняя часть» это, конечно же, верхняя часть Нижнего Новгорода – та, где Кремль, Чкалов, Большая Покровская улица и другие туристические приметности. Филфак университета там же. Хотя книга эта куда в большей степени о чуть иных локациях. Но вряд ли иногороднему читателю что-то скажет название «Капельница верхнего мира»? Она в книге не упомянута, однако присутствует незримо.

Но да: в самом первом слое, в том, где читать надо не между строк, но построчно, общеизвестные знаки города преобладают. Вот в первом же стихотворении появляются Кремль, Стрелка и две больших реки. Во втором Волга и Ока уже представлены именами собственными. Между этими текстами прошло десять лет: они написаны в 1993-м и в 2003-м годах соответственно. Стало быть, Безденежных действительно всю жизнь пишет об одном и том же? На сей риторический вопрос ответить непросто. Прежде всего, так ли бесплоден с точки зрения искусства возврат к любимым объектам и сущностям? Создал же для чего-то Кацусика Хокусай «100 видов Фудзи». Скажете: «Так то – Фудзи...»! Но разве место слияния главных рек европейской России заслуживает меньшего внимания?

Кроме того: войти-то в одну реку дважды нельзя, говорят, а уж написать об этом с любовью – тем паче. Равно возможен и прямой взгляд туда,

> Где на червивой горе
> Кремль зубастый
> Смотрит на игрища рек дуплами башен,
> Где овраги, как шрамы,
> Город перерубили,
> Где портовые краны
> Скопом Стрелку забили...

и разговор, так сказать, культурно опосредованный:

> Здесь горчит корневище на уровне спаек, желез –
> Такая «ризома», прости уж меня, Делез.
> В этом городе все действительно неспроста.
> «Язык отступает», как-то сказал Батай.
> Понятно, что он говорил не о том,
> Но и не жил в этом городе непростом.

Конечно, тема в поэтическом тексте дело не первое. Ведь любое удавшееся стихотворение, как, в сущности, любой полноценный акт искусства – «обо всём и сразу». Сам результат, завершённый акт творения здесь подразумевает всё, созданное ранее, и добавляет к нему нечто: пусть и малое, но важное. А тема играет роль интерфейса. Роль посредника между автором, читателем и внешним миром, впуская этот мир в произведение. Конечно, интерфейс в данном случае весьма отличается от аналогичного понятия из технических областей. В последнем случае – чем однотипнее и привычней, тем лучше. Искусство же требует не только жертв, но и разнообразия приёмов. С этим у Безденежных всё хорошо. Различие ритмов, техник, широта диапазона сопровождаются единым дыханием. Разное очень дыхание тут: то ровное, то будто после длительного бега или драки, но без сомнения – дышит этими стихами один и тот же человек. Это не подделать, в этом и подлинность.

Подлинность, конечно, ещё не гарантия совершенства. И тут придётся сказать об одной особенности стихов Безденежных. Не уникальной, но в его случае – достаточно спорной. Игорь Чурдалёв, рассказывая в очень тёплом и неформальном предисловии о внепоэтической составляющей становления поэта, о весьма депрессивной атмосфере района, где тот вырос, пишет: *«Тем же отмечены многие Володины стихотворения. В них много отчаяния. Но нет искусственной деланности, вымышленности. Они достоверны, что впечатляет и печалит одновременно»*. Глагол «печалит» здесь особенно уместен. Автор не включил в свой дебютный сборник тексты с изобилием обсценных излияний, но и во многих из выбранных стихов уровень грубости приближается к оранжевой отметке. Причём не только за счёт лексической составляющей: общий строй текста вдруг делается неприятен почти физически.

Зачем это нужно историку, режиссёру, профессиональному кулинару и человеку ещё

многих достоинств Владимиру Безденежных? Для имитации «жизненной правды»? Однозначно нет. Атмосферу он умеет создать ритмом единым: за примерами далеко ходить не надо. Ради ограждения себя, ранимого, от действительности? Вот уж совсем не тот случай. Для эпатажа или напротив – пытаясь к себе внимание привлечь? Ну, право, мы ж говорим об умном человеке и отчётливо «немодном» поэте.

Рискну сделать предположение, вообще-то неприятное для автора: дело тут в бедности художественных и выразительных средств. А чтобы не возникало впечатления, будто я, только что написав о разнообразии и оснащённости поэта, сам себе противоречу, сразу уточню: бедность эта касается ровно одного, хотя и важного поэтического случая. Она делается заметной, когда Безденежных пишет о себе нелюбимом: похмельном, раздражённом, провожающем молодость, огорчающем близких людей...

Причём ведь и об этом ему случается сказать превосходно. Вот одно стихотворение целиком:

Хочется повеситься
На рогатом месяце.
Или упокоиться
В ямке за околицей.
Тише, перебесишься,
что ты, успокоишься...

Но в целом – весьма царапающий контраст возникает между стихами об авторском эго и о внешнем мире. Во втором случае мелодия звучит на правильной скорости и с верной громкостью:

В детстве в Горьком

В детстве в Горьком ходил под стол.
А на столе наливали по сто
Еще живые дяди и дед.
Потом всей семьей играли в лото
На горсть медяков-монет.
В Горьком в детстве ходил в кино,
Точнее, бегал туда. Оно
Стоило гривенник, и всего пять
Добрых прохожих вруну должно
«На позвонить» дать.
<....>
В детстве в Горьком ходил везде
Один вечерами по темноте
И не боялся, как все пацаны.
Одно тогда только страшило людей –
Лишь не было бы войны!
В Горьком в детстве ходил... ну все,
Хватит тут сопли пускать, щусенок как будто тот, взрослый мудак.
Но «в детстве, в Горьком» произнесешь
И на душе сладко-сладко так.

Оттого и не утомляет то самое «однообразие», заслуженно или нет приписываемое Владимиру Безденежных. Всё-таки и Нижний Новгород, и даже Волга с Окою меняются. Хотя куда медленнее, нежели человек, конечно. Но поэт эти изменения отслеживает, вольно или невольно.

Даже в стихах, куда более жёстких, нежели приведённое выше, но направленных вовне, звуковой строй, как правило, остаётся безупречно совпадающим с авторским голосом и темой. Хоть в тексте о беспросветной и недолгой жизни «Двоечницы Ивановой», хоть в иронически-пацанском стихотворении с названием «Пацанское»:

Донашивать за братом вещи
Я не стремался. И жили проще.
В них мне казался удар порезче,
Прилив какой-то братанской мощи.

А вне иронии такого вот пацанства в книге «Верхняя часть» нет. Её автору вообще рисовка чужда. Повторю: о себе он всегда говорит в миноре – плохо ли хорошо это получается. Уже этот момент отличает его стихи от стихов Бориса Рыжего, с которым отчего-то так вдруг полюбили сравнивать стихи всех подряд. Нет, этого поэта Безденежных любит, только прочёл его, по собственным словам, поздно. Когда Рыжего давным-давно не было на земле.

Истоки этой поэзии совсем иные. Список, начавшийся, ну, скажем, с Хлебникова, можно продолжать довольно долго, но интересней заглянуть в противоположную сторону, во времена весьма отдалённые. И вот здесь занятия историей явно не прошли для Безденежных даром. Стихотворение «Бунт» в книге одно из самых обезличенных, далёких от авторской манеры, написанных неожиданно стандартным ритмом: так не имеют лица крестьяне на

картинах Казимира Малевича. Именно бунт в своём чистом, беспримесном, зверином виде. Тот самый, русский. Более даже бессмысленный, нежели беспощадный.

И внимание к миру нынешнему это во многом – внимание историка, оставляющего обязательные отметки на полях – чужого ли текста, мира ли, как текста:

Наблюдения & marginalias

Я ничего не придумал сам,
Мне все, как всегда, подсказали
Какие-то внешние голоса
И поезда на вокзале,
Которые опоздали.
Еще я не верю совсем в чудеса.
marg: ...Живу у вокзала годы последние,
Такая вот атмосфера.
Здесь хмурым пропитаны двадцатилетние
Бодяженным дядей Герой...
И я никогда не творил вотще,
Я лишь наблюдаю из тени,
Подслушиваю, что говорят вообще,
Прикуриваю от тленья...

Только это не взгляд того, идеального и пушкинского, который «спокойно зрит...». Поэту так нельзя. Поэт миру открыт. Как, например, в «Секстине» (это в самом деле правильная секстина – автор пишет как хочет, а не как может):

Понимаешь ли, реки текут
меж одним и другим человеком,
Ты по рекам плывешь и по жизни идешь
лишь затем, чтоб кого-то воспеть,
Насладиться успеть красотой,
даже осенью в слякоть и дождь.

И не боясь сглазить, могу предположить: открытости миру в разных его аспектах – исторических, актуальных или, например, литературных – в стихах Владимира Безденежных со временем сделается больше, а мизантропического герметизма, плодотворного в случае многих других авторов, существенно меньше. Ну, так эволюция его текстов подсказывает. Медленная такая, спокойная, но видимая вполне.

Олег РОГОВ

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Сергей Стратановский. Иов и араб: Книга стихотворений. – СПб: Пушкинский фонд, 2013. – 32 с.

В новой книге стихов Сергея Стратановского мы встречаем его вечные темы – современность, которая дает новое освещение традиционным культурным и религиозным сюжетам, и наоборот – вечное, которое врывается в повседневность, находя в качестве «кода доступа» вполне повседневный предмет или эмоцию.

Так, грех сравнивали с болезнью, сегодня логичнее говорить о вирусах:

Вирус, откуда-то появившийся
И в Адама вселившийся
на террасе Эдемского сада.
Вирус, боль вызывающий,
Сокрушающий чресла,
кровь рушащий –
Вирус невидимый.
И Адам пораженный
уходит из райского сада.
Сам уходит
на горькую землю труда.

(«Апокриф»)

Каина можно «оправдать» с точки зрения вегетарианца, сокрушение Ваала рассмотреть через фильтр бессмысленности смены правления, которая не проносит желаемых результатов для тех, чьими руками эта смена совершается.

А восстание было
для Бога, во имя Бога
Для Отца, что на небе,
был этот мятеж отчаянный
Против сирийцев,
против властителя ихнего,
Против царя, что желал
истребить нашу веру.

И как львы мы боролись
против них, защищая веру,
Долго боролись
и, наконец, победили.

И тогда стал царем
тот, кто был головой мятежа,
И потомки его
стали править народом Божьим
Долго правят уже
как вином упиваясь властью,
Царствуют, кровью праведных
обагрив свои ризы.

(«О Хасмонеях»)

Совсем по иному предстают и эпизодические персонажи Писания. Вот, например, о «сервильных певцах»:

Шеол расширился и заглотнуть готов
Гордость гордых, богатство богатых,
шум и веселие их за столами
пиршественными
И на арфе играющий
им на пиршестве их
для услаждения их
Также будет низвергнут.

(«Из пророка Исайи», 1)

Поэт сталкивает схожие ситуации в разных традициях («Иов и Араб»), ставит рядом сегодняшнее видение предмета и его традиционную трактовку. Так, актуальным оказывается вопрос о трактовке увиденного в откровении. Сколько было предсказаний, сколько их не исполнилось – не счесть. А вот вопрос о том, что на сердце у Всевышнего и каков Его замысел, остается всегда открытым для пророка:

Сердце ожесточенное,
Яростью пьяное сердце царя ассирийского.
Копья их, стрелы их,
колесниц ихних грохот,
Грохот грозящий
в грязь укатать царство наше.
Кто же ожесточает
их сердца? Неужели Господь?
Упование наше.
Надежда всегдашняя наша.

(«Из пророка Исайи», 2)

То ли свет живожизненный
То ли смертоживотный огонь
Был дарован в тот день
очам алчущим.

(«Видение пророка Иезекииля»)

Поэт снова и снова находит новые и актуальные метафоры для тысячи раз использованных до него сюжетов. Так настоящие богословы говорят о вечном на современном языке.

Виктор ІВАНІВ

ОСТАНОВКА АПОКАЛИПСИСА

Алексей А. Шепелёв. Настоящая любовь: Повести. – М.: Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, 2013. – 296 с.

Две повести Алексея Шепелёва, вышедшие в издании Фонда СЭИП в 2013-м году: «Настоящая любовь/ Грязная морковь» и «Russian Disnayland», – своеобразное обращение писателя в прошлое, в тот трудный возраст, о котором принято вспоминать как о заре юности. Подвергнув текст серьезной переработке, словно с помощью огромного спектрометра, развернутого вспять, в начало прожитого двадцатилетия, писателю удается сохранить само тепло деревенской земли, какой бы грязной она ни казалась.

В новом издании – и в том факте, что оно выходит при поддержке Фонда молодых писателей, а сам Шепелёв преодолел «35-летний барьер», возрастную мерку, которой ограничивается поддержка фонда, – задается особый вектор замедления времени, похожий на звук зажеванной кассеты. Таким образом, перед нами два произведения, образующие единую метароманную ткань повествования, которое было начато двадцать лет назад и лишь сегодня, за рядом перипетий, увидело свет. Две повести, создающие метатекст, внутренний герой которого оглядывается на обломки своей собственной жизни.

Это третья книга тамбовского писателя и со-основателя синкретической группы «Общество Зрелища» (ОЗ). Первый роман «Echo», вышел, напомним, десять лет назад при поддержке премии «Дебют» в издательстве «Амфора», сфокусировав на себе внимание части аудитории остротой своих тем: современной школьной любви, сексизма, мачизма и напротив, LGBT движений, зафиксировав их в самом

зарождении. Странно, что теперь эти слова у всех на устах, на всех камерах, например, в связи с недавними беспорядками в Аргентине, только вот А. Шепелёву это не приносит никаких выгод, ни моральных, ни материальных. Во втором своем романе «Maximum Exxtremum» (Издательский дом «Кислород», 2011), равно как и в своих интервью, связанных с деятельностью «ОЗ», А. Шепелёв говорит о некотором усилии воли по «остановке Апокалипсиса». Это слово также недавно было у всех на устах, но оно полностью находится в контексте того особого извода христианства, который исповедует писатель, во многом преломляющего психоделический опыт Е. Летова. Опять-таки странно, что сегодня принято говорить только о свежих скверных новостях, а не о том, что сохраняет внутреннее время, расписывает «нетрезвыми красочками» жизнь человека. Чтобы увидеть настоящее дыхание земли, следует обратиться и перечитать все, написанное А. Шепелёвым, и увидеть в этом классическую русскую литературу. В романе «Maxximum Extremuum» есть много тем из школьной программы, обработанных в жестоком внутреннем театре обычного школьника, и сам принцип письма автора, переживающего как смену сцен мениппеи свою собственную жизнь, по-разному характерен и для А. Шепелёва, и для оказавшего на него влияние Н. Кононова. О саратовских произведениях последнего так пишет Анатолий Рясов в колонке «Нового Мира»: «первое, что бросается в глаза в этих рассказах, — это резкий контраст между пошлостью повседневных сюжетов и невероятной проработанностью, порой даже нарочитой вычурностью проговаривающего их языка»[1]. Язык А. Шепелёва, в свою очередь, брутален и одновременно математически смоделирован, и взрывает слои просторечия, неологизмы, новояз деревни, архаику, лексику научно-популярной литературы и многое другое.

То, что двадцать лет назад могло быть написано как школьное сочинение, девичий альбом, сегодня оказывается языком русской классики, подорванной и вывернутой наизнанку. Так в коллажированном личном дневнике Шепелёва («Настоящая любовь») одну из героинь зовут Ленка Курагина. И если отстраниться от резко педалируемых тем, то язык Шепелёва – остается верен традиции «Записок из подполья» и других произведений Достоевского. «Играя в Ставрогина», писатель поневоле отвечает на вопросы, заданные классиками, на своем, совершенно ином материале, не только обновляя канон литературы, но и выстраивая свою личную трагическую судьбу.

Промедление, эффект зажеванной магнитной ленты остается теперь замедленным снимком личного апокалипсиса. Сегодня автору не до радости от того, что его повести наконец-то опубликованы, после десятилетия изоляции, обид и синяков, полученных на московских площадях и площадках, и он словно бы возвращается в свою родную деревню, в полусгнивший и чудом сохранившийся дом своей бабушки, как это описывается в повести «Russian Disneyland», и ему хочется одного – умереть.

Однако изоляция может оказаться и оборотной стороной жизненной стратегии автора, двойником из им же разбитого эгоцентрического зеркала, осколки которого он топчет, как крученыховский адмирал, своими босыми ногами. Не случайно, что взыскующий «духа и абриса каморки Раскольникова»[2] везде найдет его, а его уничтоженное горделивое «я» будет отвечать на любую критику и включать ответы в свои новые романы и повести, что и может увидеть читатель, сравнив первую и новую версию «Русского Диснейленда»[3].

Евгения РИЦ

НЕ СЧАСТИЯ ОН ИЩЕТ И НЕ ОТ СЧАСТИЯ БЕЖИТ

Давид Дектор. Судьба равняется биографии. – М: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2013. – 112 с. – Серия «Воздух: Малая проза»

Маленькие рассказы Давида Дектора очень красивы и очень печальны. Причём и

[1] *Рясов А. Книжная полка Анатолия Рясова.// «Новый мир», 2013, № 11. (http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2013_11/Content/Publication6_990/Default.aspx)*

[2] *Шепелёв А. Поход и гости каннибалов. «Волга». 2012. № 3-4. (http://magazines.russ.ru/volga/2012/3/sh10.html)*

[3] *Шепелёв А. Кгыышфт Вшытундф-ТВ Волга. 2011. № 5-6. (http://magazines.russ.ru/volga/2011/5/sh2.html)*

то и другое видно не сразу. То есть каждый рассказ хорош сам по себе, при этом сдержан, немногоцветен – так, что, только прочитав несколько, вспоминаешь, что самое яркое, самое контрастное сочетание – чёрно-белое. Вот, это оно и есть – не живопись, но гравюра, а ещё больше – фотография. И Давид Дектор действительно не только писатель, но и фотохудожник – всегда в чёрно-белой технике, некокетливой, честной, беспощадно прекрасной. И словом, и картинкой он рассказывает одну и ту же историю – множеством историй – одну: о сладком торжестве безнадёжности, о напрочь лишённой логики логике каждого дня.

Молодой человек знакомится с девушкой и не знает, то ли будет следующее свидание, то ли нет. Рассказ называется «Екклесиаст». Почему? Ну да, всё суета. Или вот ещё один про любовь, так и называется «Любовь». Вспоминаешь-вспоминаешь девочку из пионерского лагеря, а в конце вспоминаешь, что влюблён-то был в другую, но её и не вспоминаешь.

А вот и вовсе фильм ужасов в три строки – казалось бы, о другом, ан нет, о том же самом.

Пацан загнал кошку в пустой бетонный гараж и полез её добивать. Потом из проёма гаража вышел кот, а за ним мелкая старуха в туфлях.

Композиционно книга выстроены так, что очень часто рядом оказываются два сюжета – в соседствующих рассказах или даже в одном рассказе – и столкновение этих двух сюжетов читается как классическое «тезис-антитезис-синтез», учебник логики прямо, только синтез каждый раз заключается в том, что нет никакой логики и быть не может. Перед нами скорее коаны, понимание которых не в меньшей мере интуитивно, чем умственно.

У мастера Люя украли меч. Надо ли говорить, что это был за меч и что он значил для мастера. Украли тоже по-мастерски, так как Люй привык ощущать клинок как свободное продолжение руки и не расставался с ним нигде. И вот он сидит и думает – что хотело сказать божество: помочь ему очнуться или всё-таки погубить окончательно?

Всё происходящее в книге – броуновский хаос абсурда, и абсурд этот – дело житейское, привычное, не как будто так и должно, а – так и должно. И счастья в этом абсурде нет, как бы ни сложилось то или это, всё оно безрадостное, беспросветное – не всегда злое и ужасающее, но вот именно радости, просвета нет. Самая светлая история сборника – «Сказка для Юли», о том, как супруги-колдуны, превратив друг друга в бочку с огурцами и котёнка (и это очень важно, очень характерно для всей эстетики книги в целом, что в такие обыденные явления, а не в волшебные ларцы и не в мечи-кладенцы), лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств – и тоже самому что ни на есть бытовому: коллега заглянул случайно – не остались в этих обличиях навсегда.

Но Давид Дектор счастья, просвета, выхода и не ищет. Ему важна повседневность – неяркая, но единственно возможная, одно событие детерминирует другое, и ничего не могло бы сложиться по-другому. Обыденность фатальна, *судьба равняется биографии*.

Современная литература в поисках новых форм описания меняющейся реальности всё чаще обращается даже не к малой, а малейшей прозе. Мгновенные выхватывания фрагментов, вспышки, сполохи, обмолвки – из них складывается картина сегодняшнего дня. В отечественной литературе эта тенденция очень ярко выступает в творчестве Линор Горалик, Марии Ботевой, Ольги Зонберг, сократившей эпическое сказание до смс-сообщения. Рассказы Давида Дектора также лежит в этом русле, особенно – по мироощущению и иногда даже интонационно – они близки малой прозе Линор Горалик. При этом важно отметить, что Линор Горалик – переводчик малой прозы израильтянина Этгара Керета, для которого тоже центральны этика и эстетика бытового абсурда. Давид Дектор – пишущий по-русски израильтянин, и действие многих его рассказов также происходит в Израиле. Линия Керет–Дектор–Горалик во многом свидетельствует о том, что картины мира людей, живущих в разных странах, близки – реальность предстаёт рассеянной, хаотичной и вряд ли дружественной, но частная жизнь, как бы она ни складывалась, оказывается единственным ориентиром и основной опорой, она позволяет устоять на ногах.

Иван КОЗЛОВ

НАСЛАЖДЕНИЕ УСЛОВНОСТЬЮ

«Гравитация» (реж. Альфонсо Куарон)

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон давно и прочно обосновался в Голливуде. Наиболее успешный из его американских проектов – одна из частей про Гарри Поттера («Узник Азкабана»). Новый фильм «Гравитация» уже вошел во все мыслимые и немыслимые списки и рейтинги, причем как вполне народные, так и сугубо экспертные. А кино-тяжеловес Джеймс Кэмерон уже назвал «Гравитацию» лучшей лентой о космосе. Собственно, идея фильма была давней, но режиссер несколько лет ждал, пока технология станет адекватной его замыслу. С появлением формата 3D такая возможность представилась.

В печатных разговорах о «Гравитации» широко и подробно обсуждаются, прежде всего, технологии – первая сцена, которая 17 минут идет одним планом, использование световых коробок – для логичного с точки зрения космоса передачи освещения при постоянном перемещении персонажей. Наконец, полная компьютеризация изображения, в которое помещались лица актеров. Вот это уже интереснее, поскольку ставит вопрос о новых принципах актерской игры.

Еще одна смелая новация – добрую половину фильма мы остаемся наедине с единственным персонажем – Райан Стоун (Сандра Буллок). Хичкок как-то сказал, что хотел бы снять триллер, действие которого происходит в телефонной будке. Через несколько десятилетий Джоэл Шумахер снял такой фильм. Но, кроме понятных трюков и череды незапланированных ситуаций («что-то пошло не так»), на зрителя обрушивают каскад вполне предсказуемых эмоций, в том числе стилистически оформленных. Иногда кажется, что это уже не космическая эпопея, а мелодрама, действие которой происходит в какой-то американской глубинке. Или таким образом американцами уже «обживается» космос? Что ж, тоже вариант колонизации...

Любопытны и психологические паттерны фильма. В «Гравитации» парадоксальным образом совмещаются две базовые фобии – ужас от замкнутого пространства (закрытые пилотируемые средства разной степени тесноты, то гибельные, то спасительные) и кошмар от пространства открытого – что может быть бесконечнее космоса?

После просмотра фильма остается единственный вопрос – была ли на самом деле водочка под креслом пилота, которую обнаружил пришедший героине в видении ее напарник (Джордж Клуни). Ведь другие его идеи, полученные Райан Стоун в состоянии транса, и помогли ей спастись!

«Тихоокеанский рубеж» (реж. Гильермо дель Торо)

Мировую известность мексиканцу Гильермо дель Торо принес его цикл о гражданской войне в Испании («Хребет дьявола», «Лабиринт Фавна»). Он столь же успешен и в Голливуде, на его счету второй «Блэйд» и два «Хеллбоя». Можно сказать, что американская стезя позволила режиссеру вполне реализовать свои давние пристрастия – еще мальчишкой он засматривался ужасти-

ками. Коммерческий успех лент, снятых за океаном, – всегда карт-бланш на продолжение того же направления. И желательно, чтобы каждая лента была успешнее предыдущей. «Тихоокеанский рубеж» вполне оправдывает эти ожидания.

Гильермо дель Торо – режиссер всё-таки прочной европейской закваски. И кажется, что он воспринимает некоторые обязательные условия – сюжетную предсказуемость, банальные диалоги, схематичные характеры, слезы и сопли – как своего рода налог за право на роскошный визуальный ряд. Тем более что понятная в таких лентах степень условности становится обязательной и для актеров – мы ни на секунду не верим их чувствам и эмоциям, что позволяет целиком отдаться зрелищу.

И какая-то часть зрителей принимает условия этой игры – и смотрит не только «американское кино», но и мега-боевик, снятый именно артхаусным режиссером.

С этой точки зрения фильм вдвойне интересней. Постоянные отсылки к языковым особенностям, которые определяют поведение, сверхплотный слой цитат – от книг и комиксов до известных лент мирового кинематографа, от компьютерных игр до картин Хокусая и Гойи (еще одна отсылка к «испанским» лентам дель Торо). Так что стоит подумать – может быть, выдергивать по одному из артхаусного дискурса наиболее отвязных творцов и пересаживать их на американскую почву? Урожай может быть очень весомым.

«Джанго освобожденный» (реж. Квентин Тарантино)

У Тарантино было время изучить жанровый кинематограф – на заре туманной юности он работал в салоне видеопроката. Что-то он, очевидно, пытается внушить и своей команде – на съемках «Джанго освобожденного» режиссер арендовал зал, в котором показывал разные вестерны и фильмы про самураев.

Иногда кажется, что мэтр ставит себе задачу «разобраться» с тем или иным жанром – препарировать его по косточкам, а потом собрать в нечто невообразимое. Пришьет руку вместо ноги, мозги поместит по ребра, а вместо носа... В общем его знания велики, а возможности практически безграничны. Соединение этих двух векторов – вглубь и вширь – и дает нам фильмы Тарантино – «размышления о жанрах», наряженные в яркие и цветные одежды

Теперь, после «Криминального чтива», «Убить Билла» и «Бесславных ублюдков» перед нами вестерн «Джанго освобожденный» (буквальный перевод – «раскованный», но это вызывало бы ненужные коннотации, а «лишенный цепей» выглядело бы чересчур громоздко).

Здесь есть все ожидаемые фирменные «примочки» – цитатность, абсурдные диалоги в духе Джармуша в самый неподходящий момент, крутой визуальный ряд и непременное мочилово. Кстати, настоящая кровь в фильме пролилась, и мы даже ее видим: ди Каприо порезался разбитым стаканом, но съемка не была остановлена. Так что можно считать это символическим приношением, кровавой жертвой кровавому фильму.

После просмотра тоже возникает вопрос – а что Тарантино снимет в следующий раз? Какое-нибудь батальное полотно, где перед финальным выстрелом антагонисты будут подробно обсуждать рецепты национальной кухни? Или это будет экранизация Шекспира, – там ведь персонажи перед смертью произносят длинные монологи!

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 24 февраля 2014 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.